

КНЯЗЬ МИРА == СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

Князь Мира

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ



ymca
press

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

КНЯЗЬ МИРА

Р О М А Н

АРТЕЛЬ ПИСАТЕЛЕЙ
„КРУГ“
1928

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

КНЯЗЬ МИРА

Под редакцией М. Нике

YMCA-PRESS

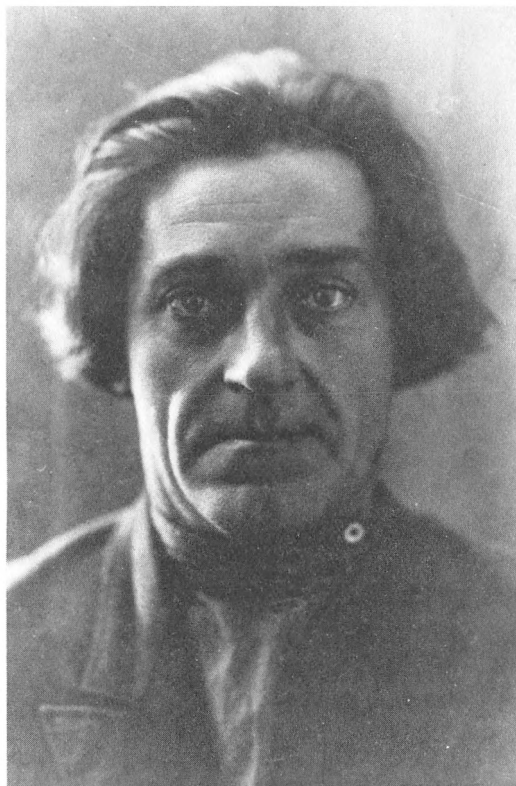
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève

75005 Paris

1985

Обложка работы Д. Некрасов-Геллер

2^e édition
© 1985 *Ymca-Press*
ISBN 2-85065-060-9



В альбоме А. Д. Крученых с надписью: "Крученых — на добрейшую память! Люблю веселых людей, сам будучи мрачным — Сергей Клычков — ноябрь 1927 г. Москва".

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

ТЕМНЫЙ КОРЕНЬ.

ФИЛИМОНОВ ЗАВЕТ.

Свети, месяц, свети!

Забирай на середку, чтобы дальше было видно стариковским глазам!

Уж то ли в них с каждым годом и в самом деле темнеет, то ли сам ты стал не так уж казист и высок и часто влезаешь в синюю гору, как и я же, старик, на полати!

Понемножку уходит из жизни и памяти все!

Да и сама жизнь человечья, должно, стала короче, и только длиннее осенняя ночь!

В осеннюю долгую ночь кружатся теперь воспоминанья, как листья с плакучей березы, стоит она нищенкой под окном и отряхает слезу за слезой на дорогу, сметает ветер листья к забору и дождь прибывает к земле!

Свети, месяц, свети!

Лучина теперь уж не в моде, да и ты сам как будто тоже из моды выходишь?..

Видно ль только тебе, какие в Чагодуе у нас фонари, свет к ним бежит, как плясун, по бечевке с торфяного болота, на котором раньше жил леший Антютик, а теперь скоро не будет даже лягушек, потому что сухо, как на бульваре, и в небо замахнулась с вырубки железная большая труба!

Выходим из моды и веры и мы!

Как теперь приниматься за рассказку, когда многое уже позабылось, а коль вспоминать, так нельзя ж от себя словца не прибавить, к тому же слепой без очков разглядит, что ты еще рта не раскрыл, а тебе уж наперед никто на грошик не верит!

А трудно, как только трудно, когда люди не верят!

Кажется, присягу бы принял, в поруку бы крест положил по всей правильности и старине, побожился бы так, что если проскочит хоть одно слово неправды, так отсохли бы руки и ноги, и к чорту отвалился бы в сумку язык, да боюсь, что загалгачут, засмеют и бока протолкают: ни божбе, ни ворожбе народ больше не верит, а расписку, известное дело—не дашь!

Теперь же заранее можно сказать, в чем только тебя ни заподозрят и с первого же слова ни обвинят, а ты хоть в чем и повинен, так ведь в очень немногом: какая же вина может быть на человеке, если у него дырявая память и к старости вытянулся язык длиннее, чем хвост у коровы, и краснее, чем бабий кумач!

Начнем же теперь издалека, но с самого корня: откуда в нашей округе пошел и повелся серый барин Махал Махалыч Бачурин.

* * *

Премного лет тому будет назад, сколько—точно трудно сказать, а если считать, так на руках пальцев нехватит—словом, очень давно жил в нашей округе преподобный мужик Михайла Иваныч Бачура.

Слово раньше ценилось на вес, а потому и фамилия такая, можно сказать, не спроста, а по причине: получил ее Михайла Иваныч от дедушки, который тоже, должно быть, был чудной человек.

Сначала всему удивлялся:

— Ба, дескать, ба-а, что-о случилось!

...а потом сильно чурался:

— Чур меня, чур! Дай, дескать, бог, чтобы такое не случилось со мной!

...отсюда и вышло вместе: бачура!

Бачурин!

Фамилия по нашей местности известная всем и каждому, в ту же пору Михайла, несмотря на такую дедушкину память, сам-то больше все же прослыл по прозвищу Михайла-с-Палочкой или, что то же—Михайла Святой!

Святой, конечно дело, не святой, потому что у нас, в мужицком быту, святой только с иконы снятой—святость тайное дело, но мужик и в самом

деле ничего, если то смекнуть, что и все-то мужики, как в поле трава: издали так же сливаются они перед глазами, хотя каждая травинка и пахнет по-своему и на свой голос шумит!

Мужик и мужик, каких в старое время было хотя и не много, но и не мало: с бороды козел, со нраву — ни добр, ни зол, со слов вроде как угодник, или угоднику сродник, все по обету да по старинке, насчет хмелинки ни в рот ногой, тишины беспримерной, первый за шапку при встрече, первый в поклон при расставаньи, не человеку бо кланяешься, а ангелу, стоящему у него за плечами (о том, что вместо ангела мог стоять тоже чорт, Михайла даже страшился подумать!), оттого-то тихий с лика, тихий с поступи — и глаза такие бездомные, все в мелких морщинках, хоронящих каждому робкую улыбку, застрявшую в бороде хилым, убогим цветком... говорит с тобой, а сам упрется куда-то под бегущее облако вдаль и словно вдали все разглядывает кого-то и ждет между простых и незначащих слов сказать вдруг некое тайное слово — встренешь такого где-нибудь на дороге, непременно сочтешь за ходока по святыне, потому что и в руках сукастая повыше головы, на конце с загогулиной палка, с какими только странники ходят, и глаза каждого обернуться заставят: то ли заплаканы они, то ли надул в них ветер, и с ветром упали в их тайную глубину бескрайные полевые просторы, о которых издревле тоскует мужичья душа?

Словом, со спины—горбыль, а на чины—бобыль!

Из-за этой самой палочки, а может также по всегда отринутым заплаканным глазам, Михайлу, должно быть, больше всего и прозвали Святым.

Когда на него ни поглядишь, на сходе и в огороде—всегда он с ней с юных лет, будто собирается всю жизнь куда-то очень-очень далеко итти, да видно никак не то сторону выбрать не может, не то родная земля крепко за ноги держит и не пускает.

Чудной был старик!

Иной раз выйдет из дома, потрется, почешется на крыльце, а как увидит кого на селе, сразу вдруг заторопится, заспешит с озабоченным видом, как будто по делу, куда-нибудь к чужим сараям или на огороды, а дойдет до околицы—шагу убавит, стоит, обсмотрит все слезящимся глазом и... обратно домой!

Чего уж он там дозировал, о чем думал, прислонившись к изгородной верейке, не глядя на дождик или метель, кто его знает: может так, скуки ради... на полосу ходил за нуждою!

* * *

Но не зря просудачили люди, и не спроста сам Михайла проходил всю жизнь с палочкой.

Под старость годов случилась с Михайлой история, которой теперь уж никто не поверит, да,

признаться, и мы хоть и верим, но уж не так твердо, как верили раньше, а вполовину.

Дело же получилось с виду очень простое!

На теперешнее время так и пастуху над ним головы бы ломать не пришлось: умерла у Михайлы на шестом десятке старуха, пошла в гололедицу за водой на колодезь, шут, видно, ножку подставил, оступилась на льдине и пришибла досмерти затылок.

По деревенскому обычаю, когда ни умирать — все умирать, кости свое дело лучше знают, к тому же баба была неродиха, а бессемянная баба в старину стоила дешевле пустого мешка, в то время не то, что теперь: бабы спешили—родили, ни одного года зря не пустовали,—значит для Михайлы, вышло, не страсть какая беда!

Да Михайла очень-то и не тужил, глаза заплаканные были и раньше, а так разве кому к слову погорюхтается, что плохо все же без старухи: ни щей тебе сварить, ни латку положить, а все живому человеку требуется, без чего нельзя.

Да и хозяйство Михайла после старухи совсем запустил, и так-то было ни два ни полтора, а тут землю запустырил, а сам во все уже тяжкие пустился за христовым куском.

От одинокой жизни прок небольшой, мало мудреного, что Михайла в первый же год снова продел нитку в иголку!

Ночевал он где-то на постоялом дворе, обходясь перед этим бог знает сколь места, а поутру,

как вышел со своей палочкой на дорогу, глядит: откуда ни возьмись рядом с ним девка, желтолицая, трепаная, худища с виду—совсем как осинка по осени.

— Возьми,—говорит,—дедушка меня с собой в соседнюю деревню лесом пройти!—путь же, видно, был не маленький.

Михайла за дорогу все от нее вызнал, кто она да откуда, оказалась круглая сиротина, тоже собирает, когда нету работы.

Михайла обмозговал все это дело и сперва так про девку подумал:

„С глинкой девка... с дурцой! Бог, видно обидел!“ ...а когда лес прошли и показалась деревня, Михайла свернул с нужной дороги и наладил впрямик на Чертухино.

„Что ж, что с дурцой,—обдумал Михайла,—это даже и лучше: такая баба, как лен на трепле!“

Оказалась же дельная баба, не поглядела, что Михайле за седьмой десяток перевалило, должно быть, натерпелась, в сиротстве побираясь по людям.

После михайловой старухи сразу прибрала к рукам кой-какое добро, сама обшилась, Михайлу обшила, принялась за хозяйство в обе руки: изгорода, глядит Михайла, подперта, гряды словно по линейке в огороде, теленок на дворе жвакает полу, если к нему подойдешь да за ухом почешешь,—даже лучше, чем при старухе.

Так годка через два все у Михайлы опять опрямилось похоже на дело, молодуха даже сердиться стала на Михайлу за его божью привычку ходить с палочкой под чужими окнами на стороне, прося от своего, теперь совсем неголодного куска Христа ради.

Сам же Михайла,—должно быть, годы свое говорили,—таял на глазах у людей, крючился и пригибался все ниже к земле, лысинка совсем у него съехала за затылок и козлиная борода заиндевела, как недокошенный клочок на морозном ветру... облез Михайла, схудал с молодой женой и с каждым днем, несмотря на ее оговор, все чаще выходил с палочкой за сельские ворота, потому что все же не доглядел в корень, рассчитывал, видно, на сиротство да убогость, а дело повернулось совсем другой стороной, и с Михайлой случилась беда, о которой прямым словом не скажешь!

— Ты бы, Михайла, к колдуну нето сходил!—советовали ему при встречах старухи, у которых к старости на такие штуки глаз становится острее иголки.

— К колдуну, не колдуну, а богу молиться надо,—отвечал Михайла, по своей привычке переводя все на божественное,—надо богу молиться!

* *

Но так и пришлось все же сделать.

Пошел Михайла к Филимону в Гусенки, Филимон тогда уже был о полной славе, и боком да

намеком рассказал ему про напасть на старости годов.

Филимон только головой покачал, взял у Михайлы из рук палочку и долго что-то шептал на нее, потом встал под образ, и Михайла даже слова разобрал:

— Спаси, осподи, распрями и выдыби раба твоего Михайлу, ты же веши одинако на дуб молодой и старый, прямишь и свежий побег и сук ото время осохлый... сподоби же раба твоего Михайлу продолжения жизни, аки сподобил еси Авраамля, Исаака, Иакова...

Слова вроде как божественные и смысл в них хороший!

— Иди,—закончил Филимон молитву,—иди теперь домой, и если после такой ограды через неделю не подымет, то опять приходи!

Но видно, что помощи Михайла у Филимона не получил, потому что, когда Михайла во второй раз пришел к Филимону, он и расспрашивать его не стал, а помял губами, не глядя на Михайлу, вывел за ворота и через лес указал, куда зимой солнце садится, роняя перед сумерками перо за пером на большак к Чагодую:

— Иди,—говорит,—все время, пока землю кругом не обогнешь!

У Михайлы даже в поджилках заныло, легко только услышать на старости лет такие слова, не с корзинкой обойти округу или смотаться в

Чагодуй на четверговый базар: обогнуть кругом землю!

— Может мази какой дашь, Филимон?..

— В этом разе,—говорит,—нет тебе мази!

— Мазь, она помогает!—опять шепнул Михайла.

— Нет уж, Михайла: стар старичок, и топор стал тупичок!

— Да уж это ты правильно сказал, Филимон: зарубил не по силе дерево,—печально согласился Михайла,—да должен же сам понимать одинокое дело!

— Да дело-то: да-а!

— Ни щей тебе... ни заплатку поставить... сам посуди!

— Сквозь кулак дело видно... только окромя земли тебе теперь никто не поможет!—отрезал Филимон последнее слово, как ломоть, и даже не простился с Михайлой, оборотил на Гусенки, а к околичным воротам под вереву сразу повалил туман из чертухинского леса, и из тумана выкатился круглолобый месяц, уставился боком на Михайлу, будто так вот и хочет сказать:

— Ну и старый же ты куклим!

* * *

Какой был смысл в филимоновых словах, надвое можно было понять, но Михайла домекнулся впрямик: стариковское дело—глядит в могилу, а руки тянет к сметане!

— Да,—думает Михайла,—года, как вода: текут, а куда?..

Пошел Михайла от Филимона домой и по дороге все обсудил: придет сейчас, поговорит обо всем ладами, и на утречко можно тронуть в дорогу, но, вошедши в избу и разглядев впотьмах проснувшуюся бабу, напрямик все говорить не решился, а повел речь издалека, потому что старик был все же заносистый, долгое время молчит, а уже если развяжет рот, так есть что послушать.

— Где это ты, Михайла, шляешься, полуночник... дня-то тебе, греховоднику, мало!

— Молчи, Марья, нишкни!—сконфузился Михайла.—По делу ходил... богу в лесу помолился!

— Благо за бабой никакое дело не стоит!—перекрестила Марья зевок.—Ложись, несь, Михайла, ложись!

— Полно, Марья... что в спанье хорошего: цыган приснится!

— И то вроде как снилось. Завалилась с коровами, ждала, ждала тебя: гляжу—нету!

— Ты вот что говори, Марья, ты ведь у меня до божьего слова охотница... вздуй светец: почитаю я те богонравную книгу!

— Да мне что: читай, коли не усну!

Марья вскочила с постели и проворно вздула огонь, видно ее всю до подноготной, отвернулся Михайла и книгу с полки достал.

Марья забралась под шубу и подперла подбородок, привыкла она послушать Михайлу, хотя мало

что понимала. Читал Михайла враспев, как и все в старину, на голос, а книга осталась Михайле после чурливого дедушки, и как называлась она, шут ее знает.

Будто потом уж она попала к гусенскому масленнику Спиридону, да это никому хорошо не известно.

Читал Михайла эту книгу больше по памяти, потому что в грамоте не был силен, а держал раскрытой на середине перед глазами, так как вообще-то был охмуряло, отчего, может, всегда у него и выходило с на десято в пято—то смышлено, то смешно, то грешно, то свято!

— Слушай, Марьюшка,—начал Михайла, водя по странице пальцем,—слушай причту про вьюношу Силантия и про блудную царицу Загубу... было сие в старину, а и нам, несмотря, тоже знать не мешает.

Трещит, трещит, перед бедой, должно быть, лучина в светце, и на бороденку Михайле падает клочьями свет, еще теснее собирая на лбу крутые морщины: годы ли их проложили, старость ли их провела и прострочила некая извечная дума?..

БЛУДНАЯ ЦАРИЦА.

Во некоем граде,
Во некой веси,
Не у нас и не здесь,
Жил был именитый купец...

А и был он ко нищей братии скарעד,—
Ко церкви божией того боле скупец!
А и дал господь ему и его супруге,
Не по грехам и не по заслуге,
Прекрасное чадо. В награду...
Взрос у них в золотой палате
Непорочный вьюнош Силантий.
С лика Силантий толико
Прекрасен,
Со нрава Силантий велико
Острастен,
Разумом приманчив,
Ко роскошеству не припадчив!..
Со юности, с малолечества
Не взлюбил он богачества, купечества,
Не водил дружбы Силантий с гуляками,
А чтобы отец с матерью не каляли,
Он, коли шел ко заутрени, возвращался толь
ото всенощной, похвалялся матери обновкою,
Говорил отцу с обмолвкою:
— „А и важно же я седни, батюшка, пображни-
чал! Ох, и складно же я седни, матушка, покараво-
дился, подарил девкам на семечки сто рублей, про-
пил со товарищами не триста, не четыреста, а
целую тысящу, а и были целованы уста да перси
небесные,
А и было выпито вино чудесное.
А с того вина меня хмель не берет, не
берет-ка хмель:

Маловат кошель!“

На такие слова еще пуще купец тароватился, на такую речь купчиха величалась, никто не знал правды про Силантия,

Окромя нищей братии...

Тут и пришел срок выбирать Силантию жену по характеру, по отцову норову, по людскому сговору. Восплакася Силантий слезами неповинными:

— „Ах, и родный ты мой батюшка,

Ох, и родная ты мне матушка!..

Вы простите меня, помилуйте, что всю жизнь я вас обманывал, не гулял я и не бражничал, не пировал я со товарищи, со девицами под ручку не хаживал, а и важивал я только кампанию, спознакомсто со нищей со братией, со братией горе-горемычной,

Ко всякому горю привычной!

Раздавал я ваше золото, серебро ваше раскидывал по карманам дырявым,

По ладоням черявым,

Корявым!

А и ныне надевайте на меня одежды брачные, власяницу на мене натягивайте, примеряйте-ка ко мне вретище,

Коли любите ваше детище!

А хочу я спать не с молодой женой за златыми дверями

Во тереме,

А хочу лежать во пещере со камнем холодным, со заступничеством, со прощением: недостает рук обмахнуть слезу сиротскую, ой, слабы уста утолить беду!“

Именитый купец сына выслушал,

Сына выслушал, водки выкушал,

Обрядил родное детище

Во рубище, во вретище:

— „Мне не жаль серебра,—говорит,—сын, не жаль золота: не кидать гроша—не видать барыша!

А мне жаль, сынок, что твоя душа

Обочла меня перед осподом, осмеяла меня пред кучеством!“

Отошел отец от Силантия, родная мать в лицо ему плюнула, слуги отцовские из дома вытолкали, собаки за полы вытащили,

Добрые люди глаза на Силантия вытирали.

Не сказалося Силантию защитника,

Не подал никто ему ситника!

Подумал, подумал Силантий и пошел в скитники!

Приютала Силантия пустыня нехожёная,

Сыпучими песками положёная,

Ни кустика среди ней, ни хворостинки,

Ни тропинки,

Ни животинки,

Ни птички какой певчий!

— „Тако,—думает Силантий,—и душа человеческого!“

Вырыл себе Силантий пещеру пологую,
Разложил в ней одежду убогую,

Подвалил камень под голову, помолился, глядя
в небушко:

— „Положи, осподи, камушком, сподыми воробушком!“

Просыпается он рано поутречку, еще заря в
небе не занялася, еще синь течет из-под облака,
еще месяц по земному краю проходит сторожем,
встал Силантий враз на цыпочки, на дыбки от
удивления: а и видят глаза,

Да не поймут ни аза!

А и глядь-поглядь—

Что ни шаг, ни пядь

Перед ним стоит сад, деревьями засаженный,
на них цветики, словно бусинки, на них веточки,
словно лестовки с аллилуйями,

На них листики— уста чистые с поцелуями,

А на них плоды,

Да не для еды!

У пещеры—золотой ручей, берег выложен чистым
зеньчугом, а по бережку тропка шелковая,
а тропа ведет ко обители, купола издали синие,

Увешаны ланпадами скинии,

А и в скиниях старцы-скитники,

От мирского глаза скрытники...

Подошед к той обители заочной,

Взликовал Силантий душою непорочной...
Тут и вышла к нему монастырская братия
Со хоругвями, со распятием:

— „А и не в час же ты к нам пришел, вьюнош Силантий, не во-время! Ох, и горе великое у божей обители, уж и жили мы в обители, скрытились,

Постились, молились, скитились,
Ох, и ныне церкву излишку высокую взгрохали,
Ох, да и взгрохали, сами заохали,

Почто кумпол видно с любого конца, с любого краешку, почто слышен звон с каждой пяди земли?..
Басурманский царь нас из-за горки высмотрел, собирает войско несметное, басурманский царь страны ляховой,

Стороны загубной, аховой!“
Как помолится тут Силантий на звонницу,
Как и старцам в ноги поклонится:

— „Ой же вы, старцы,
Перед богом огарцы,
Старцы-скитники,
От мирского глаза скрытники!

Видно и у вас не убежишь от беды, видно и у вас от горя не скроешься, отслужите-ка по мне панихвиду недолгую, на скорую руку кадилами отбрыкайте, отстою я ее при живности, опосля выду к царю басурманскому, проведу его хитростью и выведу, а коли нехватит ума,

Так вернись во дома!“

Отслужили старцы панихвиду недолгую, огарцы пасхальные дотеплили, окурили Силантия ладаном:

— „Вот, тае, вьюнош, и надо нам!“

Тут в недолгую пору, в скором времени повстречалось Силантию войско несметное, впереди его басурманский царь, под ним синий конь,

Из ноздри огонь,

Под копытами гром и полымя, он ушми прядет в самом облаке, он и гривую по земле тащит! Поклонился ему Силантий, поздравкался, басурманский царь отпрукнул коня, опустил повод, плетку выронил:

— „Ты манах... не манах?

Ты в каких именах?

Не видал ли, тут монастырь стоит, в небо звонница упирается,

А ворота не запираются?“

— „А и зовут мене Силантий Силантьевич, а и сам я из нищей из братии, нищей братии горегоремычной,

Ко всякому горю привычной!

А и нет тут монастыря, нету церквицы, а растет вон в небе луковица

То ль из золота, то ль из олова,

Не большая она будет, не махонькая, в аккурат с твою дурью голову!“

— „Ну, уж луку у нас самих достаточно!..

Только сбыточно ли это, парень, статочно?..“

— „А и ныне день Марфы-огородницы,
А и Марфа слывет средь святых греховод-
ницей,

О мирской тщете
Заботницей, о людской суете
Заступницей!“

— „О такую речь конь оступится!

Вы берите-ка, мои слуги верные, люботряса
этого кудрявого, закрутите ему руки на спину,
положите вместе с провизией!.. Привезем мы его
в свою сторону, пусть насадит в небе луковок
на всю нищую свою братию

Горе-горемычную,
На всю шатию,
Ко всякому горю привычную!“

Так случилось все, так и сделалось, привезли
Силантия в царство ляхское, а и в то ли царство
самое,

Бесчинное да срамное!

Как взыграли килимбасы трубные, как царя
встречать народ вывалил, принимать на крыльцо
дочка выплыла:

— „Здравствуй, царь-осударь, здравствуй, ба-
тюшка! Что привез ты мне в подарочек на лю-
бовь свою отецкую?..“

— „Эх, привез я тебе, дочка Загуба Загу-
бишна, да вещицу не простецкую“.

Тут растолкали народ

И вывели Силантия вперед...

Как только тут все разгляделися, на носы у
всех глаза вылезли, на дыбки ноги вытянулись:

— „А и этот, дочка, молодец видит в небе
луковки,

В небе луковки, в книге буковки,

Что мне делать с ним, рассуди-разложь:

То ли правда—ложь,

То ли сказка то ж,

То ль огнем палить,

То ль в тюрьму валить?..“

Дочка царская на Силантия воззарилась, с
взгляда первого улыбкой обронила,

Подошла к нему, низко поклонилась,

Кудри шелковые белой ручкой тронула,

Заглянула в очи синие: вся душа в ней захо-
лонула!

„Ох—и царь-осударь, ты мой батюшка, отро-
дась я такой красоты не видывала, сызмальства
в такие очи не глядывала, а и скинь-ка ты ру-
бище со Силантия,

Обряди-ка его в парчевую мантию!“

— „Ох, и дочка ты моя родная,

Девка красная греховодная!

Ты нежна,

Важна

Да вальяжиста,

Самонравна да куражиста,

А и видно мне теперь конец,

Мне конец, а тебе—венец:

Ты садись-ка с молодцом на мой царский трон,
Для мене любовь—на земле закон!“

Силантий в землю под ноги устался, ото-
шел в сторонку от Загубы Загубишны, обернулся
лицом к люду хребетному,

Безотдышному, безответному,
Ко своему ли обету заветному!

— „Ой ты царь Загуб со Загубишной! Я не
вижу красы, не зрю почести! А и дал я обет
быть во девствии,

А и вижу в том только средство
От любого лиха-бедствия!“

Басурманский царь тут возгневился, дочка
царская раззадорилась,

Распушилась, расхорохорилась,
На Силантия усталилась бельмами,
Обернулась лютой ведьмою:

— „Ох, принять тебе, Силантий, ныне мучения
От великого моего огорчения:

Если так да если ты коли,
Так глаза тебе я выколю!“

Толкнула Силантия локтем
И проколола глазыньки когтем.

Силантий даже глазом не моргнул...

— „Ох, принять тебе, Силантий, ныне от мене
еще муки:

Отрублю я тебе руки...

Левую положу-ка себе на сердечко,

А на правую продену колечко!“

Взяла в обе руки меч,
Размахнулась с обоих плеч,
Отрубила Силантия руки, Силантий и рукой
не шевельнул...

— „А и нет мне, бедной, любви,
Согласия по духу и крови!
Заповедан мне тяжкий блуд:
Отруби ему, батюшка... уд!“
Заплакала Загуба Загубишна, сама белой руч-
кой закрылася,
Силантий запел, как на крылосе,
Звонким,
Тонким
Голосом,
Повалился наземь колосом...
Ни перекститься ему, ни на небо взглянуть,
так и умер с одним воздыханием.
А и тако пишет святое писание
Во наставление,
Во послушание,
Ему же ныне и присно и вовеки веком!..

* *
* *

— Аминь!—докончила Марья,—ложись спать,
Михайла!

Михайла перекрестился и закрыл книгу на той
же желтой странице, по которой шли кособокие
строки, как и морщины на желтом михайловом лбу.

— Ишь, Марья, заповедь, говорю, какая! От царицы и то отказалси!

— Полно, Михайла: да то же был вьюнош, а ты же... старик! Ложись-ка, пра, лучше да выпишись... Завтра гряды бы надо оправить да... горох... ох, посадить!

Завернулась Марья под шубу и тут же с места захрапела с тонким свистом и хлипом.

Задумался, видно, Михайла, а потом махнул рукой и заглянул под шубу: лежит Марья навзничь, жадно у нее раскинуты руки, словно ловят кого-то во сне, грудь поднялась к подбородку и в кончики рта набилась сладкая слюнка.

— У бабы вразумления мало,—покачал головой Михайла,—по-бабьему, значит, и рассудила!

До самого света досидел Михайла возле жены, как рыбак без снасти возле бурного моря.

А когда в окно ударил рассвет, порешил, что иначе быть не должно и не может: земля берет мужичью крепость и силу! Прав Филимон!

„Схлестнется, дура, пожалуй,—подумал он, держась за скобку на выход,—ну, да грех да беда с кем не бывает!“

А ведь это и правда: земля куда раньше лучше родила и была чернее грача, а сам-то мужик был намного сильнее на жилу и гораздо тверже на пуп.

ФЛАНГОВЫЙ СОЛДАТ.

Тут вот и начинается.

Последняя звезда висела к заре, как светлая слеза на девичьей румяной щеке, вот-вот упадет в синюю чашу, на которой незримой рукой наведены такие хитро-причудливые узоры.

Молодой показалась земля Михайле в то утро, как вышел из дому.

Идет он по дороге, и кажется ему, что позаодаль ее вместе с ним идут, не отставая, кусты бредовника и ольшняка и хилые березки провожают его на таком безлюдьи и тишине, завернувшись с головами в туман.

Чуть версту отмахал Михайла и остановился:

— Экий же старый я Фалалей! Гляди-тко, что вздумал!

Но как возвращаться назад на этот раз?

Хоть тянет в самый нос хлебный дымок от села, и слышно, как залучает в ночном пастух лошадей, по росе отдается конский топот и храп, только не видно еще ничего за туманом, плотно припал он к земле, до времени, видно, от Михайлы что-то скрывая, только вдалеке уже выставились за туманом красные рожки, и мелкие облачка, похожие на библейское амосово стадо, бегут с золотой горы, светлое руно роняя на землю.

Встал Михайла на колени, вспомнил филимонову молитву, положил широкое знаменье и стукнул о землю лбом:

— Простите, добрые люди!

Мыкнула Михайле в ответ из села первая корова, выходя из дворовых ворот, скрипнули на петлях калитки, а с синей горы из-за леса захкакала сначала словно с того света михайлова старуха, а потом молодо закуковала кукушка, отливая свои серебряные ку-ку на далекие версты.

Считал, считал за ней Михайла, сбился со счета и рукой махнул в ее сторону:

— Пустое кукушка кукует! Годик, может, не то два от силы, а там и на покой!

Скрипнули михайловы лапоточки, и перед ним в дальнюю сторону побежала по кустикам дорога, то загибая за них и прячась от михайлова глаза, то вдруг покорно вытягиваясь на далеко в струнку, желтая, с подорожником с краев, похожим на ребячьи ладошки.

Ничего больше Михайла не видит на скором ходу, только, взбивая за ночь осевшую пыль, прошел пустоша, вошел в темный лес, чинно стоят сосны и ели, словно староверы за утреней, сложивши на груди руки и чуть наклонивши головы вниз, вышел внезадоль на поле, загорелся к вечеру в стороне на большой горе Чагодуй пузастым куполом, похожим на семенную луковицу, и под ним четырьмя маленькими куполками собора, засияли издали железные городские крыши, крашенные под сурик и охра, причудливо ударила в глаза непривычная каменная стройка с большими окнами

казенных зданий, пылающими в косматых лучах пролитой в них с неба зари...

Глянул Михайла на купол, положил крест на ходу и свернул с большака на проселок, который бог знает куда уводил, ни разу и раньше Михайла, когда стрелял за христовым куском, не видал этой дороги, а тут словно кто сунул под ноги, провела дорога немного по полю и скоро, словно в испуге, шуркнула в лес, по лесу стрелой стрельнула, опять выбегла в поле, ловко по ней у Михайлы загребает лапотки, обутые по свежим портянкам: ночь прикрыла дорогу черным крылом, а Михайла, видно, потерял и устал и страх.

* * *

К утру столько места отмахал, что и самому стало вдиво: Чагодуй уже давно за плечами, и сторона пошла незнакомая, овражистая, если пахать, так намучаешься с таким местом хуже, чем с непокорной женой, а деревни и села редко-редко мигнут по пути где-нибудь с пригорка, только всё в стороне, словно нарочно сторонятся Михайлы, и избенки издали чуть кивнут князьками и опять ухоронятся в ветки за зеленый лист, в котором просвечивает только глубокое небо да серебрится легкий пух облаков.

В одном месте только бы Михайле выйти из леса, глядит: бежит ему навстречу с опушки человек что есть духу и на бегу еще машет рукой.

„Ну,—думает Михайла,—кого-то бог несет, на кого насунешься, а то пойдут без толку разговоры: пожал что стану лучше за куст!“

Но не успел Михайла с этой мыслью и шагу ступить, как человек тут уж как тут.

Удивился Михайла: солдат, brave такой солдат, словно с парада, и усы за ухо, и в зубах козья ножка, хотя, видимо, беглый.

— Здравия,—зыкнул,—желаю!

Сапогом даже прихлопнул и к козырьку приложился.

— Доброго добра, служивый человек,—Михайла ему отвечает,—бежишь от кого али кого догоняешь?..

— Белый царь,—говорит солдат,—онамеднись на турка вышел, а я вот по казенному делу тут к одному человеку бегу, да боюсь, что его не застану!

— А что за человек такой?—спрашивает простодушно Михайла.—Может я знаю?..

— Да человек,—отвечает бойко солдат,—человек не молодой, с седой он бородой, со слов он угодник, а с усов он греховодник!

Михайла в немалом смущении посмотрел на солдата и за бороду ухватился.

„Как же так,—мерекает Михайла,—как же это такое выходит: царь наш на турка, вишь, войной пошел, а тут такой brave солдат по пустым делам зря время теряет?..“

— Не знаешь, грехом, такого?—с усмешкой спрашивает солдат Михайлу.

— А что же у тебя за дело такое?—тихо переспрашивает Михайла, не ответив солдату.

— Да дело, конечно,—смеется солдат,—за пень, вишь, задело... об нем прямым словом не скажешь!..

— Бывают такие дела... как же, бывают!—протянул Михайла.

— Царь наш, вишь, на турка пошел, так теперь половину солдат у него уж беспрременно перелупят, да еще хорошо, когда половину, ну, и вышел такой приказ: чтобы ни одна баба не пуствовала и чтобы к новой войне росло в деревнях пополнение! Понял?..

Михайле бы надо тут малость подумать или притвориться, что не понимает, а он снял воронье гнездо с головы перед солдатом, как перед барином или перед каким начальством, и выпалил ему спроста напрямик:

— Ты уж,—говорит,—служивый, не по мою ли грешную душу?

Смолчал бы, может было бы лучше, как бынибудь отнесло или ветром отдуло, а тут сам навязался: солдат стрельнул на Михайлу угольной бровью и ногу отставил, грудь колесом на Михайлу выкатил, ус на полсажени в обе стороны оттянул:

— Уж коли судить по бороде да по разговору, так, пожалуй, и да!

Михайла поклонился солдату в пояс и переступил немного в сторонку с дороги: уж больно страшны усы!

— Ты сам видишь,—говорит,—служивый, старик я маломочный!

— Точно!

— Живу,—говорит Михайла с поклоном,—в бедности: дорого ли возьмешь за канительное дело?..

— Дело, говорю тебе,—подбоченился солдат,—казенное, я може за него отличие получу, ну, а впрочем, если сверху лишков, так что ж с тебя взять?.. Горсть волос!

— Спаси Христос,—кланяется Михайла,—ну, а все же... на дармовщинку все хуже выходит, потому и сладиться заранее лучше!

— Да скажу тебе прямо: не дороже денег!

Сплюнул солдат и козью ножку придавил на дороге.

„На душу христианскую метит, табакер,—уныло соображает Михайла,—на душу метит!“

— Есть,—говорит,—у меня, служивый, целковик—в кои-то веки ходил на богомолье, так нашел на дороге, когда по ней какой-то купец на тройке проехал, взял было тоже с собой на всякий греховый случай, а уж тебе не жалко—отдам!

— Давай,—протянул руку солдат,—если не фальшивый—возьму!

— Вот спаси те Христос!

Заторопился Михайла, и руки у него от радости задрожали, что о душе солдат не заводит никакого пока разговору, достал из-за пазухи красный платок,

завязанный с кончика в узел, развязал и подал солдату монету.

— Важный целкаш! — повертел солдат целковик на свет. — Только вот с орла какой царь, не видать, да видать, что не наш! Важный целкаш, хотя с краю провернута дырка!

Жалко Михайле было целковый, да нечего делать, пускай!

— Скидывай теперь архалук, — строго говорит солдат, — надевай мою шинеленку! В каком порядке живешь и какое название будет селу?

— Село Чертухино, сынок, а живу по леву... третий дом будет от края, — перепугался Михайла еще пуще, вылезая из своего армяка, видно по всему, что дело не на шутку: как бы до души не добрался!

— За здоровье как поминают?

— Кого, сынок?.. Меня-то?.. Михайла, батюшка ты мой, Михайла.

— Да тебя-то за здоровье поминать — попа только тревожить... пора бы уже за помин... я говорю про казенное дело, — крутит, крутит солдат ус, а он от этой закрутки становится будто еще длинней и пушистей, — по казенному делу отвечай!

— А...а, батюшка — Марья, родимый мой, Марья,

— Вот это так! Ну, да нам все равно, что Марья! что Дарья, был бы приказ, нам под замах не попадайся: пах-бах и готово!

— Она у меня, служивый, баба молодая... глупая! Как что-нибудь не по ней, так сейчас и в слезы!

— Утешим,—мигнул солдат,—утешим и причешем и вином напоим! На-ка тебе усы: давай сюды бороденку!

„Доберется,—похолодел Михайла,—ох, непременно теперь доберется!“

— Бороду,—говорит,—мне вроде как жалко! Без бороды мужику нельзя: без бороды, сынок, ни одного святого нет на иконе!

— Много ты, старина, понимаешь!—смеется солдат.

— Лик христов свой портить не буду, как хошь! Лик, он—христов!

— А ты мне тоже скажи: что там святые, а вот козлы без бороды рази бывают?

— Ась?—похолодел до пяток Михайла.

— То-то, а говоришь! Это как ты можешь понять?..—дернул солдат Михайлу за бороденку и ткнул ему под нос усы, словно клеем примазал.

„Доберется после таких слов,—дрожит Михайла,—теперь-то уж как есть доберется!“

Смотрит Святой: ни дать ни взять с его бородой самый настоящий Михайла, что значит у человека борода, а про себя, конечно, и не подумал, на что и на кого же сам стал похож, только видит, что у солдата от смеха скулы ходят, до того, зная, обчуднел Михайла с солдатскими усами и без своей бороды.

— То-то, старик! Вот и выходит: у святого на иконе, а у козла в поконел! Ну, теперь давай сюда

палку и... семь верст тебе не дорожки!—говорит довольно Михайле солдат.—Без палки меня никто в Чертухине за тебя не признает!

— Палочкой-то, сынок, меня мать еще в малолечестве этой дувала! Жалко мне палочку, да что делать: на!

— Молодуха твоя, поди, без палочки на порог не пустит! Ей ведь тоже известно: у кого палка, тот и капрал!

Несвычно было михайловым рукам, не знает он, куда их пустые девать, особливо теперь в дальней дороге. Как же без палочки быть, всю жизнь к тому же с ней проходил, даже спал с ней после смерти старухи.

— Скоро ли, — спрашивает, — работенку упрaviшь?.. Мне ведь, служивый, ты сам понимать тоже должен, не для приятства или забавы, а к старости чтобы подкормщик, заступник!

— А царю—фланговый солдат! Ладно, старик, мы все понимаем, не лыком подвязаны, сделаем, если приказано! Только скорее скорого ничего не бывает: скоро только вода по весне текет да к старости жизнь человечья!

— Правое слово, сынок!

— Я тебе прямо скажу: трафь теперь по этой самой дороге—пока до места дойдешь, белый царь управится с турком и как раз попадетя тебе на обрател!

— Нет уж, служивый: мы как-нибудь и без царя проживем!

— Да ты слушай: встренется он тебе на оброте, а ты хорошенько усы уставь на дорогу, увидит— непременно тебя произведет в анаралы. Чудачок!

— Ой, служивый, чин-то больно высокий!—видит Михайла, что шутит солдат, а по лицу и незаметно: за бородой не видать!

— Не перелезешь! Ну, да ладно, теперь иди себе и не сумлевайся, а как возвратишь в Чертухино с другого конца, так и будет тут кончик! Смотри, старина, с дороги только не сбейся!

Не успел Михайла в ответ солдату моргнуть, как от него только пыль с дороги подолом на Михайлу заворотилась и запорошила глаза.

— Цела душа в теле, и ладно!—протер Михайла глаза, перекрестился и зашагал не торопясь по дороге, заложивши руки за спину.

Место кругом унылое, неприглядчивое, солнышко садится заплаканное и заря промежду леса, как мутная вода льется, и облак поодаль идет, так будто совсем и не облак, а вылез это из-под моста разбойник и крадется к Михайле, вобравши голову в плечи, ни звону колокольного со стороны не слышно, ни купольной луковинки нигде к заре не видать.

„Сторона, видно, сибирная!—думает Михайла,— видно, тутошний народ и в бога не верит!.. Ну, да что ж в самом деле—была бы душа только в теле!“

Так Михайла Святой поменялся на старости лет христовым ликом с прохожим солдатом, а что это

был за солдат и что у него было за казенное дело, не трудно и самим догадаться: называть его прямым словом не стоит, а то девки будут в подолы фыркать, а сметливые люди смеяться!

ВЕСЕЛЫЙ ПОНОМАРЬ.

Обошел Михайла кругом землю или где-нибудь все же застрял по дороге—кто его знает!

Можно ее обойти или нет, тоже сказано надвое: не веревочку вокруг пальца обвить!

По ученому слову так вон выходит, что земля круглее спасова яблочка, оно и верно—все может быть! Кругла-то она кругла, только прямо перед глазами легла, а что с глаз, то не про нас!

Говорили в старину видалые и разные странные люди, побывавшие в старом Ерусалине у гроба, что пролегает эта дорога как раз через Ерусалинские ворота, в которые въехал в святой город Христос на ослице, и дальше уходит в некую Маравийскую пустынь, к тому самому горячему камню, на котором спаситель сорок дней и ночей под ряд проспорил с бесом гордыни, а потом уж от этого камня идет сперва напрямик, а после хоронится в скалах по-за-краю синего моря, уводя в высокие Леванские горы...

Там-то от века под воскрыльями стоит вознесенный престол, и на простоле в осьмизвездном ковше хранятся под золотым покровом нетленные

дары жизни: у этого-то престола и самый грешный человек получает возвращение силы—подставишь плешь на припек, и вырастут кудри, дунет ветер с горы и все морщинки разгладит, а как оглядишься вокруг, так сугорбье в нутро подберется, распрямишься, как молодой тополь весной, по костям прольется тепло и у губ сама заиграет улыбка, чтобы в недолгий после этого срок встретить смерть, как невесту.

* * *

Если по этой самой дороге Михайла пошел, то и впрямь, пожалуй, он домой назад не возвратился, потому что времени ему по его старости лет на этот путь едва ли б хватило.

Лучше будет сказать, что больше по незнанию да второпях, как бы молодая жена не проснулась да не ухватила старика в двери за офтоки, а также вышед из дому в благой час, когда на тыну ни свет ни заря во весь мах на порог стрекотали со-роки,—Михайла взял с самого начала много левее и потому хоть и обошел, может, действительно землю, но не по большому тракту, на котором стоит и наш Чагодуй, бегущему по самой середке земли, как солнце над нею проходит с недели до разговенья в петровышний пост на зимнего Спиридона-Поворота, сиречь, речь говоря, не по темени земли ее обогнул, а... по затылку!

Ему бы надо, если по-хорошему взять, малость завернуть на восток, действительно поближе к ту-

режкой земле, а он сдура, а может, как раз и на-оборот—с великой мужицкой хитринки, чтобы не соткнуться с белым царем, потому что кто его знает, всерьез ему солдат говорил про усы, али только смеялся,—сдура попал, по всему судя, в то самое царство, которое хотя и не близко, но не так уж и далеко...

Одно только можно к слову сказать что и теперь выйдешь из Чертухина и заберешься на попову гору или даже если на колокольню залезешь, так, хоть и вырублен лес по округе и все место теперь стало похоже на михайлову лысину, на которой разглядишь каждую вошку,—так все же... его, этого самого царства, не видно!

Поле... поле... инда даже до боли в глазах.

Ель да можжевель среди поля!

Зато вот, когда доберешься, так уж действительно да: за елью-коргой, за метелью-пургой, синее-синее море Хвалынь, округ моря теплынь! Трава в том царстве не вянет, деревья не отряхают листов!

А уж мужики живут—не удивишься!

Денег вроде как ни у кого ни семитки, а живут все в хорошем зажитке, сроду народу ни мытарства, ни барства: вот это царство!

Да, вот это царство!

Видно воочью, что царство это—Сорочье!

* * *

Правду же говоря, может это и так, а может и нет: из уха в ухо только такой гуд идет через

землю, может совсем понапрасну, и от этого гуда иной раз шибает в разум и токает в сердце!

На самом же деле кто его знает?!

Мужики, известно: как в поле трава растет, везде во всей-то земле по-одинаковому, чукчи и чувашаи, и наши мужики и не наши, хотя каждая травинка и пахнет по-своему и на свой голос шумит!

К тому же и про Михайлу Святого шел разговор надвое и даже натрое, можно сказать.

Одни крестились, божились, кулаками махали, ногами топали: дескать, обошел по-хорошему землю Михайла Иваныч и в свое время домой назад воротился, правда, когда воротился назад, так уж все у него в жизни так обернулось, что вроде как и не за чем было ходить.

Тут, при таком повороте, маловерные люди уже от себя добавляли, что Михайла хоть и выполнил филимонов завет и обошел кругом землю с зари на зарю, но, обошед ее, как уж мы говорили, не по главной дороге, а по затылку, как раз забрел в беспошлинное и бесплатное царство, но долго, меж прочим, там не загостился, потому что хоть и был по прозванию Святой, а окромя как в писании мало что в чем понимал—тумак!

Потолкался Михайла у них денек по базару, расспросил, что ему было надобно, и,—не заплативши ни полушки за чудесное средство для маломочных стариков, потому что в той стороне ни за что денег не платят: бери в любой лавке какую хочешь шубу,

хочешь—на меху, не хочешь на меху—бери на пуху, тебе даже дурного слова никто не скажет, а с почитением, наоборот—опять велят приходить!—получил, значит, задаром волшебную лучинку, прихватил бы, может, в подарок Марье и шубу, да, видно, все же далеко нести, и с этой самой лучинкой тут же наладил назад, потому что по ее молодости лет не располагался на свою молодуху.

Сплетка это иль правда, теперь трудно про-верить...

Про лучинку же эту так говорили, что лучинка и лучинка, какую и все у нас щепают на самовар, а раньше втыкали в светец, обстругана начисто, чтобы задо-ринки не было слышно, и привязывалась для ради державы на черенок, отчего и родился у Святого на старости годов от второй жены его Марьи будущий барин в нашей округе, Махал Махалыч Бачурин.

И в самом-то деле: при рождении, кто видел, ручки и ножки были у него, как лучинки, а голова с самовар!

Зато и вышел такой мозголовик!

* * *

Другие же старики говорили совсем наоборот: обойти-то обошел, дескать, Михайла, только не землю, потому живому человеку за всю даже жизнь ее не обойти, а обошел, де, добрый народ, наведши

его на старости годов на лишний грех и пересуды— не смог сладить с молодой женой и как-то стáкнулся с чортом, чорт с молодухой спал на полати и до самой михайловой смерти жил у него в батраках, а сам Михайла по хворости своей больше давил тараканов за печкой и только для смущения народа выходил инчас с палочкой, которой отгонял от себя на людях нечистую силу, не дававшую ему после второй женитьбы покою.

Как тут хочешь, так и разбирай.

Оно вполне и понятно: сынок-то у Михайлы задался, так что никто головы не мог приложить: откуда это так к одному человеку счастье да удача наперла?

В одном только, пожалуй, все были согласны: дело, дескать, в лучинке!

Был там чорт или нет, шут его знает, никто у него на рогах не висел, что же касательно этой самой лучинки, так тут совсем иной разговор: как никак Михайла старик был маломочный, всю жизнь на поясницу жаловался, а у Марьи из косы хороший кнут выплетешь и на спине для двоих места хватит — свезет!

* *
* *

Наконец, речь доводя до конца, надо сказать, что и в старину были такие неслухи, которые, не вникнув и не рассудив, на всякое слово машут рукой и обо всем цедят с ехидной улыбкой:

— Пустое! Будет врать-то, чего не бывало!

Тут уж поворачивалось все дело совсем другим краем: будто как раз в это же самое время появился в нашем приходе молодой пономарь...

Такой, надо сказать, пономарь, каких и действительно в старое даже время было немного, а теперь и совсем не бывает.

* * *

Пономари по большей части с росту сморчки, с голосу сверчки, ни с переду они, ни с боку, куда ни зайди; самое же главное: всегда как-то в годках, будто для них и молодых лет бог не посылал, а так уж зарождались все пономари с седой бороденкой, с природной хроминкой в ногах, только бы с колокольни не сверзиться да по-здорову из церковной сторожки добраться до храма.

Одним словом, никчемышный, убогий народ... хотя часто от убожества лечат других, веснушки с девок снимают а на боленые ноги ставят пиявки.

А тут...

Да, уж это, действительно, верно: был, был такой пономарь!

Метил он будто в попы, но к благословию был не прилежен, притвержен был больше к матерному слову и к пьянству, хотя человек был безобидный, только через меру шумный и непокорный.

По слухам, изгнали его в свое время в захолустье за то, что в непотребном виде, когда подавал

во время торжественной службы в присутствии большого начальства митрополиту кадило, на весь собор сначала громко икнул, а потом, спохватившись, зло матюкнулся, хотя, конечно, осекся на первом же слове и закрыл рот рукавом.

Может даже его бы и совсем лишили церковной стези, но по немалому искусству в колокольных коленах и по большой охоте к звонарному делу сослали как бы на испытание, почему он и выплыл у нас, как в самом в то время бедном и отдаленном приходе: можно сказать, место было—ни межи, ни просека, три губернии соткнулись в одном болоте, почему и говаривали в старину про наше Чертухино, что слышно в нем, как сразу в трех губерниях поют петухи!

Конечно, в нашей местности пономарю только и осталось, что без просыпу пить с такой незадачи, а ведь голос-то какой был у человека!

Бывало, в городе, если случалось после перепоя апостола читать или возглашать многие лета, так важные барыни в обморок падали!

Да и у нас в Чертухине тоже в куполе под крышей на высокой ноте, отдаваясь, звенело железо.

К тому же и вид имел—было на что поглядеть, кудри бороной не расчешешь, рост—рукой в нашей церкви доставал до потолка, ему, конечно, прямая дорога куда-нибудь в кафедральный, поближе к именитым купцам, а тут так все сложилось, что закопали человека в глуши.

Мужикам же, конечно, обо всем дознаваться про пономаря мало было нужды, что, дескать, это за человека им подсудобили, очень были довольны, потому что перед ним был звонарек так себе: не то к обедни звонют, не то муха в немытое окно скубется; тут же сами ноги тычутся в свежие лапти— и не хочешь, и некогда, да пойдешь!

Потому касательно звонарного дела мужик в нем очень даже хорошо смысл понимает, любит он, чтоб звонили погромче да поскладнее, так, чтобы звон за звоном колесом катился, чтобы из-за леса по росе за десять верст ему было слышно соседний приход.

У мужика дух сонливый, потому и любит он звон!

Любит, любит мужик колокола на колокольне,— и право же в этой его привычке ничего нет такого, потому что по той же самой, может, причине любит он и звонки под дугой... надо ведь то понимать, что если мужик раньше чаще в церкву ходил, так не оттого ль, что в старое время на тройке катался почитай один барин Бачурин в нашей округе; была еще у нас помещица Рысачиха, так она еще до воли пошла на фуфы, а других оспод в нашем месте поблизости сроду родов не бывало: мужики жили по большей части государственные,—один, значит, только серый барин Бачурин, который тоже, к слову сказать, любил малиновый подбор в позвонках, а мужики слушали их и с шапкой в руках сторонились, давая дорогу.

Потому-то и дивного нет ничего, что когда молодой пономарь впервѣй ударил на чертухинской колокольне, словно вприпляску, так сначала никто не поверил, до чего хорошо: бабы выскочили, думали сначала, пожар, звон больно част, а как разнюхали, что это новый пономарь ударил достойну, печки на полном жару побросали и—в церкву!

Какая, кажется, барыня Рысачиха, дворянка прирожденная, свой поп под рукой, да и церковь посещать была небольшая охотница, а и та пристегала из-за двадцать верст как-то к обедне, когда про пономаря разнесся слух по округе и до Рысачихи докатился удивительный чертухинский звон.

Правда, у барыни была еще другая причина!

Словом, всем пономарь пришелся по духу, первое время с языка не слезал:

— Эх, дескать, ну и хорош же у нас пономарь!

Да, уж это, действительно, правильно—верно: был, был такой человек!

* * *

Вот с этим-то пономарем Марья будто с первого же звона и снюхалась, бегала к нему прямо на колокольню, чего хотя в глаза никто не видал, но и трудно было не поверить, потому что и в самом деле Марья годилась Михайле во внуки, шут тут разберет, может, и впрямь не Михайла с волшебной лучинкой, а... пономарь!

Надо только к этому делу прибавить, что удивительный пономарь прозвонил в нашем приходе недолго: как-то, должно быть, на пасхальной неделе, когда колоколья, попавши в мужичьи неумелые руки, привыкшие больше к сохе да вожжам, от бестолкового звона сходит с ума и, если поглядеть с нее вниз, так, кажется, тоже на ногах не стоит, шатается, как мужик, и огибает бегущие над крестом облака,—значит, в самый колокольный разгар пономарь, то ли от чрезмерного хмеля, то ли от излишнего старанья, или уж так случиться греху,—оступился с привесной доски, к которой привязаны колокольные билы, ахнулся со всей силы о подгнившие перилы, по грузности своей подломил их и свалился с звонарни на паперть, как куль!

Хотя и не очень было высоко, но и костей от него не собрали!

Может, может быть так! Все может быть!

Тогда почему же многие, и очень степенные люди, которые с барином по коммерчеству разное дело имели, так про него говорили:

— Состряпал, де, нашего барина... чорт на пьяной свинье!

Конечно, потому и разговор, в котором спутаны концы и начала, что человек больно вышел из ряда, и жизнь его больше походит на выдумку или причудливую и очень чудную легенду.

Касательно пономаря же все может быть, может, действительно Марья не без греха, как и всякая

баба, но вот как вспомнишь, что говорили про барина, да припомнишь его самого, хотя на нашей памяти все дела его уже подходили к концу, так против воли как-то в сердце сомнение падает, а в мысли... раздумье?!

ЧУЧЕЛО.

Пораздумав же и размекнув, трудно совсем ничему не поверить, потому что правильного до волосинки ничего нет на земле, все живет с небольшой около себя паутинкой, неясной на глаз, в которой у одного спрятался где-нибудь в подлобьи на осми лапах паука с жирным брюхом, а у другого только жалко и смешно у всех на виду болтается кверху лапками высохшая мушка,—во всем все оттого, как на дело взглянуть да как подойти к человеку, да как о нем речь повести: хоть бы этот солдат, который встретился Михайле, что это такое?

Тем более, что и в самом деле потом он добил-таки до енерала, но об этом опосле, сейчас же еще раз надо прибавить, что в солдатском чине его видел один только Михайла, который, может, совершенно зря его испугался и в испуге, может, совсем ни к чему поменялся с ним ликом, убоявшись лишиться души.

Хотя обошлось все по-хорошему, отделался Михайла всего-на-всего бородой, молодой женой да

потертым целковым, который и в самом деле нашел однажды, но только не по дороге на богомолье, и про богатого купца Михайла сболтнул больше с перепугу, чем из склонности ко лжи и неправде: нашел Михайла этот целковик в чертухинском лесу, в том самом месте, где из матерого леса дорога ложится в развилку—одна на Светлое болото, а другая на Чагодуй; сгорела в том месте елка когда-то в грозу и на ее память остался один черный пенек, на котором грелись на солнце медные змеи... Сам же Михайла рассказывал так, а правда это или нет—бог его знает... будто однажды ходил Михайла за грибами и вздумал на пеньке отдохнуть, глядит: змея-медяница.

Михайла ее своей святой палочкой тюкнул, змея зашипела, а потом, видно, против палочки все же не устояла и под пенек, в белоус, а на этом самом месте, где она грелась, на пенушке, братцы мои... ну, да ладно, про этот целковый у нас еще речь впереди, пока же управиться надо с солдатом, а то история эта такая, что если уж рассказывать ее, так ухо и глаз надо держать на-чеку, а то и в самом деле никто не поверит!

* * *

Когда солдат в михайловом виде пришел на село, пастух гнал по выгону стадо.

В то время Чертухино было не страсть какое село, в две улицы, домов всего двадцать, не больше.

Мужиков на выгоне не было, бабы же стояли, подперши подбородки руками и заботливым глазом провожая скотину—домашняя дума и вековая наша деревенская тягота, потому мало кто и заметил солдата.

Солдат же, как только минул ворота, снял картузишко после Михайлы и на солнышко плешь показал:

„Не сумлевайтесь, дескать, бабоньки: я—самый Михайла!“

Но никто и без того ничего не подумал, кто только глазом моргнул, а кто и совсем отвернулся, ни прощай, ни здравствуй, потому что кто же Михайлу поймет: пришел он али уходит?

Да и в самом-то деле: чем не Михайла?..

Михайла и Михайла, и палочка в руках, и бороденка торчит для порядку, на манер того козла, которого тверские мужики по дурости своей на колокольню тащили, только с походки вроде как поживее да потверже, должно, по той же солдатской привычке, которую никаким армяком не прикроешь от сметливого глаза, но бабам такая тонкость была невдомек, хотя Михайла очень уж загребал ногами, потому что болела у него с малых лет поясница будто бы от тяжелых подъемов и в ногах было дрожанье.

Солдат прошел мимо баб, отсчитал третий дом от края по левой руке, подошел не торопясь, видит: дом так себе, не ахтишная стройка!

Крыт под щетку соломой, на соломе с краю крапива, и в крапиве на тепле весело бабочка вьется, под окнами стоит рябина или черемуха, не поймешь: лист чуть разбила и выставила только ушки, окна скособочились и смотрят в землю, да и вся изба сильно подалась вперед, будто тоже собирается куда-то за хозяином итти, да никак не сдвинется с места.

„Под крышей бобыль,—подумал солдат, присаживаясь на крыльцо,—а повыше ковыль!“

Поглядел солдат на дверку: замок с хитрым отпором, кованой меди, видать, что михайлова жена куда-то тоже еще с утра устегала.

— Известно дело,—ухмыльнулся солдат,—баба-то видно, что да!

Достал было кисет и начал уж крутить козью ножку, да вспомнил про Михайлу, что тот ни водки, ни табаку за всю жизнь не употреблял, сунул кисет под застреху, сидит—лик постный, ждал-ждал, все глаза проглядел на середку.

— Ишь ты, шлэнда! Ну, да ладно: подарю сапожки—подожмешь ножки!

Только к обеду, когда отзвонили на чертухинской колокольне и последний удар укатился далеко куда-то за наши леса и поляны через деревни и села к тому, может, синему морю, на берегу которого стоит бесплатное царство,—солдат разглядел: идет из-за дворов михайлова молодуха, будто крадется от людского глаза, хотя кому какая нужда подсматривать, подошла к огороду сзади михайлова

дома, и с ней рядом кто-то вроде ей на ухо шепчет, одной рукой на избу показывает, а другой обхватил посередке и не пускает, но Марья, видно, уже разглядела солдата, отпихнула вздыхателя от себя, и тот споткнулся и повалился в межу, а Марья будто чуть вскрикнула и заспешила, словно куда опоздала.

— А-а-а... Эн оно что,—щелкнул солдат.

Отвернулся, как будто ничего не заметил.

Марья подошла и поклонилась, платочек на голове поправила и грудь подперла рукой, чтобы не так заметно было волнение из-под ряднины.

— Аль уж вернулся, Михайлушка?—голосок виноватый.

— А ты не ждала, небось?—сердито ответил солдат, не повернувшись.—Где это тебя с такой рани нелегкая таскала?

— В церкву, Михайла... к ранней ходила! За тебя помолилась!

— Подумать только, праздник какой: молодой пономарь!

— Да что ты, Михайла, в уме?..—всполохнулась Марья.—Мало что люди болтают, всех слушать, ушей не хватит. На-ка просвирку!

— Знаем мы эти просвирки—в середине дырки!

Марья ушам не верит: никогда до той поры ее Михайла и голосу не подавал, где была, куда ходила, как и нет его, старик очень тихий, согласный, вся и беда, что не в силе, да пахнет от него по ночам как из могилы.

— Думала, ты в лес за грибами пошел... грибов принесешь... потому и печь не топила, а тут как раз зазвонили!

— Ямщик должно со звонками проехал! К тому же, дурья твоя голова, если уж врать, так навирай, чтобы угодить в рай: какие в такую пору грибы?

И в самом деле нескладно это вышло у Марьи, совсем недавно снег только сошел, ну, да в обиде у бабы месяц за месяц заходит, и все сроки иные.

— Ладно, небось... отпирай избу да становь самовар! Мотри, Марь, у меня: я ведь тихий-тихий, а не гляди, что в тряпочку помалкиваю: я ведь всё-ё вижу!

— Михайл... побойся-ка бога!

— Чего ж мне его бояться: дело, несь, говорю!

Марья еле ключом в замок попадает, тычет, а сама утирает глаза, и за слезой ей не видно, что держит ключ кверху дужкой, не протыкая в лазок.

— Напраслина, Михайла... видит бог, напраслина!

— О... о... напраслина!.. а кто же тебя мял сейчас за углом?

Марья выронила ключ и схватилась обеими руками за щеки, смотрит во все глаза на солдата в михайловом виде, не зная, куда ей кинуться лучше: ругаться или смеяться над стариком, потерявшим всякий разум от подозренья.

— Сам видел: руки вот так и расставил... иди, дескать, к своему старому чорту, а я вот не пущу... Хорошо, что столкнула!

— Что...о?—протянула Марья.—Что эта?.. Уж не в писании ли вычитал?..

— Да то... вот что... могла бы где-нибудь по-дальше от дома! Не срамила бы дом!

— Глаза те, старый слепень, напучило!

— Ничего не напучило—сам видел!

— Да что ты видел-то?..—заходили марьины скулы, вот лопнут не то от злости, не то от смеха.—Кого?..

— Пономаря!—расстановисто ответил солдат.

— Пономаря-я? Да он же на Пасхе с колокольни свалился!

— Его самого! Захочет—с того света придет!

— О...о... х-хо-хо-хо...—раскатилась Марья, при-села и даже руками себя в коленках обхватила,—старый же ты дурыня, до чего же меня только на-смешит: ей-бо, сейчас тресну! Ох-хо-хо-хо! Ой...ёй...ой!

Солдат недоуменно поглядел на бабу и подумал:
„Баба-то—да! Проведет и выведет!“

— Ой же и дури в тебе накачено, Михайла! А все, должно, от писанья! Лучше бы гряды копал!..

— Скажешь тоже: и видел, да не видал! Знаем вашу повадку! Шалишь!

— Да не говорю, что не видал... только что ты вида-ал?..—Марья опять зашлась дробным смешком, закашлялась и схватилась за грудь.

— Пономаря!—отвернулся солдат.

— Держите меня, сейчас упаду: это же чучело! Какой там еще пономарь?

— Чучело?—удивился солдат.

— А то нет?.. Пономарь?.. Сам же ведь прошлой осенью ставил!

Солдат почесал недоверчиво в затылке и хмельно улыбнулся:

— Ишь ты, память-то какая девушкина стала... ну, вот убей меня—не помню!

— Это у тебя писаньем отшибло!

— Сумно мне что-то: пойти посмотреть!

— Поди, поди, фефя, глаза разуй, слепой куклой!

— Подожди, — говорит строго солдат, — погоди: надо проверить, потому что бабе так поверить нельзя! Баба сама себе правды не скажет!

Завернул он поспешно за угол дома и распахнул настежь калитку на огород, в огороде межи лежат от прошлогодних гряд, и у часткола щетинкой вылезла на припеке осочка и уже взлохматилась местами молодая крапива.

„Гряды бы перекапывать надо, а тут балушки у старика на уме“,—уже без смеха подумала Марья, но тут же опять залились у нее румянцем и запрыгали щеки, когда солдат в михайловом виде, как бы робея, подобрался к той самой меже, в которую и в самом деле Марья повалила огородное чучело, думая сейчас же приняться за перекопку, а чучело стояло на самой середке гряды, расставивши руки, и только мешало,—подобрался, видит, нагнулся, сослепа еще не веря глазам, а из межи... тут у Марьи

захватило дух и по спине побежали мурашки, и на глазах застыли слезинки, которые одна за другой катились от смеха: из межи у Марьи совсем на глазах выскочил живой человек, очень даже похожий на пономаря, такой же кудлатый, волосы самоварного цвета, и по росту как будто подходит, только вместо подрясника в чучельном балахоне с латками и заплатками на каждом вершке—вскочил и на ее Михайлу с кулаками!

— Что-й-ти-ка?.. что же ж это такое?.. Видится, что ли?.. Ай уж люди до того заговорили, что и сама стала верить?..—протерла Марья глаза, глядит: да, пономарь!

А в дыры так и сквозит белое ядреное тело кутейной породы, и щеки круглые, словно налитые, лосные, лампадным маслом вымазаны, и глаза, как стекляшки, на солнце горят:

— Михайл... а Михайла,—задохнулась Марья.

Жалко уж стало старика, али и в самом деле перепугалась и потеряла всякое соображение, но солдат, видимо, мало струсил, обернулся только на Марью, мотнул ей головой, дескать, что—видела?.. а потом пригнулся чуточку и со всего маху ухватил балахон по середине, у пономаря глаза вылезли и болтаются сбоку, страшно уставились на Марью, руки смешно заболтались по сторонам и ноги достают землю, а достать никак, видно, не могут, подтащил его солдат к частоколу и, поднявши на обеих руках высоко над головой, забросил на другую сторону в крапиву.

Показалось Марье: за частоколом тут же кто-то стремглав пробежал мимо дома в направлении к церкви, но кто это был, некогда было смотреть, потому что солдат сплюнул за изгородку и, подошедши к Марье, сказал:

— Ишь ты, дело какое!

У Марьи морозец еще пуще побежал по спине, как мышонок, упавший с потолка за рубашку; смотрит она на солдата и уж не смеется, но тот, видимо, не замечает ни смущения ее, ни испуга:

— Ишь ты, дело какое! Ведь верно чучело, Марья: прости Христа ради! И верно ты сказала: глаза напучило!

— Чучело?—в расплохе переспросила Марья.

— Не то чтобы оно—оно, а и вроде как да!—сморгнул солдат.—Ишь ведь что померещиться может!

— Ты же сам прошлой осенью ставил!

— Ничего не скажу: совсем, совсем из головы вон! Прости Христа ради!

— Вот видишь, Михайла, ты другой раз лучше смотри... а людям не верь,—спокойно сказала Марья, пришедши в себя с глазу на глаз с солдатом.

— Ладно... жена, говорится, мужу: хватит и ему жел.. Пойдем в избу, да становь самовар! Экое дело! Память отшибло!

Марья отперла дверь и покорно вошла в сени, не нашедшись ответить.

Солдат подхватил ее под локоток в сенной темноте и прошептал на ушко:

— Промеж прочим, дай вам, бабам, только потачку!.. Ишь глаза-то у тебя, как волчьи ягоды—несытые! Ну, ладно... не буду: смотри—не шарнись затылком о притолку!

В темноте горели у марьиного уха два уголька, но она их не видала.

ВОЛШЕБНАЯ ЛУЧИНКА.

Вошли они в избу, в избе ничего, чистенько, только по середине матица лопнула и потолок выгнулся, как верблюд в пустыне, и половицы под ногой, словно живые.

Марья бросилась к печке, а солдат степенно помолился щепотью на образ Миколы в углу, осмотрел все хозяйским глазком и на полати:

— Я малость, Марья, с похода сосну!

— Мигом, Михайлушка, алялюшки будут готовы!—пропела Марья из-за печки, глаз у нее разбежался и в грудях от удивления сперлось: не месила, не квасила, когда из дома уходила, а из квашни, гляди, тесто лезет через края на залавок!

Сунулась Марья на полку, заспешивши, чтобы тесто совсем не перепузырилась, глядит: в масленке свежее масло, было только с перушка побрызгать, чтобы края у хлебов к площадкам не припекались, а тут так и течет слеза за слезой по глиняной кромке...

Глянула подальше: э-э, сметаны горшок, свиной бок торчит с нагульным салом, а в самом углу уставилась на Марью паленая баранья голова стеклянным глазом с неотбитыми еще рогами, завернутыми в три поворота, то-то: баран!

Смекай: значит—студень!

А должно, что недаром люди прозвали Михайлу: Святой,—думает Марья в своей простоте,—всего и мяса-то было в дому, что вошки да блошки, а тут ишь: полны все плошки!

Не взглянула Марья на радости на образ Миколы, всегда он сам бывало раньше смотрит к Марье за печку, тихий тоже вроде Михайлы; глаза в чадугу да зимней темноте тоже ослепли, лик по местам тоже облупился и покрыт густым слоем сажи, а все же его разберешь, смотрит за печку и словно спросить Марью хочет:

— А хороши ли вышли седни, Марьюшка, хлебы?..

А сейчас ни глаз тихих, ни блаженной улыбки не заметно, отвернулся к стене, где сколько лет паутина дожидается пожара, в углу же темно, низкие окна, и лампадку сколько времени не зажигали,—да и в глазах у Марьи не угодничий лик, а баранья паленая морда с такими рогами, что редкость, спросить же Михайлу Марья боится, потому что съестное не мужицкое дело, да и с полати в это время скрипнуло, и солдат сердито окрикнул:

— Поворачивайся, Марья... у нас чтобы раз-раз и готово!

— Живой рукой, Михайлушка!—еще ласковее ответила баба.

— То-то, баба, смотри: жена ты мне али нет?..

— Жена, Михайлушка, как есть твоя свояская!

— То-то!..

Разлегся солдат и захрапел, трубит у него в ноздре полковая труба, Марья не раз, было, пугливо высовывалась на этот храп из-за печки, потому что Михайла раньше так не храпел, больше свистом спать не давал, да не подумала ни о чем, потому что было не до того: тут так все и ходит в руках, так все в руки само и суется, в печке огонь машет на Марью красными кулаками, вытягивает в опечье длинную шею, вот-вот выхлынет в избу, дрова трещат, как перед свадьбой, и алялюшки прыгают со сковороды в широкое глиняное блюдо, на диво рыхлые и сдобные, словно марьины щеки, а не алялюшки, с дырочками посередине, и в дырках вкусно пузырится душистое конопляное масло: по горнице дух идет, чихать хочется!

У печки, известное дело, бабы последний разум теряют, когда есть в чем погваздаться да наготовить на маланьину свадьбу разной стряпни!

Солдат же храпит и храпит!

— Вставай нето, Михайлушка, собирай на стол чашки, самовар поспел: все ноги ошпарил, как разбежался!

— Как бы не так: дай вам, бабам, только потачку!—солдат и повернуться не подумал.

— Михайл... а Михайла, что в самом деле: одной сладу нет никакого!

Солдат смотрит на Марью в щелку, храпит и виду не подает.

— Баба, да!—думает сам про себя.—Репка: не складно сшита, зато крепко! И глаза... ой, глаза у бабы первое дело! Ишь, развесила волчьи ягодки, как на кусту!

Марья раза три окликнула солдата, но, не дождавшись ответа, оторвалась от печки и вошла на полати с ногами, думала, что и в самом деле ее Михайла заспался и никак не проснется:

— Михайл... а Михайла!

...а он, братцы мои...

...Тут вся изба, показалось Марье, сдвинулась с места и побегла по дороге, и полати качнуло, и они поплыли, поплыли, как большой плот на бурной реке, борода набилась в рот, как кострика, в глаза полохнуло то ли из печки, то ли из близко придвинутых глаз: все помутнело в глазах, в середку потек жар и холод, и только сквозь огненную муть видно Марье с полатей, как изо всех щелей в располохе мечутся по стене тараканы, прусаки и черные, испуганно натываясь друг на дружку усами.

— Михайл... а Михайла,—еле выдавила Марья неразумные слова,—Михайла, пусти: алялюшки простынут!

С той поры пошло у них все по ряду и по порядку.

Стали жить, а люди дивиться.

Куда солдат в михайловом виде, туда и Марья за ним. Солдат на огород, и Марья сзади с лопатой, солдат на базар—гляди, и Марья поспевает с корзинкой покупать по хозяйству...

— Ишь ты,—судачили бабы,—как обжилась со стариком: за милую душу — куда иголка, туда и нитка!

Лихость же у солдата в работе была под стать молодому, расторопка в работе, и все не зря да с толком, чего не всегда можно сказать и про хороших, мужиков, которые на этой работе руки отбили.

Догадаться же первое время о чем-нибудь и в голову никому не приходило: во-первых, борода, а с бородой мужики меньше имеют подозренья друг к другу, а во-втором числе—палочка, тут уж всякий разговор был бы не к месту пока, потому что примета самая верная и не ко всякому она подойдет!

Про Марью и говорить не приходится, даже к обедне перестала так часто ходить, как было до этой поры, а уж если в какой праздник срядится в церкву, так сарафаны один одного лучше, бабы все глаза проглядят на финтиху: по вороту, по подолу, по широким на подолах оборкам позументики разные канительные, прошивки да пугови.

— Что значит нету ребят... баба—лошадь, чорта свезет, зато и рядится, как на смотрины!

Молодые мужики, встречаясь с Марьей, только зубами лязгали, а приступу нет никакого, даром что мужу под восьмой десяток подходит, что же касательно пономаря, так, как мы уж сказали, он в кои-то веки упал с колокольни, и его заступил дьячок Порфирий Прокофьич, у которого такого склада не выходило, потому что не было развязи в руках: ботал как попало, лишь бы только было погромче!

Дивиться же и в самом деле было чему: во время все скошено, в срок обмолочено, закрома с Марьей метло позабыли, со двора скотина благим голосом от тесноты заходится, а, кажется, встает Михайла не раньше других и не позднее ложится!

— Удача!—советовались мужики.—Эн лен посеяли, у всех по булавке вышел, а у него садит по клюшке!

Но как ни велика удача в мужицком деле и как ни важно счастье, которое во всяком деле стоит смекалки, все же взяло всех сомненье, и по народу пошел слух, что такой прибыток в михайловом тягле вовсе не оттого, что сам он одумался к старости и принялся обеими руками за хозяйство—живет, де, у Михайлы, невидимо для человеческого глаза, чорт в батраках, ничего ему Михайла не платит, потому что чорту деньги не нужны: Михайла спит на печке, а Марья с батраком на полатах!

Разговор про батрака в особенности завелся после того, как разделили сзади церкви лужки: натыкали с вечера вешек и бродя пробрели, чтобы с утра по росе не тратить зря время,—глядь, как раз поутру, когда все Чертухино вывалило с косами за церковь, так что непривычному глазу могло показаться, что мужики собрались в тумане не на покос, а на турка,—глядь: у Михайлы обе полосы скошены вчистую, соседей даже на поллаптя обкосил, да и не скосил, а выбрил!

— Ишь ты: люди за косы, а Михайла за ворошалки!

Ночью стояла на небе высокая луна и до самого первого света провисела посередке над Чертухиным, ясно было не хуже, чем днем, роса на траве лежала, словно бобины, а по такой росе коса сама ходит и под самый корень подрезает траву, днем же, еле солнце вскочит, начинало сразу жарить и парить, полезут назойливые мухи в глаза и из стада налетят тучей слепни, тут уж не до кошебы...

Старик же был бессонный, но уж такой народ у нас подозрительный и недоверчивый, всякий подумал:

„Его дело: батрак!“

После этих самых лужков мужики старались только поклониться при встрече пониже или... обойти на дороге.

Сколько тут времени прошло, кто его знает, всего не упомнишь!

Жили раньше, не торопились, и день был гораздо длиннее.

В общности жили ровненько!

Правильно же доподлинно то, что Марья в кую-то пору отяжелела, почему и стали тут иные говорить про лучинку, мало все-таки веря и пономарю, который по срокам не выходил, если вспомнить, когда он с колокольни свалился, и чорту тоже не очень, который хоть и жил будто бы у Михайлы в батраках и спал с Марьей на полати, но никто ведь за рога сам не держался!

К тому же раздуло Марью, страшно было смотреть.

Думали бабы:

„Двоешки! Непременно двоешки!“

— Что-й-то, Марьюшка, как тебя расхлестнуло?..— шептали они Марье при разговоре, оглядываясь, нет ли поблизости мужика, когда та выйдет под вечер на середку и присядет на завалинку вместе с другими.—Смотри: так ли у тебя все, как надо?..

Марья же тупо улыбалась распухшими губами и охорашивала передник на страшном животе, видно, что баба что-то таит или сама еще хорошенько не знает...

— Бог милослив, бабы!

Всегда она с этим ответом потуплялась и прятала от баб глаза, словом, никому не проговорилась,

что ходит к ней с памятного дня пономарь с того света и в поминовение своей грешной души носит просвирки.

На том самом месте опять стоит чучело, не на-сеешься иначе гороху на воробьев, только Марье проходу не дает и во сне даже снится, и Марье это теперь даже не страшно, потому что хоть и хороший старик Михайла, и сила к нему бог весть откуда вернулась, но борода у него, как кострика, и набивается в рот,—не продышешь, а у пономаря была бородка аккуратная и зубы в бороде, как частокол...

Сама Марья не знала, с чего она так затяжелела, уж не от мертвой ли присухи у нее так раздуло живот, мучилась сама втайне ото всех и часто плакала, прислонившись где-нибудь за печкой в темном углу: с таким разговором к людям не выйдешь...

Но раз в самую полночь, когда в утробе сильно под ребра колотнул ножкой младенец, не утерпела, подкатилась к солдату в михайловом виде и зашептала ему в ухо:

— Михайл... а Михайла?..

— Что тебе, дура?..

— Откуль у ты сила?..

— А что тебе знать?..

— Бабы смеются!

— А пусть их смеются: смеются все лучше, чем плачут!

Повернулся от Марьи на другой бок и снова захрапел, а поутру, еще рук не сполоснул, сильно прибил:

— Корове помои, а бабе побои: обе сыты и будут!

Но Марью, видно, вконец одолели расспросы и свое любопытство, отступу нет никакого: скажи да скажи!

— Дура,—не выдержал солдат перед бабой,—кажная овчинка пялится на лучинку, чтобы годнее была!

Только и всего: догадывайся как знаешь!

Марью такая загадка не удивила ничуть, Михайла и обо всем-то говорит не напрямик, а вроде подтитлами, и так можно его понять, а можно, если подумать, и по-иному догадаться!

Мало же удивившись и ничего не увидя в этом ответе худого, Марья, конечно, проболталась по глупости бабам, а те затрещали и понесли на хвостах на разные лады пересуды, что Михайла—где уж и у кого уж—бог его знает!—добыл такую лучинку, с которой ни один старик не удаст молодому.

— Старый конь борозды не испортит,—смеялись на них мужики.

Положим, хорошая старая присловица, которую, может, и придумали бабы, но всего смысла ее не понимая, потому что с пашней не свычны, да и пахать дело не бабье: напахать-то напашут, а какой вот тоже вырастет хлеб?..

ГЛАВА ВТОРАЯ.

МИРСКОЕ ДИТЕ.

ПОТЕРТЫЙ ЦЕЛКОВИК.

Мужики в то время совсем не знали цену деньгам...

За золотой рубили небольшую избу, за рубль можно было купить яловую корову или в крайности годовалую телку... да что там изба или корова: у всех еще на памяти была недавняя крепость, когда самих-то мужиков оспода продавали по елдаку за вязанку!

Словом, мозоли у мужиков тогда еще, по примете, не чесались к получке, а серебряные деньги только к слезам во сне снились бабам, на руках же и в кошельках, да и в кадушках у скопидомов где-нибудь на дворе под соломой были больше серые деньги: гроши да полушки, семитки да пятаки!

Простаки были, одним словом!

Да, по правде сказать, без денег было, может, и лучше, потому что чем больше денег в руках, тем больше их надо, справлялись, земля хлеб родила, а бабы ребят, так все и шло по порядку.

Одёва была посконная, ткали бабы с такой крепостью, что никакая работа не брала; обуви же никогда не бывало износу, потому что росла тут же за тыном: в лесу от липового заросленника под елками пройти было трудно, не говоря уж про корьевой бредовник...

Липовые полусапожки... фасон им известный!
Стали его забывать!

В лаптях теперь ходит только Дирбинь-Калуга да Рязань-косопузка, а у нас еще с люльки приучают к сапожному ремеслу и вся округа пропахла лаком и политугой: мужик теперь так у нас пристрастился к кусту, что на землю смотрит сквозь пальцы, привык к сидячей работе и в церкву и в трактир в фартуке ходит!

В те же поры сапогов, может, и в заводе не бывало.

Один только Фока, когда пришел из-под турка, принес на одной ноге сапог казенного образца: весил он без малого десять фунтов и был промазан по стельке не клестером из белой муки, а синей глиной, из которой выжигают горшки!

Раньше думали, что чем тяжелей, тем лучше!

Потому, может, и жизнь по этой ошибке была тяжела...

Зато и крепка: в бога верили крепко, а чай пили с репкой!

Значит, каково же было у всех удивление, когда бабы, принимая на руки михайлова младенца, нашли

на нем на тесемке целковик, правда, столь уж потертый, что какой на нем значился царь, так и не разобрали...

Потом уж догадались, что это за князь мира был на нем отчеканен...

Случилось это все как:

* *
*

Когда пришло Марье родить, ее разнесло на постели как гору.

Действительно, было страшно на бабу взглянуть: с третьего месяца начало дуть и к концу так раздуло, что ни лечь, ни повернуться.

Глаза у Марьи замертвели, ввалились, чашку в подглазницы поставишь, а горят, как жаровни, щеки натянулись от крика, и в животе все время булькает—бывает такая родовая водянка...

Произошло же это неразрешенье в родах, как объяснила всем Секлетинья, главная наша повитуха, славившаяся на десять верст легкой рукой, от застоялой михайловой плоти.

Первая михайлова жена была неродиха, значит михайлов покон зря в пустой утробе у нее пропал, а тут попал в непорченную кровь и сразу за все года отрыгнул... думала-то, конечно, про себя совсем по-другому: дескать, батрак! всему он причиною!—но прямо, как и все, говорить опасалась, вякнешь на благой час, а он и перекинется на тебя

и в животе, не сплошь Марьи, будет булькать, а если того хуже, как в болоте, заквачут лягушки.

Немудрено, что после этой опаски никто не шел принимать.

Так и мучилась одна...

Схватило ее в конце шестой недели в великом посту и не отпускало до самой страстной, пока в субботу, в самый звон, когда все старые и молодые собираются в церкву, не опросталась безо всякой помощи и пригляда: такой вышел толстоголовый младенец, всю утробу Марье выворотил наизнанку, потому что, когда коснулось на другой день дело, Марью нашли то ли мертвой, то ли в полном беспамяти, в чем трудно было тогда разобраться.

Так и не поглядела бедная баба, кого же это в такой муке зародила на свет...

Солдат же в михайловом виде, как только начало Марью корежить, совсем сшибся с толку: всю округу избегал, все просил притти да помочь, жалостливый такой оказался, кто же мог подумать, что это совсем не Михайла, а... вид михайлов да званье да эта самая палочка, за которую Михайлу прозвали Святым...

Так никто и не нашелся, кто бы встрел в это дело.

Солдат чего только ни сулил: шубу с себя снимал, медяки совал целой горстью, приманка, конечно, большая, но страх перед батраком пересилил: никто не пошел!

В лицо, конечно, ему ничего не говорили, хватит ли духу сказать, к тому же на страстной, когда в церкви начинали читать страсти, многим батрак проявлялся, правда, не в человеческом виде, а в образе облого зверя: облыжный зверь, значит, не настоящий!

* * *

В субботу перед последним концом солдат бежал в десятый раз к Секлетины, а та как раз дотапливала печку и собиралась поспеть к самому звону.

— Секлетины! Сделай божескую милость,—упал перед ней солдат на колени,—я тебе,—говорит,—целковый принес! Берег, как килу, а тут возьми ради бога, только младенца прими!

Секлетины и так было и сак, а солдат не уходит, сует ей под самый нос серебряный рубль и с колен не встает:

— Люди,—а сам так и плачет в три ручья,—есть в вас бог или нету?..

Тут уж Секлетины сдалась, на целковый только посмотрела—с дыркой, подержала в руках и назад отдала:

— Зачем,—говорит,—деньги... я и без денег!.. Вот как печку исправлю, так бесприменно приду... как же в таком деле не помочь: дело божье!

Солдат даже в ноги за такие слова поклонился, а той—с чего уж, шут ее знает!—показалось, что на глазах у него, когда солдат поднялся с коленок,

не слезы, а марьины бусы, которыми Марья незадолго перед этим хвасталась на середке села, вернувшись из Чагодуя с базара:

— Ишь, бабы, какие мне Михайла бусы купил: камушек к камушку, как слезинка к слезинке!

— Гляжу,—рассказывала потом Секлетинья,— гляжу, милые мои, на него, плачет, рыдает, слезы по горошине катются, дело, говорю, божье: приду... только, милые мои, гляжу—у него через ухо к глазам висят эти самые бусы... ну, думаю: нет, не пойду... за сто рублей не пойду... скорее, милые мои, как только он вышел, в печку ведерко и в церкву... Зря мы тогда позавидовали, бабы!..

Так, значит, и прождал солдат Секлетинью.

Сам, же видно, мало чем мог помочь, тоже сноровка нужна, а тут к звону Марью совсем, видно выворотило перед последним концом, надо бы малость ему еще потерпеть, а он не вынес один на один с родихой, не видя конца ее муке, убежал из дома в лес и там недалеко от дороги выбрал осину и удавился.

* * *

Да, чудной случай.

Нашли его сельские парни в самое Светлое, значит, уж вернее всего на другой день, когда по хорошей погоде пошли вместе с девками в лес на погулянки.

Кто мог подумать?..

Шли они гуртом как ни в чем по дороге, кто с кем по парам, дорога просохла, в лесу дух хороший, какой только на Пасхе бывает, деревья словно вот только перехристосовались друг с дружкой и опять чинно расставились у дороги, веткой не шелохнут, и видно сквозь ветки далеко.

Еще издали его увидали...

Сначала подумали, что так... ходит Михайла по лесу, кто же не знал про Михайлу, что он не любил сидеть дома, а потом, когда подошли поближе, да поглядел он на них из-за голых сучьев выкупленным глазом, бросились все врассыпную: прибежавши в село, никак не могли отдышаться и толком обо всем рассказать—дело праздничное, начали судить да рядить, как же это могло получиться и как же тут поступить, пока-то в понятия сами не вызвались храбрецы, которым в море вода по колено.

Но, должно быть, пока собирались, с удавленником уже управились волки, потому что когда подобрались с крестами к осине, так на ней уж никто не висел, болтался только отченашинский поясок с мертвой петлей на конце, оборванной посередине.

Выскочил ли сам удавленник, оборвавшись с петли, и, пришедши в себя, убежал бог знает куда от человеческого глаза, или и в самом деле на него наехала волчья свадьба и разорвала в куски—по-разному могло получиться.

Михайла, известно, был какой человек, волков же в ту пору водилось—скотины на них не напасались, а был как раз у них мясоед, пора была бегаться зверю, а когда они крутятся, устраиваясь в пары на лето, так зверь лютей человека.

Одним словом, на что хочешь, на то и подумай!..

Получилось так, что и тогда да и сейчас, пожалуй, даже на свежую голову не разобраться...

* * *

Свелось же все дело к тому, что хоть и родился михайлов мальчонка, но родился ни себе, ни другим не на радость.

Хорошо, что малыш выдался крепкий, должно, что день и ночь пролежал на полу необмытый и неприкрытый, как скинула мать на половик, так и продрыгал голенький, пока-то бегали в лес да из леса.

Когда же прибежали из леса, где вместо удавленника нашли только мертвую петлю, спохватились и вспомнили про родиху, бросились к михайловой избе, но не сразу обосмелели, хотя в избе было тихо, только вроде писк оттуда идет из-под половицы, словно мыши радуются.

Поглядела Секлетьня в окошко: темно.

— Темно, православные! Подмышкой светлее,— обернулась она от окна к бабам и девкам.

— Да ты смотри, Склетинья: нет ли Михайлы?..
Окликни нето.

— Михайл... а Михайла,—прошептала Секлетинья, опять прилипши к окну, и подавилась,—не, православные, нет!

— Да ты смотри хорошенько! — подбадряют ее мужики.

Приставила Секлетинья щитками руки к глазам и сквозь оконную муть разглядела убогую утробу избы: у двери стоит скособочившись печка, в переднем углу, как на часах, под божницей ухват расставил широко рогули, ушат из-за печки вытянул ухо, на полу мусор и посередке с пойлом чугуна, сразу видно, что мужик хозяйничал, сама Марья лежит на постели ничком, одна рука свесилась вниз без движения, станушка на ней задралась под подбородок и опавший живот пустым мешком сбился в бока, а на половой дорожке возле постели...

— Милые вы мои, — вскрикнула Секлетинья, — Марья-то опросталась!

— Ну... у, — нависли ей бабы на плечи.

— Всю как скосорючило... и робеночек, милые мои... на полу, голенький!

— Как же так, — загалдели мужики, — надо бы вступиться!

Тут дело ясное: дверь со скобок, и все село облепило михайлову избу.

Малыш и в самом деле валялся в чем мать родила на половике, кверху тонкие ручки и ножки, щурился на окошко и даже, показалось Секлетинье, когда она к нему подошла, соорудил ей ручонками нос.

Эх, если б знать на ту пору да предугадать, так барину нашему был бы неперемный каюк, тронуть, конечное дело, никто бы не тронул, не то, чтобы там головой да об угол, но и рук бы никто не приложил, так бы и зацыкался младенец первой слезой, но на общую беду проняла на этот раз жалость.

Бабы даже ударились в слезы:

— Ангельская ду-ушенька!

Решили всем миром вскормить младенца, отхаживая по череду. Помрет — бог дал, бог и взял, а выходится, так будет для мира пастух безданный и бесплатежный, пока не вытянется к казенному сроку, когда по жеребьевке поставить парня заместо чьего-нибудь природного сына в солдаты...

Умно-согласно мужики дело решили, и жалость к дитю соблюдена, и мирской интерес не упущен.

— Быть, дескать, ему по всему пастухом, пастух в мирском деле не последняя должность!

Но судьба, как увидим потом, распорядилась посвоему: из мальчонки вышел словно насмех не пастух, а знаменитый в нашей округе барин Бачурин, который после себя оставил монастырь и сколько бог нивесть капиталу...

Так уж, видно, было ему на роду написано, а что напишется на роду, так того огнем не выжгешь и терпугом не сотрешь!

Когда бабы приняли младенца и стали его по бабьей привычке пестовать и киликать, большая голова у него страшно болталась на тонкой шейке, вот-вот оторвется, ножки и ручки вскидывались, как сломанные в серединке лучинки.

— Невидованный урод!—шопот пошел по народу.

Только глазенки больно шустры, глазастый, а в деревнях большие глаза у ребят очень любят, большим глазом больше увидишь!

— Завертывай его скорей, Секлетьинья... гляди, посинел и ножки, как льдинки!

Тут вот Секлетьинья младенца чуть на пол и не уронила, вышибло у Секлетьиньи глаза и рот клещами зажало: на самой грудке младенца, на крестильной тесемке оказался целковик, провернута с краю незаметная дырка, в дырку продета тесемка и тесемка завязана мертвым узлом...

„Целковик,—думает про себя Секлетьинья,—ишь, прокурат: повесил заместо креста!“

Не открылась она в удивлении, что целковик этот вчера сама еще держала в руках и по-хошему от него отказалась... он самый, истертый, видно, что побывал в разных руках, ни решки на нем не разглядишь, и от орлиного крыла торчит только перо, похожее больше на ножик...

— Вот и ладно, — довольно сказала Секлетинья, — абы в первом числе, бабы, было матери на похороны и дитю на крестины!

Бабы ахнули было, но поглядели на Секлетинью и губы поджали.

* * *

Крестили в тот же день, и поп Федот в честь отца дал мальчонке имя Михайла!

Народу набилось по праздничному делу, яблоку негде упасть, все ждали, не будет ли от младенца перед алтарем каких-нибудь знаков, может, крикнет как-нибудь по-особому или еще проявится как, когда в третий раз будут окунать младенца в купель с холодной водой, зажавши уши и ноздри...

Но Мишонка и звука не подал: лапы у попа Федота словно вареги, может, и было что-нибудь, да из них разве что-нибудь расслышишь?..

— Ишь смиренный какой... а?.. И не цыкнул!

— Терпеливый будет и... живущей!

В хрестных была Секлетинья, а в отцах Семен Родионыч Лешонков, мужик божественный, библию знал от корки до корки, потом он известен был больше по фамилии Зайцева, потому что фамилию природную свою нашел по леригии неподходящей, о чём и подавал в свое время прошение не кому-нибудь, а прямо царю.

Надо также добавить, что поп Федот был очень жаден до денег и, вместо того чтобы отписать

сиротский целковик на церковь, на свечи или лампадное масло, взял за труды и еще перед требой положил его под божницу...

В тот же самый день целковик этот, куда неизвестно, пропал.

Сколько поп Федот ни искал, все углы перешагивал, всю избу перерыл, а не нашел.

Подумал, что притаила его попадья, но, как скоро увидим, и у попа и у попадьи в кармане такому целковику тесно, а тем более в храме, если бы поп не пожадничал и отписал, где, как никак, божий престол, хоть может давно и покинутый богом...

МИХАЙЛОВ БАТРАК.

Недаром многое время спустя, когда барин Бачурин бывал по своим немалым делам у кого-нибудь в бесписьменном давнишнем долгу, любил говорить поговорку:

— Должен-де, не спору, а отдам не скоро: как вместях в ад попадем, так горячими угольками и рассчитаюсь!

Говорим это к тому, что в жизни нашей на последнюю проверку так-то вот ни с того ни с сего ничего не бывает и часто покажется какой человек, или выдастся случай из ряду воң выходящий, о который потом, болтая на разные лады, оскомину люди набьют, а у всякого своя линия такая особая есть,

и каждый немало похож на петуха, которому к носу провели мелом линейку... судьба подчас тоже с человеком балует, как с петухом, скрутит словно веревкой, и никакой силы нет оторваться, и линия твоя протянута не по небу и не под небом, а по той же грешной земле, на которой ничего зря не родится и не растет ради забавы.

Если по этой линии поглядеть, так и дивного, пожалуй, ни в чем ничего не увидишь, мало ли кому от удивленья в раскрытый рот ворона влетела: на что, кажется, чудна история барина Бачурина, а ведь кто знает да помнит, так и удивительного нет ничего, что наполовину было все правдой, что про него говорили, потому что есть это какая-то его здесь особая правда и многому оправданье, несмотря бы на то, что человек из него получился для простого народа злобный и вредный: трудно только до нее докопаться, потому что и в самом деле трудно поверить, как это человек из такого ничтожества вышел в такие князья!

Хоть бы те же угольки из бачуринской пословицы: не одного, может, пустил по миру и после с сумой от окна оттурнул, а прежде чем вставить угольки в свою поговорку, может, сколько слез перелил, сколько зря богу перемолился!

Недаром Бачурин в хорошем расположении духа любил послушать от старожилков о том, как вскормлен был миром на соске и на холодной воде, про батрака все дознавался, да, конечно, старики сте-

снялись все говорить, и многое у них мимо рта проходило, потому что как-никак человек большую силу забрал, к тому же батрак рассчитался с Михайлой, как раз по бариновой поговорке, горячими угольками не на том свете, а еще на этом, на глазах у людей подпаливши на них грешное тело и душу молодой жены его Марьи.

* * *

В вечер того самого дня, как окрестили в церкви дите, хотели бабы оправить и Марью, чтобы на другой же день с утра похоронить ее по-христианскому обычаю, но похоронить не пришлось.

Только было стемнило, и бабы, обмывши Марью и обрядивши ее в праздничный сарафан в переднем углу, пошли сказать попу Федоту, чтобы тот сам шел отчитывать покойницу или бы выслал дьячка Порфирия Прокофьяча вместо себя, стряслась другая беда: поп Федот искал в это время целковик и ругался со своей попадьей, хотя та клялась и божилась, что к божнице не подходила и ничего на ней не видала, потому задержался и вышел на требу не сразу.

Только когда попадья совсем до белого каленья дошла по случаю этой пропажи и напустилась сама с кулаками, поп Федот выскочил на крыльцо, на ходу запахивая полы у рясы, но не прошел половины к михайловому дому, как остановился и в скорости

поворотил обратно: на глазах у попа Федота взвился над михайловой избой из печной трубы огненного цвета здоровенный петух, таких петухов поп Федот видел только в другом приходе, у барыни Рысачихи, турецкой породы и весят два пуда без небольшого: работник сажал на намест, — прокукарекал петух на все село страшным голосом, задравши кверху золотой вихор в виде короны, взмахнул под самое небо крылом и со всего маху потом упал обратно на крышу, рассыпавшись до низу красными перьями и огненным пухом.

За деревней в это время вышла первая гроза, боком из-за леса выдалась большая черная туча и оттуда загромыхало глухо и непонятно, как только бывает середь лета перед мочливой погодой, и гуд этот даже под ноги к попу Федоту пошел, отдаваясь в утробу.

Не разглядел поп Федот, как вдали просинило Дубну, как нахмурило за церковью паровые полосы и пустыри, не успел он перекреститься: в один миг обхватило михайлову избу!

В воздухе как будто в изумлении все остановилось, деревья перед окнами пригнулись покорно к земле, предчувствуя скорый ливень и ветер, вороны, галки и грачи закрикали перед дождем, вытягивая вперед носы и надувая изо всей силы зобы, уселись на деревьях в самой середке, чтобы в грозу ветром не сдуло и не подбило куда-нибудь под изгородку, а с дубенской поймы или же со Свет-

лого болота, с которого еще вода не сбежала, на многие версты журавли протрубили в серебряную трубу, и после журавлиной трубы грачи сразу смолкли, и утки перестали полошиться и крякать на заводинах, и тетерева бурлыкать на вечернюю зорю с полос.

— Пожар!—не сразу догадался и закричал поп Федот.

Хотел он, было, бежать, к колокольне, но оттуда уже полоскалась в перилах пола от масляной ряски Порфирия Прокофьяча, торопливо он разбирался в спутанных мужиками веревках от колоколов, ища которая от главного била, скоро большим колесом скатился с колокольни всполошенный удар и за ним затараторили без толку колоколушки, какие поменьше, сзывая народ.

— Пожар,—кричит поп Федот,—православны-я!

Побегли со всех сторон мужики с баграми и ведерками, бабы со взлохмаченными волосами, выкатили бочку из пожарного сарая с водой, но не удалось отстоять михайлову избу: в тишине и предгрозовом безветрии горела она, как праздничная свеча, поставленная от чистого сердца, а огонь сразу взбил солому на крыше и красными языками облепил высохшие за долгий век стены и небольшое крыльцо с распахнутой дверью: мужики, было, закинули кошку на самый князек, уперли в стену багры, чтобы растащить постройку и не дать перекинуться огню на соседей, но в это время грянул

гром над головами и на крыльцо повалил дым черной овчиной и в этом дыму...

Да, будто бы так!

Тут и увидали все батрака!

Вышел он неторопливо и стоит на крыльце в красной рубахе, на рубаху копоть садится, а он хоть бы что: толсторожий, краснорожий, нос, как у турка, с загогулиной вниз, лупетки—как кубари, курчавый и тоже в скобку острижен, только в курчах рога словно из чищенной меди, загнуты фасонисто кверху, стоит, с ноги на ногу не переступит, скалит на мужиков хайло и потирает от удовольствия руки.

— Батрак!—крикнул кто-то полоумно с задов.

Багры, шесты и бадейки, ведра с дужками и лейки с большими носами остались на месте пожара, а люди от велика до мала—все разбежались, так валом и повалил народ от пожара, пусть горит: теперь все равно не затушишь!

Да и тушить-то в самом деле было не надо, сосед даже икон из углов не выносили, разразился ливень, сорвался сразу ветер, как с цепи, и с пожара на огород сзади михайлова дома потянуло дым по земле, искорки ни на кого не упало: только чаштокол михайлов перебрало до колышка, и молодую крапиву возле него словно корова слизнула.

Огонь же, смешавшись с водой, будто еще пуще полыхал на ветру, вытягиваясь вместе с дымом на огород большим языком.

Михайлова изба скоро прирухнула крышей и, поклонившись и так похиленным передом, погребла под собой, не выдержав ветра, и михайлово добро и марьино неотчитанное тело!

Молонья так и засновала над пожаром и вкривь и вкось, как иголка у портного в руках, который наскоро дошивает перед праздником шубу; от грома село словно сдвинулось с места, и немногие тогда, добежавши под ливнем до дома и в перепуге потом прильнув к запорошенному дождевой пылью окну, разглядели, как бегал по пожарищу михайлов батрак в приставшей к мокрому телу красной рубахе и раздувал головни и угольки, напружив толстые страшные скулы.

Вышло, значит, все так, что батрак хоть и пробатрачил у Михайлы задаром, пронежившись только с Марьей на полати, перед последним концом рассчитался с ним все же и как раз по бариновой поговорке—горячими угольками!

* * *

Правда, особо сметливые люди, когда спустя зашел разговор про пожар, говорили, махая рукой, что случился этот пожар совсем от обычной причины: показался попу Федоту необыкновенный пепух больше всего потому, что по выходе из дома он был не в себе, так как потерялся у него целковик, из-за которого он перед этим сильно повздорил

с женой: попадья будто плюнула ему в глаза, когда поп высказал на нее подозрение, и плеснула из-за стола кипятком...

К тому же и раньше случалось с попом Федотом: то змия увидит, летящего штопором на пересек дороги между Чертухиным и Чагодуюем, то трубные голоса услышит в журавлиный прилет, словом, за попом и раньше водилась эта повадка, в особенности когда нальет себе зеньки, хотя, конечно, верили, потому что считали, что нет у попа Федота нужды все это выдумывать и разглашать ради одного только удивленья и смеха.

Одним словом, по этим догадкам как будто так выходило, что пока-то одни бегали в лес да из леса, другие, кто поумнее, не убоившись ни Марьи, тем более, что она уже голосу не подавала и лежала в избе, как мы видели, безо всякого движения жизни, ни батрака в красной рубаше, которого досель никто в свои глаза не видал,—другие позавиствовались на михайлов неправильный скарб, подмели вчистую и закрома, и рундуки, в которых хранились марьины сарафаны, и те самые бусы, которые навели Секлетиною на грех,—оставили только ради прилику сряду для погребенья и, чтобы скрыть все перед людьми и перед богом, сунули, пока бабы с Марьей возились, трут под застреху и—в воду ото всего этого дела концы...

Так после Михайлы и пошло все, значит, прахом.

Какой меринок и вся другая скотина: две телки, корова, овец штуки четыре—все сгорело, не догадались ворота открыть да, пожалуй, и не успели, быстро охватило всю избу!

Не говоря уж про Марью, которая, конечно, никак выскочить не могла, так как раньше жизни лишилась, а если и не лишилась еще, так была в таком беспамяты, что ее приняли за мертвую, обмыли, обрядили, как на свадьбу, и в передний угол перед отпеваньем положили на стол—правда, один миг, когда батрак на крыльце показался, будто многие услышали человеческий крик, который тут же потонул в других голосах: на дворе дурным голосом зашлась корова и меринок жалобно заржал и забил в ворота копытом, к тому же сразу гарда-рахнул гром, побегли все кто куда, и что дальше было на пожаре, никто ничего хорошенько не знает.

Дознаваться же и доискиваться правды ни у кого не было охоты, властей в то время всего на небе бог да колдун Филимон в Гусенках, был хотя еще в Чагодуе городничий, но тот больше порол и правых и виноватых, так что уж лучше было за правдой к нему не соваться, к тому же на дворе стоял Светлый праздник, праздникам праздник, на колокольне колокола того гляди оборвутся с звонарни, поп Федот, когда все улеглось, ходил по домам в серебряной ризе, и дьячок Порфирий Прокофьевич тонким голоском выводил за густым федотовым басом:

— Паска красная... паска веселая...

Значит, по всему было не до того!

Самое же главное, на святой неделе мужик не только кляузного, но и вообще никакого дела не любит...

Любит он выйти пораньше на холодок утром на двор послушать вместе с мальцами скворцов, поглядеть за грачами, какая у них повадка и что можно по ним сказать про урожай.

Да и в самом деле в эту пору хорошо под окном: чудесна, неизреченна всякая тварь на земле, удивительна каждая птичка, синё по весенним утрам глубокое небо и четки в нем еще голые сучья рябины иль липы, по своей крови узнаешь, как по этим сучьям переливается сладкий оживающий сок, и кажется—совсем заметно для глаза, как раздуваются и лопают почки и с тополеи лезут сверху щепочки, как с купцов на базаре, на липах вскакивают смешные ушки и березы продевают в кончики сучьев причудливые драгоценные серьги... пахнет тогда молодостью сырая земля, струится нетлеющим духом приподнятая в облако даль, и в человеческом и в зверином сердце радостно и весело токает кровь...

— Паска красная... паска весе-олая...

Мужик хоть и не скажет об этом ни слова, а посмотреть, послушать и полюбоваться про себя, хороня улыбку в жесткую бороду, так, чтоб никто не заметил, о чем он думает и на что он глядит—очень любит!

К тому же, как вечер, всю Светлую собиралась на ночь гроза, как по заказу: с утра солнышко, как на колеснице, а к вечеру дождь!

Дождь по ночам лил с градом и пузырями на лужах, и за лесом во всю небесную ширь, расхлестывая ее, как большие ворота, один за другим катились, сотрясая землю, громовые раскаты, словно и в самом деле возвращался там где-то далеко за лесом из-под турецкой земли белый царь после победы, колотил жезлом ради торжества в турецкий барабан и, чтобы совсем на последнюю смерть перепугать мужиков и внушить им страх и повинование, палил до первого света в небо из пушек.

Всякий в такие минуты забывал и об Марье, и об Михайле, и об их чудном батраке, забившись на печку к трубе, только хватался за сердце, чтобы не разорвалось, и часто-часто крестился: потом, когда однажды Семен Родионыч пришел к барину по какому-то делу, у них зашел разговор про старину, и Семен Родионыч рассказал барину, что знал, напрямик всю эту историю, потому что был ему хрестный и мужик вообще малобоязный, так барин очень смеялся, хотя смешного тут во всем очень мало!

— Полно, Семен Родионыч, батюшка хрестный, мужик купоросный, у нас так бывает всегда: одному беда, а другому еда!

Не сообразил видно барин того, что если на ту пору не бабья бы жалость (Секлетинья после крестин унесла мальчонку к себе) да не мужичья бы простота, не пришлось бы ему верховодить в нашей округе, узнал бы тогда уголькам их настоящую цену: с пылу, как и матке—прямо под пятки!

МИРСКОЙ ХЛЕБ.

Спокон веков мечта такая по народу идет о житии безданном и бесплатежном, чтобы все тебе было в твое угодение и полное удовольствие и чтобы с тебя за это ни полушки не брали, а наоборот: давали тебе на гулянье, и потому, пожалуй, как бы мужику хорошо ни жилось, а как дойдет очередь подать какую-нибудь или страховку вносить, так каждому, и бедному и богатею, рыгнется по-одинаковому.

Может, действительно, правильно: от хитрости это у мужика и темноты! Мужика, по необразованию его, как хочешь можно сфасонить... мужик, как лапоть: по любой колодке в одном виде выходит!

Думается только, если принять в соображение труд, сколь мужик на родной земле перекорежил и переворочал горбом, не совсем тут в хитрости дело или в каком ином мужичьем зароке: труд мужичий, воистину правда, бездоходный, глупый, тяжелый, похож на столоверскую обедню, за которой по пятам ходит вечерня, немного вздохнешь—за

заутреню надо итти,—беспередышный труд, потливый, мотливый, намотаешься за день, и за короткий сон такой пригрезится рай!..

А за свой же пот платить мужику как-то неловко, то есть не то, что несвечно, нет, мужик скоро ко всему привыкает, да тут и привыкать-то не к чему, привыкши давно, а... так как-то и в самом деле чудно!..

Ну, да ведь не нами зашло, не нами и кончится... касательно же нашего положения времени, так можно, зажмурясь, сказать:

— Жить, братцы, можно!

Мало ли что там пока: перемелется, будет та же мука!

Но народ, конечно, темный, серый, живет в бога с верой и по старой привычке к тяжелой жизни ожидает всегда не лучше, а... хуже... так уж приучен к тяжести, как у цыгана лошадь к березовой погонялке, никогда не бывает доволен, забывши, должно быть, хотя память у мужика крепче камня, но тут запамятав, видно, сколь трудно и тяжело жилось в старину...

* * *

Трудно, скудно, бедно в старину жили люди!

Правда, люди были попроще, и каждому человеку требовалось всего гораздо меньше, можно сказать, на полтину на всю жизнь хватало сатину, а теперешний народ сильно избаловался и часто

совсем не по рылу и не по заслуге: харчи ему подавай с тарелочки, к чаю непременно ситнику побольше и всякого дерьма, отчего только зубы во рту крошатся и так... чтобы тоже вроде как задарма!

А к чему такая подобная ненужность, сколько провалистую лошадь ни корми, она все равно воз далеко не повезет, только разве музыкой своей потешит, когда будешь выезжать со двора, да у крыльца наложит—к морозу!—култышек!

А култышки, известное дело, не пышки: сам есть не будешь и другого не угостишь!

Поглядели бы лизоблюды, как в старину жили люди!

Особливо когда вышли на волю!

Воля-то, нечего сказать, она вольная вышла, куда хочешь, туда и подавайся, за что хочешь, за то и берись, собака с барского двора больше за полу не держит, а за что же было цапаться мужику, как не за ту же сноху Матрену, благо ядрена?..

Сноха эта, известно: соха!

Покусали, можно сказать, локотки, почесали лапти, пока не вошли в обзаведенье, а с пустыми руками как обзаводиться: годами не доедать, годами не допивать и ни отдыху не знать, ни передыху!

* * *

Правильно будет сказать: солон был хлеб, солон и горек!

Потому-то нерадостная доля выпала михайлову мальчонке, когда он по приговору всего общества села Чертухина сел на мирское кормление.

Воспитательных в то время или каких-нибудь теперешних наших детдомов и в заводу не бывало, почему всякая такая тягость лежала на мире, а мир как раз в ту пору только что после воли начал подтягивать гужи у хозяйства и накрепко подминать под себя землю, которая в одних местах осталась у оспод, а в других, как и в нашем Чертухине—у осударства.

Солон, солон был хлеб, рос он у мужика на горбу, а для Мишутки пришелся и того солонее...

Христов кусок и большому в глотке садит, а тут дите несмышленное, только и ограды, что слезы, а не обидеть... как же тут не обидеть и не обойти, когда сам народ был обижен и кругом обойден?!

Обиженный человек скорее обидит...

Нужда, недостаток, а как появится лишний рот за столом, так мимо него сама уж ложка проходит... своих детишек, почитай, в каждом дому рассовать углов не хватает, и хоть действительно не страсть сколько надо одному крикунку, ну, а все же!..

Трудно, тяжело было миру, а все же соблюдали обычай: убогих и сирот всегда приючали, потому что считалось, что убогий человек или сирота оставался в наказание миру за какой-нибудь общий незамолённый, а может и незамолимый грех всех перед всеми, а потому и нужно платиться.

На нашей еще памяти умерла безногая девка Фиена...

Пятьдесят слишком лет висела на шее у мира...

Не медаль, а носили, потому что случилось не по вине: сидела в лесу под елкой с грибами, елка сломилась, и обе ноги ей прищемило, не добивать же колом человека!

С этой-то самой Фиеной, которую прозвали Тележкой, потому что и до убожества, когда еще у нее ног топором не отрубили, все равно они были кривые, словно колеса, в тележке Фиена спала и в нее же, прости бог, ходила,—с этой-то девкой первое время и Мишутку наладили по чередам, приспособивши Фиену к младенцу вроде за няньку.

Спал Мишутка у ней на руках в той же тележке, поутру она ему жевала из миски, которую ей ставили на пол, соску из грешневой каши, тыкала в ротик, так что у Мишутки свистело в носу и в ноздри вылезала каша обратно, а когда уж очень разорется к погоде, так доставала из полугнилого отрепья чахлую, по-девичьи окаменевшую, с кех пор немытую грудь, отчего дите сначала еще пуще заходило, выбиваясь из свивальника ножками и давясь тяжелым скисшимся духом, а потом умолкало..

Да, уж это верно: кормили обоих не бог знает как, больше на хлебе да на воде, молоко мужики сами по большей части не употребляли, блюли сильно посты, также понедельничали, знали среды и пятницы, сгоняя творог и сметану к базару.

Подтягивали гужи у хозяйства, а себе ремешком животы, где же тут напастись молока для чужого!

Вспоился, значит, Мишутка, как придорожный цветок, на простой vodiце, иной раз прямо с колодца, а где побогаче—перепадал солодняк, тянувшийся от долгого стоянья в тепле из чашки, как плетеные вожжи с телеги, еще только разве прибавить, что когда младенец с такой пищи, синяя и жилая, кричал по ночам, не умолкая ни на минуту, так и от сварливой хозяйки, а чаще всего от той же девки Фиены перепадал и поджопник...

Осудить, братцы мои, не приходится... как же тут на осуждение повернется язык, своих растили не лучше, разве только гребешком лишний раз причешут да в праздник по головке погладят, а то ведь тоже на то же, зато и мерла мелюзга, хотя и росли, как грибы после дождя: выживал только сильный, самый отпетый, которого десять раз под перед клали, которого потом уже никакая язва не брала: ни огонь, ни вода, никакая беда!

* * *

Чудом как-то уцелел и выходился и михайлов Мишутка!

В первый же год, как взяли Мишутку на мирское кормленье, случился в нашем месте детский падеж—волчок...

Не было такого дома, где бы не хворали ребята, в ином дому трое умрет, в другом совсем под метлу подчистит: болезнь такая чудная, теперь такой болезни совсем не слышать; раньше и люди были другие, и белезни у них от теперешних отменные, о которых если теперь рассказать, так из больницы погонют...

Вот хоть бы детский волчок!

Про него в старину песню такую даже матери пели у колыбели:

Не ходи ты к нам, волчок:

У нас двери на крючок!

У нас двери на крючок,

У нас денег пятак!

У нас денег пятак,

У нас крепкий кулачок!

Хочешь денег,

Хочешь веник,

Хочешь ножик под бочок!

Не болезнь, а разбойник!

Думали так отпугнуть или оговорить на пороге, но редко оговоры помогали, редко пособляли молитвы; сначала такое пупырьё пойдет по всему телу, зудливое, никакой мази зуда не боится, никакой травы не слушает, дитенок от зуды почнет кружиться и метаться, как волчок, места не найдет, потом пятна с пятак величиной выступают, вздуются, у глаз сядут—глаза лопнут и вытекут, на головку бросятся—волосы чулком слезут, а в уши, в ротик и нос набьется короста—и ни попить тогда младенцу, ни

крикнуть, так и умирали без голоса и без шевеленья.

Тяжелая болезнь, да легкая смерть!

Появился этот самый волчок, не знали на что подумать, с каким ветром его принесло, стали даже поговаривать, что от михайлова приبلудыша пошло, и может был бы младенцу конец, если бы не девка Фиена: задушили бы его по темноте, думая, что скрыта у него в утробе болезнь, и подбросили бы волкам в лесу на дорогу, но Фиена сметила сразу и младенца из рук не выпускала...

Был ей, безногой, Мишутка вроде забавы, однажды только в каком-то дому, когда Фиена за-спалась и из рук обронила Мишутку, его положили на одну постельку с больными, думали как-нибудь спихнуть липучую хворь на чужого младенца, а по утру поглядели: Мишутка как ни в чем, даже не плачет, знай жуприт соску, а рядом покойник!

— Ишь ты живущей какой зародился! Непременно она у него в середке сидит! Других донжит, а его бережет!

Фиена, когда продрала глаза—в слезы, зачем сироту обижают? Завыла, собрала все село и об-стыдила, то ли стыд тогда взял, то ли хворь к этому времени стихла, а грех как-то минул...

* * *

И не заметил никто за хлопотами да за заботой, как Мишутка подрос.

Смышленный вышел и догадистый, с малых лет рассмотрел, должно быть, свой сиротский шесток и потому всегда держался в сторонке, чтобы поменьше бабам на глаза попадаться и у мужиков не путаться зря между лаптями.

На улице с ребятишками не водился, потому что только слезы от них да дразня, что подбросыш, благо заступиться некому, зато хорошо было летами уходить с куском куда-нибудь в конопли, в них никто не увидит, а из конопли все видно, что делается на селе, где кто прошел, кто с кем позорится или дерется, в конопле также живет хорошая птичка—коноплянка, которая поет все лето до самого улёта, и голосок у нее сиротливый и неслышный, кладет она рябенькие крохотные яички прямо на землю, нарвавши у себя из-под крылышка пуху.

Мишонка страсть как полюбил эту птичку и часто в теплую пору забывал про черед и оставался в конопле на ночевку, боясь, как бы ночью яички не слопали кошки.

Только в долгие зимы было плохо Мишутке, хорошо как хозяин непьющий, а то уж лучше с котом забиться под печку, когда по избе начнет летать из угла в угол скамейка, плясать на всех четырех ножках стол с чайной посудой, а сковородник бить на залавке кринки и плошки, тогда уж лучше, пока не уgomонится,—под печь, куда убивают ухваты: под печкой немного страшненько, но все же не так, как в избе, когда бушует хозяин,

не щадя ни стариков, ни ребят своих, ни жены, тогда только лишний раз перекреститься, если погасят огонь: в темноте загорятся два глаза и зашевелится бес-домосед!

Но Мишутка скоро привесился к бесу, бес этот менее страшен, чем пьяный мужик, первый раз он принял его за кота, хотел даже погладить и поманить „кис-кис-кис“, но когда нашарил ручкой сухую ножку, похожую на черенок от ухвата, затаился и уже хорошо разглядел, что у кота глаза гораздо ближе друг к дружке и больше, а у этого между глаз можно пролезть, и маленькие они, словно в стенку, за которой теплится лучина, шкнули булавкой...

К тому же Мишутка хорошо знал отче наш и богородицу, а, как об'яснил Мишутке дьячок Порфирий Прокоф'ич, эти две молитовки до десятого года боронят ото всякой напасти...

После, когда человек подрастает, конечно, этого мало, подчас даже весь псалтырь не помогает, и в этих случаях, которых гораздо больше в человеческой жизни, обращаются уже не к богу, а к чорту и к колдуну.

* * *

Годам к семи или восьми мужики обсудили, приладить Мишутку в подпаски.

С таким условием и пастуха порядили на это лето.

ПОРФИРИЙ ПРОКОФЬИЧ.

Кого-кого, а дьячка Порфирия Прокофьяча барин вспоминал всегда добрым словом.

Даже памятник ему черного мрамора поставил в свое время на кладбище в Чагодуе, потому что Порфирий Прокофьич умер не в Чертухине, а в городе, куда незадолго перед смертью уже слепой и с порушенным языком перебрался к племяннику, дьякону, который потом дьяконил у Николы-на-Ходче и был такой долговязый, что благочинный нашел такой рост неудобным:

— Ему бы в гренадеры лучше... а тут как-никак всего-на-всего дьяконский чин, и голос с ростом несогласен: одно смущение пастве! Мужикам же сойдет!

К тому же еще дьякон этот был большой запи-воха и картежник... как известно, незадолго перед войной дьякон с Николы-на-Ходче пропил водосвятный крест, а дьяконицу свою какому-то купцу проиграл будто бы в карты... конечно Порфирий Прокофьич был совсем другой человек... Хотя памятника бачуринского теперь не осталось, из чагодуйского кладбища теперь разработали сад, такой важный вышел садина, действительно, только ручки в брючки гуляй—на место могилки дорожки, посыпаны дорожки мелким песком, и вместо крестов поставлены скамейки везде со спинками для удобства, барышни на них по вечерам сидят и папироски

курят, а возле них вьются кавалеры, в штанах по коленки, говорят всегда громко, словно глухие, не зная видно того, что мертвецы громкого голоса не выносят, потому что иной может и шумного карахтера при жизни был человек, а на том свете голос у всех притихает, почему и надо возле мертвого праха блюсти тишину: все там будем!

Вышло, значит, что барин поставил памятник зря...

Ну, да ведь может и не зря бы, если бы не история колеса, которая переехала немало зрячих делов и всю жизнь повернула к солнышку решкой... хотя и в самом-то деле: что ему ставить, челове-чишка был мусорный и незаметный, как и все, положим, дьячки, ни по стану, ни по сану, кривоногий, кривобокий и на спине горб, как туго набитый мешок!..

А человек, несмотря на убогость, действительно был доброты, хотя доброту у таких людей не замечают, считая, что по безвредности природной и доброта им ни к чему...

Потому и ходил, зная, Порфирий Прокофьич никогда на людей не подымая лица, а вечно упершись в землю, под ноги...

* * *

После того как сверзился с колокольни в Чертухине удивительный пономарь, на которого, может,

по случаю Марьи совсем зря клепали, у нас и появился Порфирий Прокофьич, привез его поп Федот вместе с поклажей из Чагодуя и где его откопал, откуда родом Порфирий Прокофьич, мужики против обыкновения и не спросили: попу виднее, что нужно для церкви, тем паче, что Порфирий Прокофьич сразу занял три должности—дьячил, звонил и сторожил, путаясь в колокольных веревках не хуже, чем в псалтыре, когда читал часы перед обедней.

Чудно, бывало, было слушать чтение Порфирия Прокофьича, ни одного слова нельзя было разобрать, должно что во рту язык не умещался, и слово за слово потому как-то цеплялось: от одного отскочит перёд и к другому приткнется куда-нибудь к заду, другое совсем сомнется и комком проскочит в утробу к дьячку, шевельнув только на глотке кадык да в мутные глаза полоснувши на минуту каким-то сиянием.

Мужики говорили, что дьячок в такие минуты глотает святыню, а поп Федот, когда бывал в духе, подходил незаметно к Порфирию Прокофьичу и, приставивши ухо, старался, видимо, по-хорошему в его чтение вникнуть, но и попу не по разуму было:

— И что ты стрекочешь, божий сверчок?—говорил всегда поп Федот умиленно, если в церкви не особенно было много народу и их с дьячком никто, кроме бога, не видит,—што ж это такое за алифуйя?..

— Ась?..—прерывал часы Порфирий Прокофьич.

Поп махал сокрушенно рукой и забирался надолго в алтарь, где грузно, словно за какой тяжелой работой, на всю церкву пыхтел и отдувался, а Порфирий Прокофьич, когда доходил до пометки, клал истовый крест, целовал книжный корешок и сам пугливо заглядывал в алтарь, раздувая кадило.

Но если не в духе, а также когда в церкви побольше народу, поп Федот высовывал из алтаря обросшую по глаза щетинную бороду и громогласно, чтобы слышали все и понимали его строгость в службе и чин, возглашал:

— Порфирий, не ври: какая тебе там алифуйя?..

Но Порфирий Прокофьич знал свое дело и пропускать мимо ушей, мужики и без того не поймут, да и понимать им не надо, молись знай от чистого сердца, и больше ничего, а бог... богу нужно неизреченное, неисповедимое слово, что с того, что дьячок вместе с молитвой во рту мямлит жамку, бог его слышит, а поп же Федот—гордец и выпить любит наедине с попадьей да благочинным и никогда к себе по-хорошему не позовет!..

На что попу Федоту зандобился такой неразумный дьячок, бог его знает, может, как раз потому, что любил поп поучить, а подчас во время службы и прикрикнуть: другой бы, может, не снес, а Пõрфирий Прокофьич поморгает глазами и опять за свое.

Когда Мишутка малость подрос, у них повелась закадычная дружба.

Однажды как-то по лету, когда в воздухе плывут без всякого ветра перед заморозками паутинки и солнце раскидывает на землю свою последнюю нежность и ласку, загнали Мишутку чертухинские ребятишки за церкву и, чтобы большие не заступились, хотели ему дать там хорошую лупцовку.

Мишутка обежал кругом церкви и недалеко от сторожки, в которой отшельником жил Порфирий Прокофьич, забился у деревянной ограды в крапиву, мальчишки было шарить его палками по колючим верхушкам, но как раз на этот случай вышел на крыльцо Порфирий Прокофьич, потому что Мишутка ткнулся в то самое место, где давно уж тайком от дьячка неслась безгнездая курица, которая в испуге и с еще неснесенным яйцом кудахтала у крыльца, смешно расставивши крылья и как бы вызывая хозяина за нее заступиться.

— Места тебе, беспутной, настоящего нет... уж то ли не место на чердаке, так нет... у, рванина, дура бесхвостая... Вы чего здесь, пострельцы?..

Мелюзга горбатых боится, горб и доброго человека делает страшным, бросились к селу наутек, а Порфирий Прокофьич ради шутки крикнул в запятки:

— Держи их, держи-и!
...и, подобравши подрысник, обкапанный воском, в

колена, раздвинул, не боясь обжечь закорузные руки, крапиву и стал разглядывать, нет ли где десятка яиц, в которых у него давно был недочет.

— Ишь ты ведь, вавилонская блудница, какое выберет место!

Вместо яиц Порфирий Прокофьич тут и наткнулся на Мишутку: прижался он к забору и голову в коленки спрятал, чтобы палкой по затылку не угодило, плечики вздрагивают, должно быть, плачет, хотя слуху не подает...

— Ты что тут-т?..—прикрикнул было Порфирий Прокофьич, но Мишонка покосился чуть, увидел, что это горбатый дьячок, обмахнул глаза рукавом и в губы упер кулачки.—Чего ты тут в крапиве сидишь?..

— Дерутся!—плаксиво ответил Мишутка.—Колотють!

— Коло-отют?.. за что? Аль украл что?

— Они сами у тебя яйца воруют!

— Воруют?.. Дак за что ж они тебя бьют?..

— А за то, что сиротный! Дразнят, мамки нет... отец удавышем помер...

— Ах, прострели их стрелой! А... ах, они жульники, пого-оди, погоди, я вот им гульчики другой раз спущу да крапивой... крапивой!

— Дядя Порфир,—осмелел Мишутка,—вон твои яйца!

— Да шут с ними, с яйцами... надо, надо попу Федоту сказать, чтобы мужиков потазал...

— Бери, дяд Порфир, десятка полтора никак будет!—весело крикнул Мишутка.

— Погоди... погоди у меня... ах, они жулимы соплятые!—причитал дьячок, укладывая яйца в карманы.

Но то ли Порфирий Прокофьич не удосужился сказать попу Федоту, то ли поп не счел нужным выговорить мужикам насчет сиротинки, повадка бить Мишутку всем селом так и осталась.

Только и всего, что с этой поры Мишутка повадился к дьячку и даже не прятался уже в коноплю, а целыми днями играл сам с собой у сторожки. Порфирий Прокофьич ради жалости и скуки учил его молитвам; Мишутка первое время от такой учобы смотрел на него недоумевающими тупыми глазами, видимо, ничего в словах не понимая и опасаясь, как бы не стал его бить и Порфирий Прокофьич, а потом сам даже пристрастился: каждое словцо переспросит, сам ему косточки вправит, потому что и Мишутке читал молитвы Порфирий Прокофьич так же мямля и скрадая слова, и глядишь: у Мишутки даже лучше выходит.

— Ну, и голова у тебя, парень... сто рублей стоит, если задаром ее не отдашь!—говорил дьячок, глядя его по головке.

Дорога ему была похвала от дьячка, от нее даже синяки скорее сходили.

Потому, когда узнал Порфирий Прокофьич, что Мишутку прочут в подпаски, так раз'ерихонился, что даже Мишутку перепугал:

— Я,—кричит,—к благочинному на них жаловаться буду! Малец с таким понятием, а они его в пастухи! Попу Федоту в бороду плюну!

Но, конечно, храбрости не хватило, правда, все же сходил к попу Федоту, но с обычным своим смирением и низким поклоном, все ему об'яснил и просил застать перед миром:

— Подумай, отец: я ведь из мальчонки лажу дьячка, а по его понятности выйдет, может, и дьякон!

— О...о!—подивился поп Федот, глядя щетину.

— Будет те врать-то, Порфирий... сам бы лучше как-нибудь во рту у себя распорядился, а то часы читаешь, одно сомущение!—встрела попадья, которая по грузности своей редко из дома выходила и больше сидела у окошка и вязала супругу чулки.— Будет врать-то!

Осекся Порфирий Прокофьич и не нашелся ничего матушке ответить, может, и в самом деле подумал, что по убогости своей обшибился:

— Я ведь думал, отец, как складнее!

— Мир, Порфирий Прокофьич! Мир,—отговорился поп Федот,—говори с миром!

— Ты, отец, сам бы нето!

— Нет уж: ты заваривал, ты и расхлебывай! Самое главное: у них поряжонное дело! Пастуха с таким уговором рядили! Ведь сирота, выкормыш, вроде как в землю зароят, если захочут, и сказать не моги!

— Поряжон-ное,—протянул Порфирий Прокофьич,—тогда, конешное дело...

— Слышал: за двадцать за два в лето!

— Ну, значит богу так надо... только, отец, кто же будет у нас на колокольне звонить, если, спаси бог, ноги протянешь... Кто часы читать будет?..

— Полно, Порфирий,—засмеялся поп Федот, и попадя ему поддакнула, махнувши на дьячка, как чурбан, толстой рукой,—полно: тебе, Порфирий, веку не будет!

Посмотрел Порфирий Прокофьич на попа, с земли на него поднявши глаза, подумал:

„Гордынь у нас поп!..“

...уткнулся опять под ноги и с той поры ни разу с Мишуткой не заикнулся по церковности, потому что и в самом деле: на что пастуху знать писанье?..

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

ДАРОВОЙ ПАСТУХ.

КРЕЩЕНИЕ КНУТОМ.

В Егорья выезжает в наши поля богатырь.

Выезжает он из-за поповой горы на долгогровом белом коне, с бурыми яблоками по бокам и на крупе.

В полностью конь подходит по масти к овражкам за церковью и круговинам, простым грешным глазом его и не заметишь, когда еще снега целиком не сбежали, а земля уж пролыснилась и лежит под вечер на иссиня-белом снегу, как бурые конские пятна.

Конь легонько коснется копытом земли и отворит ключи и потоки...

Дыхнет жаром и полымем в обе ноздри на дороге, обдаст туманом перелески и пустоша, и солнце в этот день поутру поднимается выше сразу на целую сажень, как будто боясь, чтобы из-за чертухинских овинов с поповой горы его не достала золоченая пика...

На деревне скотина еще с вечера начнет истощенно реветь и бодать рогами ворота, а в лесу задымятся почки и сучья встряхнутся, загибая кверху концы—туман в этот день долго висит по полям, плотно приникши к земле, пока-то проскачет за туманом богатырь на коне, воскрешая к жизни лягушек в болоте, будя змей в кочках и пнях и прогоняя крупную рыбу из больших в малые реки, чтобы сбросить по половодью икру и на обратном пути угодить прямо в мережку... висит туман, пока огненная грива не заполошет на сильном скаку по голой опушке осинника и конь не пронесет по ней седока в далекое царство, где небо сравнялось с землей и полевые цветы смешались с звездами в небе—тогда он тоже поднимается в небо, и на земле не останется уже ни снежинки.

К такому дню в старину всегда подгадывали реки, вздуваясь помалу и отогревая в краях, держали лед наготове, пока не отворит землю Егорий, тогда несли его, все на пути сокрушая, к далекому морю, стучая звонкими лбами льдину о льдину, подымая их на поворотах на ребра и ставя попом на зажорах, тогда выходили реки на бескрайные поемные луга и оставляли после себя мужичью сыть и плодородье... в такой день раньше выгоняли скотину, обходили стадо с иконой и вербой, пастуха допьяна поили водкой и пивом, а подпасков до вздутия животов кормили петыми яйцами, сочными, с которых прямо в рот капает масло, калабашками,

алялюшками и гнилыми лепешками, к которым нельзя было прикоснуться рукой, так они распадались от сдобы,— подпаскам потом доедать хватало на месяц: нечего было жалеть в этот день, потому что, по деревенскому укладу, пастухи—первое дело...

Обычай этот хоть и сохранился теперь, но в нем как-то не стало прежнего смысла, потому что и реки теперь вскрываются как попало, и коров выгоняют не по Егорью, а по погоде, справляя Егорья больше уже по привычке да понаслышке от стариков.

* * *

В такой-то день Мишутку и окрестили кнутом.

Прогнали бабы коров, провели мужики лошадей под уздцы, чтобы не устраивать в выгоне давки, молебен поп Федот отслужил, обнесли стадо иконой, обмахали по ветру четверговой вербой и пасхальной водой потом окропили следы: коровьи жирные и широкие, лошадиные аккуратные, в которых уже курице напиться проступила вода, выжатая тяжкой поступью деревенских пахарей, овечьи, словно ребятишками ради забавы натыканные палочкой по обеим сторонам дороги, и неровные, детские, лезущие друг на дружку, неосознанные следки телят этого года.

Но ни верба, ни святая вода не остановили скотину перед древней исконной привычкой испробовать силу и ловкость, перескакнувши с выгона

канаву, тут же броситься стремглав друг на друга, стараясь просунуть рога за задние ноги под вымя, вращая страшно оловянными от зимней полутьмы глазами, не вынесшими первую минуту весеннего высокого солнца, взрывать жутко и смешно, неловко взвиться на задние ноги и, булькнув в середине непереваренным пойлом, глубоко врезаться в землю рогами, не рассчитавши удар, — коровий неискоренимый обычай, след далекой поры, когда не было еще звериного плена, когда глупые домашние куры летали по полю, как вороны и галки, когда петухи хохлились в желтых сафьянных сапогах не на тесаном нашесте, перекинутом с наката на переклад, а на березовой, страстно под ними выгнувшейся ветке, похожей на обнаженную нежную руку, славя двенадцатый час и утреннюю прекрасную зарю не в темном дворовом углу, завешенном паутиной, а в невообразимой тишине и в позабытом сиянии еще непокоренного леса.

В том же чувстве, должно быть, сладостных воспоминаний, звериной неисчезающей памяти, деревенские застоялые кони со спутанным на стороны и кверху взбитыми гривами тут же после молебна, как только мужики опростают уздечки, ринут всем стадом по полю наперегонки, выгнувши колесами шеи, красиво перебирая ногами и оглашая околицу стуком копыт об отталую землю и радостным ржаньем, — далеко оно отдается где-то за лесом, перекатываясь над болотами на тысячи голосов,

как будто и там, где небо слилось с землею, гонит Егорий по небу свою несметную конницу, похожую с земли на первую тучу с дождем...

Потом, как бы опомнившись, добежавши до дубенского берега, в котором до самого верха мутная клокочет вода и плюхают уже с продырами льдины, круто вдруг повернут и, разбившись попарно, замолотят друг дружке копытами по выступившим от яровихи ребрам, сналета прыгая на шею и выкусывая из челки сваявшийся голодный колтун или выдирая зубами из крупа клок бесцветной, длинной и пыльной от бескормицы шерсти.

Только мирской бык, с большим зобом от жира, не видя себе соперников, ошалело носится по всему стаду, обнюхивая наскоро коровьи хвосты и ради шутки пиная толстым рогом в бока, одиноко ревет, задравши голову к солнцу и ощерив мясистые, набитые пеной и слюнами губы, пригибается к земле и чертит рогами на луговине, как на скрижали, только одним коровам понятные знаки...

* * *

Мужики, спустивши лошадей, уселись за мирщинку на бревна, изредка только покашивая на скотину.

Пастух Нил без картуза, с кнутом, перекинутым с плеча на плечо, в холщевой новой рубахе по самые колена, засел в середку к мужикам, сегодня он

не гость и не хозяин, а гораздо больше того и другого: мирщинка у него под ногами!

Мужики по очереди подходят к нему и наполняют синий с красной каемкой стаканчик, из которого сколько лет пьется мирщинка,—стоит этот стакашек у Семена Родионыча в посудном шкапу за хрустальным стеклом, и зря его, этот стакашек, мужики не тревожат!—подходят по череду к Нилу, и, кланяясь ему, отпивает всякий свою меру, а Нил с каждым христосуется и после трех звонких поцелуев закидывает далеко голову и опрокидывает, не задерживая водки в зубах, прямиком:

— Важна!

...потом долго нюхает свежую корку, раздувая широкие ноздри, откуда торчит седая щетина и бисерится на солнце проступивший над мирщинкою пот.

В стороне от мужиков поп Федот, давно закончивши молебн, завистливо поглядывает на мужиков, облизывая незаметно толстые, как у опоенного мерина, отвисшие губы, черпает он ленивой рукой, задевая небольшим ковшичком с язычком, свяченную воду из пузатого ушата, кругом него гомозятся старухи в черных платках, наперебой подставляя отцу Федоту кружечки, кумочки, бутылки с готовой воронкой в горлышке, разбирая по домам егорьеву воду, помогающую от всех болезней как скотине, так равно и человеку...

— Ну, чего вы, право, лезете прямо в ушат?—оговаривал сердито поп Федот,—Чего спешка такая;

святой дух, что ли, из воды выйдет, боитесь? Не выйдет, будет поровну всем!

И в то время еще были такие попы, которых подчас трудно было понять, что сам-то он в бога верит или не верит?

Или только смеется над дураками, брызгая в печку когда-нибудь в праздник, чтобы лучше выпекались хлебы, и на порог, чтобы чорт в избу в этот по крайности день рог не совал?..

Таков был и Федот, иной раз такое отмочалит, в особенности когда клюкнет и разговорится под веселую руку, что не выдумал бы и настоящий кощунник... ну, да ведь попы первые кощунники были по большей части всегда!

Дьячок сзади попа Федота—Порфирий Прокофийч укладывал золоченую ризу и разную утварь после молебна—изредка взглянет на стадо и потом на мужиков неживыми глазами, подумает о чем-то минутку, а потом качнет сокрушенно головой с редким волоском и с плешью, похожей на дырку, в затылок и снова затянет гнусавым сбивчивым голосом положенный по чину в Егорья пасхальный напев:

— Истос вос... кре... си...

Поп Федот морщится на дьячка, а старухи смотрят ему в рот со сложенными руками у сердца и шевелят бесцветными засохшими губами, под цвет прошлогоднего сена...

А поодали ото всех сельские ребятишки, какие поменьше, как галчата после выводка, расселись в

рядок на заборе, отделяющем пар от ярового, и на них то-и-дело затуманенными глазами оглядывается из стада Мишутка.

„Теперь не подразнишь: эн у меня какой кнут, и не ради какого баловства, а по делу!..“

По всему полю рассыпалось стадо до леса, который склонился томно на берег Дубны и словно вот-вот тоже стронется с места, сорвется и побежит, махая голыми сучьями, похожими без листьев на коровьи, задранные кверху хвосты.

Меж коров бегают с причитаньями бабы и с визгом и сдавленным в горле смешком сельские девки, тормозятся на бегу бабы, приткнутые за пояс подолы, и издали заманчиво сияют снежной белизной девичьи ляжки и икры из-под цветных сарафанов, завороченных на головы, как от дождя, чтобы со скотиной не попортить оборок.

Мишутка только поспевай между ними, в одном месте отхлещет какую-нибудь бодастую телку, а в стороне, гляди, уже сытая яловиха с неподтесанным рогом подмяла соперницу в единоборстве, и та припала на передние ноги, как будто просит пощады, но она пощады не знает и остервенело тычет ей острый рог между ребер, и из-под него с конца хлыщет кровь, еще пуще алея на солнце, и хозяйка возле нее заходится криком, машет мужу рукой и, пока тот бежит, сорвавшись с бревен и махнув на мирщинку, затыкает передником рану, откуда лезут и шевелятся вывороченные из самой середки утробы кишки.

— А где же моя подмога?—спросил захмелевший Нил, когда из бутылки вылили на землю последнюю каплю, по примете: пить не в последки, а в руках у Нила остался стыдливый стаканчик.—Надо бы кликнуть!

— Ну, Нил Матвеич, хорош... хорош у тебя помощник!

Мужичьи пятерни потянулись на стадо, по которому бегал Мишутка, откидывая, как большой, далеко руками.

— Мишутк-е-эй!—крикнул Нил во все горло, держа стакан в кулаке.

Мишутка от этого окрика остановился, как вкопанный, еще не понимая, откуда кричат, а когда разглядел, что набольший машет, подбежал, запыхавшись и отирая пот полою рубашки.

— Ну, Мишутка... пей... не всерьез, а в шутку! И сунул Мишутке стакашек.

— Дядюшка Нил... дух больно тяжелый!

— Пей, сукин сын,—топнул Нил ногой,—пей да не морщись!

— Дядинька Нил!.. С души от духа воротит!

Нил дернул Мишутку за вихор, от испуга выскочил у него из дрожавших ручонок стаканчик на землю, и драгоценная влага задаром пропала в траве...

Хорошие пьяницы в старину говорили, что на местах, где нечаянно проливается водка, потом вырастают такие цветы, но в наше время питухи проверяли, и у них выходила вроде как плешь!

Может, самое главное нечаянность тут, мать невинности и простоты?..

Мишутка поглядел на стакашек и шмыгнул по глазам кулаком, а Нил отвернулся и расстановисто сказал мужикам:

— Не, православные: пастуха тут не выйдет!

— Полно, Нил Матвеич... ну, как же пареньку... можно ли так?..

— Да это вы мне не пойте... взросли сами на этом... а промежду прочим: надо Мишутку крестить!

Порфирий Прокофьич издали поглядел на Мишутку, когда ему Нил подал стаканчик, и тут же надолго уставился в землю, оборвавши напев и бессмысленно перебирая золотой нарукавник.

— Что ж, обычаю неча перечить... обычай надо почтить!—ответили степенно мужики.—Вон и батюшка еще не ушел!

— Да нет, уж... мы без попа обойдемся... у нас свой канун... а ну-ка, Мишутка, крестись!

Мишутка обрадовался, что не заругали за стакашник, и истово перекрестился.

— Читай, сукин сын, богородицу!

Мишутка вытянул ручки, как он это делал перед Порфирием Прокофьичем, когда тот наставлял его по церковности, и звонким голоском начал чуть нараспев:

— Богородице... дево, радуйся...

...а Нил снял с себя кнут, свернутый в круг, и надел его с головы на Мишутку, медленно во время молитвы пропуская под ноги...

— А ну, отче наш!—еще строже приказал Нил Мишутке и снова надел ему на голову пастуший венец.

— Отче на-аш,—затянул Мишутка,—ижиси на небеси...

— Ишь ведь,—дивятся мужики на Мишутку,—сколько колотьбы одной принял, а память, словно веревка!

— А ведь и в самом бы деле на крылос годился,—хмуро сказал Семен Родионыч, но ему никто не поддакнул: какой тут крылос, когда кнутом на вечные времена в пастухи благословляют?..

— Ай да сукин сын... ловко знаешь молитвы,—похвалил и Нил Мишутку,—сукин сын!—потом уж узнал Мишутка, у Нила это было ласковое слово, вроде как поговорка.—А ну... читай,—Нил задумался и чуть шатнулся с кнутом над головой Мишутки,—читай... взбранной воеводе!

Но „взбранной воеводе“ Мишутка не знал, да и сам Нил сказал больше спьяна, так, куражился над сиротой, потому что думал на это лето в подпаски пристроить сынишку, а не пришлось. Мишутка быстро заморгал глазами, собираясь вот-вот заплакать, но по своей крепости в слезе удержался, и Нил уже безо всякой молитвы продел его в кнут и сам три раза истово перекрестился:

— Ну, теперь, Мишуха, скидавай штаны!

Мужики загоготали, не зная еще, чем кончится нилов обычай, а ребятня обступила Мишонку, пока он скидал офточки:

— А ну-у-ка, пастух, бе-еги во весь дух!

— Пшли вы тут,—крикнул Нил на мальчишек и замахнулся кнутом,—а и в самом деле, Мишутка: беги!

Должно быть, ребята и надоумили пьяного Нила, потому что сам-то он просто хотел его отпороть на глазах у мужиков и тем дело кончить.

Мишутка сразу сорвался с места и побежал, к чему было бежать вокруг стада, где же догадаться, а если бы и так, то едва ли бы заартачился, а терпеливо бы принял и перенес, потому что кориться большим привык с колыбели.

Нил не спеша развернул длинный кнут на конце с волосяной хлопушкой, подошел к буланой кобыле, по старости дремавшей тут же за канавкой и безучастно смотревшей на толкотню среди молодых лошадей, схватился за гриву и прыгнул на спину!

Кнут прошелся по бокам, кобыла вздынула, было, на дыбы, но, подпертая крепкими коленками Нила, часто засеменила ногами, догоняя Мишутку.

* * *

Скоро Мишутку больно хлестнуло.

Он схватился за пояс, по которому пришелся удар, но, оглянувшись на бегу назад, увидел страшного Нила на буланой кобыле, вскрикнул больше с испуга, чем от боли, и побежал еще пуще, вытянувши вперед длинную шею и крепко у сердца приложив кулачки.

Вот-вот уж скоро мосток, на котором стоят мужики и довольно гогочут, вот уж скоро Мишутка добежит до ребят, которые машут ему кулаками и что-то кричат, вот еще немного, абы только не выдали ноги, и он будет у места.

Но в это время облепил Мишутку колючий огонь, обжег ему плечико и сразу отдался в серединку.

Кубарем Мишутка повалился, наскочивши на кочку, совсем почти уже добежав до дороги, в глазах сразу все завертелось, избенки из Чертухина стронулись с места и побежали вместе со стадом, и в стаде коровы начали кружиться, доставая рогами хвосты.

Не разглядишь уж меж ними ни девок, ни баб, и только обратной дорогой, об'езжая стадо на буланой кобыле, мчится Нил в холщевой рубахе, облаком вздул ее ветер у него на спине, отчего он стал еще шире и страшнее, и видно, как тащится за ним большой кнут, длинной змеей извиваясь по кочкам и вымоинам на луговине...

* *
*

Надо бы действительно в шутку, легонько бы, так, ради обычая только, мужики так и подумали сначала, а тут вышло всерьез: отхлестнул Нил шульни мальчонке, отчего, может, потом у барина и не было детей, когда он женился на рысачихиной дочке...

— Нил, а Нил... ты бы полегче!—робко пота-зали мужики пастуха, когда он оборотил назад и спрыгнул с кобылы.

— Нича-во!—протянул он, оглядывая Мишутку и скаля мелкие редкие зубы, к Мишутке даже ребята в испуге и неожиданности боялись подойти поближе узнать: жив он али мертвый?—Нича-во: встанет—тот же будет!

— Да все же как будто... того,—жались мужики.

— Так уж полагается на первака: иначе проку не будет!

— О положеньи и речи нет никакой! А мальчонка-то, смотри, глаза закатил!

— Кнут—он безвредное дело!

В это время Мишутка поднялся с земли и, держа ручки в коленках, осмотрел всех воспаленными глазами, снова приник и неслышно заплакал...

— Ишь голову поднял из травы, как турухан какой... Мишутк... эй, не с'уягну, небось: не валяйся! Ничаво, мужики: лучше стадо понимать будет!

— Оно конечно: кнут не мешает!

Мужики помотали башками и поплелись по домам: больше в стаде нечего делать, мирщинка допита, животина обнюхалась и уже мирно ходит по полю, выгрызая мелкую травку на высоких местах, и вон уж входит в село шагистый поп Федот, за ним тянется старух, девок и баб целый хоровод, впереди веселой гурьбой бегут ребяташки, а позади

всех трусит Порфирий Прокофьевич с горбом, и подмышкой у него, выбившись полониз из небольшого узла, весело и ярко горит на солнце праздничная федотова риза—уж не кусок ли парчевого кафтана с широких егорьевых плеч?..

ЧЕКАНАШКИ.

И в самом деле, из Мишутки вышел хороший пастух...

Нил за таким помощником считался как за горой: ни одного праздника Нил не пропускал, чтобы как следует не залить за ворот, а в будни по большей части сидел где-нибудь под кустом и плел к базару корзины, верши, мережки, которые еще с вечера каждую субботу уносил на себе в Чагодуй.

Мужики сначала косились, но потом махнули рукой, кому охота связываться с озорником, тем более, что пока дело идет по порядку...

Стадо же распускалось на многие версты, Мишутка только по коровьим боталам да по лошадиным звонкам едва мог догадаться, в какой стороне ходит стадо, но во всяком стаде, как и в человеческом, есть свой коновод, и с хорошим коноводом никакое стадо и в пустыне не заблудится.

А если и заблудится, так в лесу дух голосистый, на десять верст рожок слышно.

— У меня рожок,—хвастался Нил мужикам,— с того света скотину вызовет... Тоже не дело: держать коров на кнуте!

— Так ведь зверь, Нил Матвееч! У нас тут зверю самое место!

— На зверя заговор есть!

Дивиться было надо, как это за всю весну ни овцы не пропало, ни телки медведь не заломал, не говоря уже про ночное, раньше волки-перелярки резали жеребят на глазах у пастухов.

— И в самом деле, должно, слово у Нила,—довольно рассуждали мужики,—а может... так удача идет человеку!

Очень были довольны.

Во время полдни, скотина приходит домой с марами, бока туго набиты, молока у всех с выгона хоть облейся от такого нагула, что с того, что сам Нил только одним рожком орудует, больше сидит под кустом да плетет мережки, потому не только Нилу оказывали всяческий почет, но и Мишутке перепадало ласковое слово, и по праздникам, глядишь, вместо хлеба торчит из сумки перженец с жареным луком и кашей или густо промасленный сочень с вылезшим на края творогом.

Но скоро пришлось подивиться, потому что негаданно, несмотря на звериное слово, случилась с самим Нилом история, воскресившая у всех в памяти случай с Михайлой, о котором к этому времени начали уже забывать.

Дело получилось такое:

Хоть и был Нил доволен подпаском и не раз хвалил его мужикам при разговоре, но из синяков Мишутка и после крещения кнутом не выходил, так уж, видно, были привешены руки у Нила, что он не мог жить без обиды.

Особливо после похмелья, когда под ногами земля шатается и кочки тычутся в чуни, изматерит до последней капельки душу, пока не хватит квасу или огуречного рассолу прямо из кадки, который лучше всего снимает похмелье и возвращает разум и совесть.

В такое похмелье худо приходилось Мишутке...

Опухший Нил подойдет, глаза темные, руки в кулаках, а кулаки словно камни.

Рыгнет на все поле тяжелым духом и со всего размаху куда ни попаало.

Мишутка первый раз повалится с катушек, стерпит, но со второго не выносил и убегал, в глазах все зеленело, свет забивала слеза, и сквозь ее соленый и терпкий туман становится видно, как скачут у ниловых ног зеленые бесенята и щекочут ему под рубахой маленькими хвостиками и суются в чуни, подставляя горбы.

Тогда Нил страшен и беспощаден.

Все равно после прибьет, но в такую минуту лучше укрыться, пусть искровянит кулаки о какое-нибудь деревцо или о камень, что на глаза попадется, обобьет до того, что после руки ложку со

щами не держат, и из-под отставших ногтей долго потом сочится по капельке кровь.

Должно быть, было у Нила какое-то подноготное горе, от которого он в хмелю ни себя, ни людей не щадил!..

Мишутка куда-нибудь забивался в кусты, где поглуше, и тогда наступали для него блаженные минуты, когда он уже ничего не боялся и обо всем забывал: источали глазенки теплые освежающие струи, синяки как будто отдавали этим слезам всю свою жгучесть и боль, и что за цветы вырастали в том месте, где часто плакал Мишутка, не по-детски глубоко вздыхая—бог его знает!

Наверно, что та же осока!

А в осоке прячутся змеи!

В осоке змеи живут!

* *
* *

Однажды, как раз в петровошном посту, когда невоздержные на питье мужики любят малость зарекнуться перед страдой, Нил тоже немного остепенился и дал даже попу Федоту зарок по самое разговенье не трогать хмельного, но не выполнил зарочного слова и пришел с базара как зюзя.

Еще издали Мишутка расслышал хрипучий задавленный крик:

— А.. та-акой, проздакий...а... хочешь люлю?..
Я те со спины-то мочалу пушу!

Нил шел по дороге и грозил в сторону Чертухина кулаками, хотя ни за ним, ни перед ним никого, и не видно было, чтобы кто-нибудь проходил...

— Я покажу вам... мать вашу за заднюю ногу... мироеды дьявольные! у... ух,— хватил Нил по земле кулаком,—сожгу...у!

Грозил, должно быть, Нил своему пучеглазому лиху, потому что на селе ему уважали, кормили, как сами не ели... а может так: озорник большой, не смотря на седые волосы!

Внезадолои от стада Нил остановился, потянул из горлышка остатки, заворотивши далеко голову, разбил о камень бутылку и пустился вприпляску, хотя видно, что не слушаются его чуни и выкидывают невысоко смешные загогулины, взбил ему ветер волосы кверху рогами, и Нил с поднятыми над головой кулаками и не мальчонке показался бы страшен в эту минуту:

Уж я Нил, Нил, Нил..

Уж я пил, пил, пил...

Пил мед, пил квас,

Спосылал к туру вас!

Дрался Нил больше с похмелья, а в хмелю больше ругался, стоя где-нибудь у куста, пока не валился под него, подымаясь уже только к рассвету, но на этот раз не успел Мишутка хорошенько разглядеть ниловы мешки под глазами, как с первого же удара повалился Нилу под ноги...

Сердце мишуткино словно висело до этого на тонкой ниточке, а тут оборвалось и покатилося куда-то в траву.

Больно заколотило по ребрам, и в пятки потек кipyток, потом под сердцем захолонуло и трудно стало дышать, хоть хорошо видит Мишутка ниловы чуни, которые тычут вперемежку ему под бока, видит он еще впереди большую высокую кочку, за которой будто человек сидит и бороду за нее прячет, а может так, от слезы только, застывшей в глазу, мерещится... дальше за кочкой ходит по заводе стадо, и в заводе осока в рост человека... где-то жалобно звенят колокольчики и бубенчики с лошадиных ошейников, ухает перед вечером сыч на сычиху, и совсем кажется недалеко, там, где стоят сельские сараи на пустоши, жвыкает в траве коса, а совсем высоко под вечерним небом постукивает на Ивана-купальщика острый молоточек на бабке, отбивая прошлогоднюю косу, и от каждого стука загорается над головой словно от гвоздика шляпка.

Страшно стало Мишутке...

От страха он даже не плакал, только сами из носу лезли красные сопли...

Больно ныло в затылке, и с заводи ныл шубиной туман.

Лишился тут Мишутка, должно быть, всякого соображенья и своей природной сметки, и что с ним дальше случилось, и сам он по малолетству не мог догадаться...

Вернее всего, что наполовину с горя привиделось или приснилось, потому что и раньше Мишутке снился Прокофьич, и виной тут его наставленья...

* * *

Снился Мишутке Порфирий Прокофьич всегда в золотом ораре, в каких, по его рассказам, только святые ходят по раю, церковка немного повыше дьячка, потолок в церкви синий, и с потолка на ниточках висят соломенные голубки с золотыми крылышками во все стороны, и на тонкой цепочке свисает к самому носу Мишутки то ли золотое кадило, то ли большая луна...

Порфирий Прокофьич стоит всегда на амвоне перед узорною дверью, и за этой дверью—рай!

Перед дьячком подставка, на подставке толстая книга, какая у него лежит на полке в церковной сторожке, где выписаны все молитвы и причты, буквы в книге и знаки плавают по прозрачной странице, как молявки в Дубне, а дна будто ж не видно, бисерятся только разные крапинки и завитки, как болотная тинка, и сам Порфирий Прокофьич хоть и смотрит строго в эту книгу, а видно, что ничего не понимает, так только переминает ради прилику губами, перевортывая за страницей страницу бесплотной, тоже прозрачной рукой... стоит он зато всегда весь в свечах, обвитых золотой каницелью, сам же Мишутка сзади него в парчевой

рубаше пониже колен, босые ноги чуть видно, напряжив до щекота щечки, раздувает кадило, хотя в кадиле не уголь и ладан, а топорщатся еловые шишки, и поверх них румянится огоньком земляника...

Душисто в церкви, тихо, только двое они перед богом!

Ни баб, ни мужиков, приснились как-то ребяташки с села, так Порфирий Прокофьич их отшугнул...

Одни они перед богом, и бог—поп Федот—сидит вверху на колокольне, как на колеснице, в серебряной ризе, смотрит на них своим желтым глазом и перебирает в лохматых руках длинные вожжи, дальше видны только золотые хвосты, которые в постромках вытянул ветер, звенят в вышине колокола и тилинькают колоколушки, и в самое сердце проникает желтое федотово око.

Так часто снилось Мишутке, видно, что тосковал он по церковной сторожке и плакал первое время где-нибудь за кустом, вытирая веткой глазенки.

Перед тем как проснуться Мишутке, Порфирий Прокофьич всегда говорил:

— Ну, теперь, Мишутка, немного осталось: дочту вот книгу до корки и—в рай!

Не к добру только Мишутке всегда сон этот снился, непременно кто-нибудь в этот день поколотит или словом обидит, видно по всему, что бог—поп Федот—Мишутку не любит, и попадя его тоже, стали бы разве так над Мишуткой казнить, и Нил, может, бил бы потише!

Но на этот раз обернулось все по-другому...

Повалился Мишутка в осоку и долго еще различал нилову чуню, на которую насели зеленые бесенята с длинными хвостами, чуня оттопырила нос и заковыляла в сторону от заводины, где пролегала дорога.

На дороге стоял человек с большой сумой за плечами и с посохом, повыше будет, чем у попа Федота.

— Доброго добра, добрый челэк,—слышит Мишутка тихий голосок,—где тут на Чертухино вытти?..

— А ты кто такой будешь?—насунулся Нил на старичка с кулаками.

— Да ты, добрый челэк, кулачком не маши: кулак не кадило!

Но у Нила уже заходила рука, не в добрый час подсунулся тут старичок, взметнулся над ним огромный нилов кулак, но не успел Мишутка сморгнуть, как в ответ просвистел над кудлами Нила набалдашником посох, запрыгали вокруг Нила бесенята, обвивая ниловы ноги зелеными хвостами, нависли ему на руки и облепили всего с головы, машет Нил длинными руками, откидывая их от себя, но крепче веревок хвосты, путаются у него ноги и не поднимаются руки, а посох снова над головой, и слышно, как под ним хрюкает нилова кость на затылке, ломаясь в куски...

Мишутка прижался в страхе за кочку и крепко зажмурил глаза.

Должно быть, пролежал он так немалое время, возле кочки тепло, кто его теперь в осоке увидит?

Потом подошел будто Порфирий Прокофьич, и не в золотом он ораре, а в каком-то чудном балахоне, погладил Мишутку по головке и взял за руку, приподымая с земли:

— Ишь ведь, как он тебя, ирод, взбутычил!

Боль по всему телу потекла от синяков, в голове у Мишутки еще пуще затуманило, предметы переставлялись с места на место, как живые, как всегда бывает, когда в забытьи приходит настоящий сон к человеку, и вот уж опять видит Мишутка царские двери, и Порфирий Прокофьич держит его попрежнему крепко за ручку, закрывая другой рукой толстую книгу:

— Пойдем, Мишутка: рази ее когда дочитаешь?..

Раскрылись тут настежь царские двери, и Мишутка рядышком с Порфирием Прокофьичем прошел по половой дорожке, которую выткала Секлетинья из разноцветных тряпок в поминовение мужа: вела она от паперти к алтарю в чертухинской церкви, мужики ее, чтобы не марать, обходили.

Растянулась эта дорожка, кажется Мишутке, на многие версты, долго шли они по ней с Порфирием Прокофьичем и только минули царские двери, теперь похожие больше на сельские ворота на выгоне, сразу попали, но только не в рай, а на ту самую тропку, на которой Мишутка всегда стерег стадо,

когда оно разбредалось по лесу: по бокам тут много малины и поглубже сине от пьяники и гонобобля.

— Вот тебе и рай божий!—говорит Порфирий Прокофьич.—Хорошо, малец, что бог создал лес и пустыню!

Знает Мишутка в этом раю каждый кустик, о колючий игольник все лапости ободрал без обутки, пальцы об осоку обшарпал, до самых коленок зудливые цыпки сидят, а все же вот если прищуриться да поглядеть вокруг в кулачок, то словно на все через синее стеклышко смотришь, и в лесу как-то все по-другому...

Скачут белки с елки на елку и не боятся Мишутки, задрали на самые уши пушистые хвосты и грызут клейкие шишки, лущат редкое лакомство в нашем лесу—правский орех, а только моргни—и нет ничего, одни лохмоты от зари на деревьях, похожие на огненные хвосты с белым подпалом.

А там вот... подальше в лесу, там темь ходит, и в чаще прячутся волки, то ли там роса горит за кустами, то ли и в самом деле волчьи глаза...

— Дядя Порфир, вроде как волки!

А огоньки все яснее разгораются в чаще, натыканы они в кустах как красные ягодки, и если уставиться в темноту, то видно хорошо, как важно вышагивают парами волки, поджавши под задние ноги хвосты, языки вывесили на стороны, и с них каплют голодные слюни, и то ли это сыпется к ним на волчью тропу из белочьих лапок золотистая

шелуха от очищенных шишек, то ли и в самом деле висит над головою большое кадило, роняя меж веток меркотный, разбитый на пятнышки свет...

— Дядя Порфир... волки!

— А ты, малец, волка не бойся! У волка тоже внучата: волчата! Волк много добрей человека!

Голос у дяди Порфира хлибучий, нечеловечий, словно болото под ногой булькает, и лица он не кажет Мишутке, со спины же каждый человек мало понятен...

— Глядь-ка, дядя Порфир, впереди-то у них какой красноглазый.

Вышли волки из чащи и будто вот совсем натрафили прямо на Мишутку, но старичок погрозил им дубинкой, щелкнули они, словно щеколду на воротах закрыли, и свернули с тропы, шерсть на хребте стойком, у переднего уши вперед, как ножи: слушает, где теперь стадо?..

— Страшно, дядя Порфир!

— Полно, дурашка: вишь, они повернули!

— Ой, дядя Порфир: это они с затылка заходят!

— Да что ты мне все: Порфир да Порфир?.. Я, может, и Порфирий, да в плече пошире, чудачок! Вишь: это прохожие волки, идут на свое богомолье, ну, а если наткнутся, конечно, спуску не будет!

Идет старичок впереди Мишутки, палочку расстановисто ставит, словно ею щупает землю, не ткнуться бы где о торчок, и будто не с Мишуткой, а сам с собой говорит:

— Хорошо, что бог создал лес и пустыню!

Что это совсем не Порфирий Прокофьич, так теперь-то уж видно, вместо горба сума за плечами, и речь хоть и темная тоже и Мишутке мало понятная, но в словах нет такого заику.

— Да ты что, шикунец, али и в самом деле струхнул? Ну, ладно, коли: оставайся! Хотел я тебя с собой прихватить, да, пожалуй, так-то и лучше!

Забился Мишутка в страхе под чекрыжину и подобрал под себя ноги, видно ему крутую широкую спину, балахон до самой земли, только хорошо во всем не разберешься: налит затылок тяжелым свинцом и в глазах все двоится—и кто это такое, если не дядя Порфир, Мишутке еще страшнее подумать.

Ткнулся он головой в коленки и затаил с молитвой дыхание, в лесу же как-то сразу стемнело, опали с деревьев огненные хвосты, и над лесом побелело большое кадило, только плывет под самый нос земляной земляничный душок, и где-то высоко на колокольне сидит в серебряной ризе бог—поп Федот—и смотрит на Мишутку желтым неморгающим оком...

* * *

И в самом деле Мишутка проснулся, когда солнце уже высоко стояло над лесом и жарило полетнему напропалую, очутился он действительно на

этой самой пьяничной тропке и как попал сюда с заводины—где же тут разобраться?!

Да и самому Мишутке раздумывать много не оставалось, вчерашние синяки надулись и словно ходили по телу, стреляя в бока и затылок, размялся кое-как Мишутка, продрал заспанные глаза кулаком, перекрестился, что цел, и, вспомнив страшного Нила и его опохмелку, со всех ног брызнул в село.

Оказались чудные дела.

С вечера все село переполошилось и встало на ноги от мала до велика, хотя за околицу выйти, на ночь глядя, никто не решился, стадо без пастухов прибежало само, лошади сперлись грудой в воротах и своротили вместе с ними повору, коровы растыкали друг дружке бока, проминая дорогу, овцы кучкой, как связанные, совались под ноги крупной скотине,—забились опрометью, не разбирая дворов, и присмирели, поутру тишина в селе стояла зловещая, ни одна корова не мыкнула, дожидая нилова рожка, понуро стояли в дворовых углах, как обиженные бабы, испуганными глазами глядя на хозяев.

Только к раннему утру все Чертухино вывалило на поле к лесу с вилами и топорами, с кольями за плечами, словно собрались какое поместье громить; видно было по всему, что стряслась большая небывальщина.

Хотя, если б не история с Нилом, небывалого мало: волков в нашей округе в старое время водилось без счета.

По летам зверя незаметно, разбивается он на семьи или в холостом виде бродит, как неприкаянный, с места на место, а вот как вывалит снег и установится санная дорога, тут всякого зверя, как в зеркале, видно — бывало, в темную осеннюю ночь страшно было выйти из дома; горят с поповой горы волчьи глаза, разглядишь даже от страха в волчьем меркотном свете, как пролыснили снег на дороге последние сани!

Скотину таскали из подворотни—небывалого мало, и не в том было все удивление, что как вышли по Боровой дороге, так тут же почти у села наткнулись на чисто обглоданные коровьи косточки, черное овечье волокно висело по кустикам клочьями, словно черти тут дрались, гоняясь по кустам друг за дружкой,—самое главное то, что лежал вместе с задранной скотиной Нил неподалеку от дороги в приметных своих чунях по высокой портянке, фасонисто замотанной до коленок сыромятным ремнем.

Страшно было на Нила взглянуть: живот разворочен, как окоронок, и в нем в огустевшей крови пухла брюхавина, перехлестанная кишками, отчего походила на поклажу, крепко увязанную в дальнюю дорогу и брошенную тут в спехах на с'едение мухам, над кишками работали уже отяжелевшие от крови какие-то беленькие червоточки, а под глазом у Нила набух огромный синий волдырь и из волдыря страшно подглядывал на мужиков остеклевший, тоже залитый кровью, перекошенный зрак.

— Вот те и звериное слово!—озадачились мужики.—Гляди, как обратали ловко: черви навалились!

— По всему, православные, это не волки,—отчеканил после долгого раздумья смекалистый мужик Семен Родионыч,—то-ись оно, может, конечно, и волки, видать, что дело тут не без них,—прибавил он погодя, потому что все мужики удивленно и недоумело на него поглядели,—только, православные, все же очень чудно!

— Полно, Семен Родионыч, ничего нет чудного, зверю у нас самое место!

— Да нет,—упирался Семен Родионыч,—зверь в такую пору артелью не ходит!

— Не ходит!—охотно согласились чертухинцы.

— Ну, вот и смекай: тут дело не чисто!

— Да чего же еще чище: все на виду!

— То-то и дело, что вид: эна под глазом!

— Полно: може, лошадь лягнула! Как бешеные вчера прибежали! В таком суматохе лошадь вскидывает пяткой, словно на свадьбе, по чему ни попало звизнет!

— Конечно, може и лошадь,—раскинул Семен Родионыч,—только тут главное в том, что зверю не время: подумать только,—Семен Родионыч заложил пальцы,—три коровы заломали, не досчитаемся, сколько овец с собой унесли... Ой, православные, не волки ли это с руками?..

— Полно тебе, Семен Родионыч, бабам за рубашку страх нагонять. Слыханное ли дело?.. А про-

между прочим,—поглядели мужики друг на дружку,— все может быть: кто его знает?..

Может и в самом деле от этого волдыря под глазом, на который так воззарился Семен Родионыч, да еще и в самом деле от не в пору набежавших стай волков и дальше бы пошло подозрение, а там, глядишь, разговор докатился бы в Чагодуй до начальства, но тут покончила все недомолвки и разрешила недоуменья наша повитуха Секлетьинья, которая вместе с другими бабами, утиравшими изредка слезы, сначала стояла в стороне от мужиков, опасаясь подойти поближе к мертвому Нилу, но не стерпела, когда зашел такой разговор, и, будучи по природе своей и по вдовьему положенью совкой в разные мужские дела, подошла, растолкав мужиков, нагнулась над Нилом и пристально поглядела ему под волдырь:

— И-и-и-и... православный-и!

Всегда Секлетьинья, бывало, поспеет к нужному разу и скажет такое, после чего никому не оставалось ничего другого добавить, хотя после секлетьиньино слова дело нисколько не становилось яснее, а даже напротив, но умела она все так повернуть, что дальше ни к чему разговоры.

— Это, милые вы мои, нет... это не волки!

— Ни с холки, ни с чолки!—засмеялись, было, на нее мужики, а с ними и Семен Родионыч, потому что, как и все мужики, не любил бабьей встрешнины.

— Да вы, православные, не хикайте: правое слово, милые вы мои, говорю!

— Ну, ты все говори, а мы будем слушать!— сдались мужики.

— Это, милые вы мои,—опять нагнулась Секлетьинья над Нилом и показала на обвязанную кишками в ниловой утробе брюхавину,—видите, коли не слепые?..

— Ну?—озадачились мужики.

— Это... чеканашки!

Словно волна пошла по народу с этим словом, неведомым и непонятым, сразу все как-то невольно шарахнулись от Нила и смутно поглядели под ноги все замолчали, поглядывая на дорогу к селу.

Да и в самом деле что тут говорить: человек мертвый, а мертвому известна цена—горсть земли!—лучше больше молчать, за умного скорее сойдешь, и вреда всем будет меньше!

— Чеканашки!—прошептала еще раз Секлетьинья и перекрестилась, отшатнувшись вместе с другими, по кустикам только шопоток пошел, под набежавшим ветерком весело они замахали на Секлетьинью, словно уговаривая ее не говорить до конца, чтобы—не дай бог!—еще чего не случилось.

Мужики натрафили уже в ту сторону, где развалилось на две половины село Чертухино, словно каравай, разрезанный широким ножом по самой середке, за ним, похожая на солоницу, деревянная церковка на поповой горе, со сплюснутым куполком

на колокольне, который, кажется, сам строгий мужицкий бог в некоем несправедливом гневе с неба ладошкой прихлопнул и немного примял синюю крышку, покрививши в сторону крест,—льется уже оттуда на осыпанные солнцем поля успокоительный и равно безучастный благовест, тянет мужикам под носы душок поминальной кутьи и свежей могилы.

ПОЛДНЕВЫЙ СОМ.

Должно быть, как там никак, а все же домой назад Михайла вернулся.

Потому что откуда бы почитай через десять годов, считая со дня, как умерла его Марья, откуда бы, кажется, взяться Михайле снова в нашем Чертухине, так же с палочкой по святой его привычке и с христовой сумой за плечами, чуть только погорбатее стал, да ноги уж к этой поре у него совсем перепутались и загребали друг за дружку вперехлестку.

Хотя такого человека как ты ни поверни и что ты к нему ни приложи—все будет одинаково верно!

Так уж сама жизнь наша тогдашняя темная запутала и напустила непроглядимой тьмы и туману на дорожку, по которой не за руку вывела нашего барина к почету и богатству, а, можно сказать, из грязи в князи протолкала в загорбы.

Обошел, еще раз сказать, Михайла кругом землю или нет, а если обошел, то по какой же дороге—кто его знает?..

Может и в самом деле, как потом многие про него говорили, когда к слову заходил про нашего барина разговор, и в этом разговоре дальше-больше у каждого росло на его судьбу удивление, что никуда из своего природного места Михайла уходить и не думал, потому что не такой был мужик: каждый ступ у него стоил руп, а как два, так стоили уже полтора, где же такому столь дальний путь на старости лет отхлестать,—на самом-то деле будто как сорвался в памятное пасхальное утро с петли, пришел в себя, на тот свет сходяв только, как в гости, убежал от человеческого пытливого глаза и пробродил без малого толку сначала по лесу, пока не наткнулся в лесной чащобе на разбойников, которых и вправду в старое время было немало в нашей округе, потому что леса были большие, было место укрыться.

Прибрали будто разбойники Святого к рукам, хотели, было, сперва его просто укокшить, потому что боялись все же живьем от себя выпустить, как бы не открыл их места начальству, а потом, видимо, по смиренному михайлову виду так порешили, что лучше старичка привязать на веревку за заднюю ногу, кашу им пусть грешневую варит с бараньими шкварками да грехи убойные перед богом отмаливает...

Будто бы так, а там шут разберет...

Хотя эта молва говорит, что Михайла сам от грешного дела в этой неволе сторонился и на большую с топором не хаживал, только все высматривал у них да выглядывал, куда разбойники золото да разное добро награбленное прячут, однако, как-никак, а возле такого греха рядом столько годов просидеть, поливая только из ковшичка воду на кровавые после работы разбойничьи руки, и то для такого человека, как Михайла Святой, что-нибудь значит!

Грех—он липучей колючки с чортовой тещи!

Забирается в человечесью душу незаметно, как лисица в знакомую нору!

Конечно: все может быть.

В то время только-только начали поговаривать про Буркана, который будто в скорости тут после воли разбил камнем на себе кандалы и дал с ка-торги тягу, долгое время разбойничал он по дороге в разных местах, поджигал ради одной забавы барские поместья, чтобы только светлее было ночью в родную сторону пробираться, может, не один год прошел, пока Буркан не добрался и не свел свои страшные счета с барыней Рысачихой, чего, конечно, она от него вполне заслужила,—потом уж он основался в нашем месте полным убойным хозяйством в Раменском лесу, где в свое время нашли после него целую крепость.

Все может быть, но об этом пока речь молчит, надо разобраться во всем по порядку, а то в таком

путаном деле да еще с таким путаным старичком, как Михайла, и сам того гляди запутаешься так, что не толь другие тебе не поверят, а верить и сам себе перестанешь!

Что же касательно возвращения Михайлы, так никто за ним не подсматривал и не проверял его, где, дескать, был старина, и откуда тебя принесло, на самом же деле Михайла действительно пристегал в Чертухино с другого конца, нежели вышел по филимоновому завету из дома,—как раз он воротился в тот год, когда наши мужики после ниловой смерти третье лето только что разменяли, не нанимая пастуха на его место, потому что Мишутка один со стадом справлялся... в тот самый год, когда промеж все же прочим мужики по крайней, конечно, темноте тогдашней и бедной скудоимости в хозяйстве, не находя по одному делу никакого разрешения, вздумали, было, Мишутку сунуть с камнем на шее в Дубну!

* *
* *

А дело такое:

После того, как ухайдакали Нила волки али, может, и в самом деле эти чудные и непонятные никому чеканашки, как говорила мужикам Секлетинья, которая, кстати сказать, была умная баба и если что говорила, так имела к тому свое рассуждение, а промеж слова также надо добавить, что за эту повадку встревать в мужские дела и часто учить

мужиков звали заглазно ее не Секлетиной—а Фу-колкой:

— Фу ты, осподи, каки дураки! Фу, какого дела не понимают!...—и поясняла всегда похоже на этих чеканашек, отчего всякое дело становилось еще темней и непонятней... словом, после секлетиных чеканашек Мишутка остался в стаде как бы полный хозяин, потому грех с Нилом случился в такую пору, когда легче сто рублей найти на дороге, чем подыскать Нилу замену.

Пастухи—народ сезонный!

Идут они внаймы, когда рыба ползет в мережку, и в нашем Чагодуе появляются еще и теперь за неделю до Егорьева дня, когда и можно их видеть, если праздник, у коновязи кругом соборной ограды, а также, если дело после обедни, то и послушать, как слаживают они на хороший голос рожки в ожидании найма, рожки самых разных фасонов и голосов, и большие и маленькие, есть и такие, в которых, как в носу, только две дырки: подголоски; тут пастухам полный выбор, а сойдет Егорий с коня, и за грехи потом нигде не достанешь!

Пришлось, значит, Мишутке волей-неволей пасти одному, да мастерство не ахтишное, мужики сразу сместили, чего стоит Мишутка, к тому же зверь после набега опять присмирел и до самой осени не беспокоил, когда уже поставили скотину на двор.

— Ишь!—радовались мужики.—Сорвал, как дань татарин, и тигалья!

На следующий год перед Егорьем почесали затылки и решили старшего к Мишутке не нанимать.

— Обойдется парнишка! Лишний расход!

Тут и пошло для Мишутки великое испытанье, над которым все головы зря проломали, но так и не доискались причины, пока дело не об'яснилось само.

* * *

В наши сырые, болотинные места дуб и разное другое сухое и гордое дерево разве зайдет только невзначай, вроде как в гости, и то присядет, не видя назад выходу, где повыше да посуше, чтобы не загнить корни в болотной воде.

Корень же у такого дерева, как дорогая обувь, в наших местах больше все ольха да осина, любят они мочежинку, не считая, конечно, сосны и елового леса, ель и сосна на почву так же неразборчивы, как на еду деревенские бабы,—на поларшина у нас по лесам лежит омшарина, на многие версты чистики и прогалины, где только крушина по мху да пахучий богушник, от которого и не дурак одуреет, если понюхает вдоволь, растет там щетиной колдовской белоус и нес'едобный костырь,—словом, по нашему месту мухе, комару и слепню в жаркую пору самое житье, потому что любят они ольху и осину, в которых устраивают гнезда, завертывая пухлые листья в цыгарки.

Как раз, если выдастся жаркое лето, с петровок и почти до Ильи на скотину нападает слепень.

Не простой слепнек, ленивый, а породный, жгучий, едущий до нетерпенья и воистину согласно прозванию: слепень!

С лету он прямо в глаза, в рот тычется, ничего не разбирает, жало впивается сразу, как иголка с огня, а если на пути ни человека, ни животного не встретит, так в злобе куда-нибудь налетит на дерево или хлопнется в куст, принявши его, должно быть, за мужика в зеленой широкой рубахе, которую тот забыл в страде пояском подпоясать, но, открывши ошибку, валится наземь под корень и лежит, пока не сдохнет, кверху ногами,—носятся они в такую пору по косой линейке, как турецкие пули, пущенные из старинной пищали наудалую!

С ними не до работы, на работу поднимаются задолго до солнца, а в жару все спят где-нибудь на зусенышке или в сенях, скотина же, пока не свалит жара, забивается по ворот в воду,—для этого случая издавна ею облюбовано место у нас на Дубне, в аккурат одни рога только видно!

Стоят коровы в водной прохладе и помахивают по привычке хвостами, разбрасывая вокруг себя серебристые брызги, даже глаза от воды повлажняют, слепень же воды боится, плюнет на него мужик, он и то сослепа примет за дождик!

Тут и произошла с пастушонком Мишуткой окаяния, за которую он чуть, было, не заплатил:

пропало у коров полднее молоко, чего с роду родов в селе не бывало, полднєвый удой—самый большой по нашему месту, потому что до полден большая в нагуле упряжка. Сразу со всего села заходили подойники спуста...

— Что за причта?—взахались бабы.—Куды ему подеваться?..

— Наслание,—в первый год темно пояснила им Фуколка.

— Верно, что наслание,—согласились бабы.

В первый год этого происшествия все разговоры и бабы и мужики все же легко пропустили мимо ушей, на второй только стали на Мишутку коситься и подозревать в баловстве, не сдаивает ли, дескать, в землю коров, хотя на баловство такое дело мало похоже, но по третьему, когда история с полднєвым молоком в точности повторилась, как только появились слепни—по летам жары стояли!—Фуколка по своей привычке встрела в это непонятное дело и так его мужикам об'яснила:

— Это, милые вы мои, у нас потому такое наслание, что в люльке мы Мишутку молоком обносили: теперь у нас с Мишуткой не будет до второго пришествия в селе ни творогу, ни сметаны... погоди, еще куры каменные яйца нести будут: в божье нам за то наказанье!

По всей видимости секлєтиньины слова на этот раз большой непонятностью для мужиков не отличались, потому что и в самом деле Мишутку вскор-

мили на скудном куске, но всякий считал себя мало повинным, заползла в темное мужичье сердце угрюмая суровая дума, похожая на осеннюю ночь, в которую с какой хочешь дороги собьешься.

При встречах и разговорах с Мишуткой они в глаза уже ему не глядели, и бабы не совали за пазуху пирогов и ватрушек. Мишутка все это сметил, и у него с каждым днем, вещая недоброе, само будто все ниже падало сердце, когда подгонял он стадо к селу и в сельских воротах крутились на ветру в ожиданьи скотины бабы платки и яркие девичьи подолы.

Как-то раз сидел Мишутка под кустом у дороги, выплетая ивовый лапоть, и одним концом уха услышал разговор:

— Утопить,—говорят мужики,—надо выродка, и молоко появится снова.

По дороге шли кучкой чертухинские бабы, видно, что зря посмурьгали дойла скотине: молоко как на грех не появлялось!

У Мишутки даже под пятками похолодело, и из рук выпал лапоть, решил он в тот же день, как пригонит скотину, сбежать к Порфирию Прокофьевичу, рассказать ему начистую: что-то он скажет?..

Но дьячок выслушал Мишутку возле сторожки, долго сначала мыкал да дакал, а потом все же заговорил по-человечьему, но плохо Мишутку утешил:

— А что? И утопят!—поглядел он на Мишутку, как будто сам хотел его о том же спросить.—

Потому мирской человек вроде как в бессрочном порядке... захотят—в землю зароят, и никакой управы на мир не найдешь, потому: мир! Потому теперь мужику воля! В старину на мужиков барин был поставлен, связаны руки, а теперь каждый баран за свою ногу повешен!

Мишутка слушал Порфирия Прокофьича и утирал кулачком мелкие слезы. Даже слеза со страха пробила, хотя он и не любил распускать нюни на глазах у людей.

— Ну, а промеж прочим,—закончил Порфирий Прокофьич,—надо сказать отцу Федоту! Ступай с богом, Мишутка: бог не позволит, ворон не выключит глаз, осподи, помилуй нас,—перекрестил Мишутку и сам перекрестился,—ступай!

В этот день Мишутка даже вечером не зашел, а от Порфирия Прокофьича с куском хлеба в сумке да грезнем луку за пазухой залучил с села лошадей и отправился прямо в ночное, а для ночного у нас с роду родов определенное место: на самом берегу Дубны, тут же почти за селом, где берег к воде, словно ладошка.

* * *

Сидит Мишутка возле шалаша, в котором от дождика укрывался, и глаз от страха не может сомкнуть ни на минуту.

— Убежать нешто?—спрашивает сам себя.—Куда убежишь?.. Кругом темный лес!

Думается все Мишутке, что вот-вот сейчас придут с села мироеды, накинут на голову мешок, привяжут на ноги камень потяжелше и в воду куда-нибудь под корягу засунут...

А вода... страшно в нее взглянуть!

Но и со стороны села да и по всей округе тоже, куда не обернешься, шороха даже никакого не слышно, такая тишина на всем и истома после петровского зноя, спит и птица без крыльев, уронивши их на сторону, и зверь ног не слышит, только лошади жупрят траву, подрезая ее зубами под корешок, словно кто спешит в валенках по морозцу, поскрипывает у них на зубах,—прислушивается Мишутка, нет—послышалось, только вон болотная курочка в мочежине у выгона похлестывает резким голоском по осоке, рядом с ней дергач в кусту важно хрипит, будто после долгого запоя муж урезонивает сварливую жену... и на небе такая ясность и чистота, облачка нигде не висит, и по небесному прекрасному лику тени даже нигде не проскользнет, разве лишний лучик с какой звезды оборвется...

Словно в хорошей избе перед праздником хозяйка-чистеха смахнула веничком изо всех углов паутину, вымела сор и навела на всем приглядность и порядок, встепливши в красном углу большую лампаду... встала над лесом луна, смотрит она немного боком на землю, и как-то без слов понятна несмысленному сердцу Мишутки ее скорбная горькая улыбка над миром.

Вода же в свету от луны как будто пуше того потемнела, как неживые чуть колышались у берега водяные лилии и бубенчики, вода в такой час как колдунье лицо, ничего в ней не видно, но только чего-чего в ней не увидишь!

Но Мишутка, видно, еще с малых лет был такой человек, который во всем и всегда умел видеть то, что ему надо, отчего ему прямая выгода и самая нужная польза, а потому хоть и был в печальных чувствах и страхе после разговора с дьячком, а все же, когда пропели в Чертухине первые петухи и за ними тут же вдогонку, спеша справить свой петуший чин в недолгую летнюю ночь, вторые,—когда после них за колокольной небольшой щелкой чуть приоткрылось золотое окно, а с реки стал заметно завиваться парок,—все же правильно разглядел Мишутка и чуть, было, не вскрикнул от удивления и неожиданности, но по той же природной жилке только губу закусил: почитай у самых ног Мишутки лежал на песчаной отмели большой сомина на боку, рот разинул, видно, что в воде стало тяжело, тяжело дышит, один ус совсем на берег вылез.

— Ба...тюшки!—прошептал только Мишутка.

Сторожко, чтобы не поугагать сонного чудища, поднялся Мишутка с корточек, отошел от воды на цыпочках, поднявши над головой руки, словно шел по веревке, и, выбравшись на берег, со всех ног пустился в село...

— Скличу народ,—мерекает на бегу Мишутка,—покажу сома, может, пролежит до прихода... за такого сома, може, топить погодят, а то и вовсе не будут!

* * *

У самой околицы, еще не забегая в село, Мишутка наткнулся на Порфирия Прокофьича: стоял он, прислонившись горбом к поворе, уставившись недвижно в сторону Янтарного Брода, где он часто любил удить мелкую рыбу для живцов на жерлицы... на плече длинная палка, с конца палка расставила в самое небо прямые рогули, не узнал, было, сперва Мишутка дьячка: почему он тут в такую раннюю пору с своей острогой? С острогой он с вечера выезжает на лодке?..

— Должно, что где-нибудь к творогу лещей приучил.

Но обо всем где же было догадаться Мишутке: дьячок с вечера, после разговора с Мишуткой, проворочался зря на постели, то ли блохи к погоде раскусались, то ли и в самом деле беспокойство такое одолело—а вдруг ребятенку утопят?—вышел он в полночь к сельским воротам и на всякий случай прихватил с собой острогу, а то к чему она в такую неподходящую пору, известно, что Порфирий Прокофьич большой дóка по рыбе и понимает тонко рыбную ловлю; в первые дни, как пройдет лед на Дубне, его от воды не оттащишь, развешает вокруг

сторожки сети на изгородку, заштопает каждую дырку, настроит заездков в заводинах из разного лома, оставив только жерло—проход для рыбы, куда насует верш и мережек, на рыбу была у него большая удача...

— Дядь Порфир, а дядь Порфир?—шопотком окликнул его Мишутка, когда в упор набежал на дьячка.

— Ты чего, полуночник?—тоже почему-то прошептал Порфирий Прокофьич.

— Дядь Порфир: у берега сом!—еле передохнул Мишутка.

— Ну... какой сом... сомы теперь под берегом спят, где поглубже... небось, бревно торчит из воды, а ты со страху за сома его принял!

— Ей-бо, дядь Порфир, слушай: усы лежат на песке!

— Усы?—удивился дьячок и шевельнул острой.

— Ей-бо: вот такие!—Мишутка расставил на обе стороны руки.

— Если усы, так, пожалуй, и сом! Ну-ка, кати обратно! Показывай эти усы!

— Только ты тише, дядя Профир: я нето народ позову! Може, лучше народом!

Но в дьячке уже заиграла охотничья кровь, не ответил он ничего Мишутке и с острой на плече, заправивши полы подрясника сбоку, широкими шагами зашагал к ночному, откуда тилинькали колокольчики.

Подкрался Порфирий Прокофьич к берегу, в то место, куда указал Мишутка, рот разинул, словно языка лишился.

— Какой сомина!—шепчет он в мишуткино ухо.—Давай сюда кнут, вот за этот пень завяжи, а я другой конец сварю с острогой, а то попадешь не в то место, и острогу да, гляди, и нас с тобой вместе утащит!

У Мишутки руки тряслись, боялся, как бы сом не ушел, но видно, что так уж надо было всему случиться: спустился Порфирий Прокофьич к воде, поднял острогу и со всего размаху всадил ее по черенок в большую голову, сом только хвостом над водой закинул, рванулся, было, от берега, но острога крепко засела в голове зубилами, а кнут был к случаю достаточно длинен и крепок.

— Не, брат,—крикнул Порфирий Прокофьич,—не-ет: не с дураками связался! Мишутка, беги скорей за народом, а то кнут, гляди, оборвет!

Но, видно, недаром был Порфирий Прокофьич с малых лет рыболовом, может, и горб-то у него произошел от застуды, засадил он сому острогу под самый его сомовий разум: отдал он последнее издыхание утренней, чуть позолоченной струе, повернулся скороверху лосным откормленным брюхом, Порфирий Прокофьич отпустил кнут с острогой, глядит: не шевельнется, только воду редко глотает, перекрестился дьячок и спокойно по обычаю после удачи полез в боковой карман, где у него лежал большой

красный платок и в платке жестяная коробочка с нюхательным табаком, стукнул Порфирий Прокофьич весело по крышке желтым пальцем и уселся на бережку в ожидании мужиков.

— Да,—мекает он,—пудов десять будет... ай да Мишутка!

Чудно дьячку смотреть на рыбину, сколько лет прожил, а такого чудища еще не видал, сколько, кажется, рыбы большой и малой за долгий свой век переловил, а такой не видывал...

— Не рыбина, а как купец хороший: только щепочки от часов через брюхо не хватает,—довольно улыбается Порфирий Прокофьич, забирая щепотку.

* * *

... Солнышко золотым зайчиком вскочило из-под куста, где-то совсем, кажется, за Чертухиным близко выбивает красной лапкой веселую летнюю зорю, в лучах от него бегут к реке мужики, впереди всех Семен Родионыч, глаза—издали видно—выкатились, в руках большой топор горит лезвием к солнцу, остальные тоже простоволосые, вскоченные, рубахами без поясков на бегу полощут, издали кричат Порфирию Прокофьичу:

— Держи, Прокопич, держи его крепче!

— Не уйдет,—переминает губами Порфирий Прокофьич и сладко чихает.

— Где сом?—первый добежал Семен Родионыч.

— А эн он,—спокойно ответил дьячок,—что ж ты, не видишь?

— А я издали думал, что лодка!..

— Да, можно подумать,—равнодушно согласился Порфирий Прокофьич.

— Батюшки-и!—заахали подбежавшие мужики.— Матушки родимые, вот так сомина! Ну, и ловко: ай да Прокопич!

— Да и совсем не Прокопич... Это мишуткино дело!—перебил их недовольно дьячок.—Ну, теперь, православные, полезай да кати его катком на берег, а то за кнут не вытянешь да и неравно оборвешь!

Мужики ухнули в воду, подперлись под сома плечами и покатали по отмели на берег. И в самом деле оказалась страшная рыба, главное дело, больно толст и мясист, брюхо в обхват не возьмешь и голова с разинутой пастью как окоренок.

— Не иначе, Прокопич, надо подводу,—говорит дьячку Семен Родионыч,—а то не снесешь!

— Это как есть, что подводу, а допрежь ему брюхо надо на улицу вывалить, а то сом разную пищу употребляет, как бы от него снутри дух не пошел... дай-кась, Родионыч, топор!

Хряснул дьячок со всего размаху сома в середину, и из него полилось молоко... у мужиков глаза вылезли на лоб.

— Это будет что же такое... какая пищия, Прокопич?..

— И-и-и,—протянул Порфирий Прокофьич,—вот кто доил на полднях молочко... Ай да и умник!

— Ай и в самом деле?—сперва не поверили мужики.

— Выпоек!—радостно опять замахнулся дьячок на сома.—Ишь надулся, никак до главной кишки не долезешь!

Ударил Порфирий Прокофьич еще и еще, и под ноги к мужикам вывалился из сомовой брюхаины свежий творог, видно, молоко уже скисло, но перевариться еще все не успело с полден, мужики только головами качали да одурело прятали от Мишутки глаза.

— Вот вам, православные,—весело говорит Порфирий Прокофьич,— вот вам и творожок ваш на бережок, и сметаны набивайте в карманы!

— Ишь ведь,—skonфузились мужики,—какая умная рыба... приладилась вместо баб коров сдаивать!

— Корова—дура... ей и заботы мало, кто ее за титьку тянет!

— Теперь видно, что дура... да и мы, Прокопич, тоже дураки...

— Дураки, да не таки!

— Ведь Мишутку-то чуть не погубили...—оборотились мужики к Мишутке, но тот глядел на сома широко раскрытыми глазами и словно мужиков не расслышал.

— Ладно,—ответил Порфирий Прокофьич,— берите, православные, сома во дома!

— А будь он, Прокопич, на том месте!—в один голос сказали мужики.—На какой грех нас, греховодник, чуть не натырил!

Чудна мужичья душа, воистину верно: так и пролежал сом на берегу, пока его по косточке не растаскали вороны.

ГЛАВА. ЧЕТВЕРТАЯ.

ЧЕРНАЯ СИЛА.

ЗНАКОМЫЙ СТАРИЧОК.

Лениво катится деревенское время!..

Кажется подчас мужику, особенно когда всякое дело подходит к благому концу, и надо уже забираться на полати с ногами, когда почнет из дня в день за окном моросить частый дождик, похожий на бабьи безмолвные слезы, а где-то за лесом, должно быть, на пойме или на Светлом, еще с утра завязнет по самые ступки последнее низкое колесо золотой радуги и так и провисит за дождевой дерюжкой почитай до вечера,—кажется тогда, что и время само остановилось, и не выдраться из болота радужной телеге, а вот нахлобучится на всю землю дождливая темь, и сколько ни лежи, подложивши под голову руки, а не дождешься рассвета,—тогда мужик ворочается с боку на бок, и зря в стороне от божницы на стене тикают засиженные мухами часы с царем на циферблате, вытянувши в темноту тонкие усики стрелок, кажется тогда, что считают они

не минуты, а неровные колотки в левой груди, где хоронится сердце и откуда разливается по всему телу после страды лихая ломота...

Уж не с того ли оспода в старое время и прозвали мужика ленивым, прохаживаясь ему кнутом по спине, хотя и для бар и для мужиков время течет по-одинаковому, согласно своему заведению, ночь же кажется длинной только тому, кому на работе дня не хватает... несмотря на ленивое время, мужик все же редко когда его замечает, угадывая на глазок по солнцу после утренней упряжки в работе время обедать да с укоризной глядя на часы в темноту, когда к осени разноется поясница и ноги так заломит к погоде, что готов их еще живым отдать за грехи...

А так, жизнь пройдет—не заметит!

Кажется, недавно полосу сеял, совсем вот вчера расчесывал зеленую косу на луговине, словно невесте, а тут дело, гляди, подкатило к расчету, и надо собираться в дорогу, с которой никому уже нет возвращения...

Так же незаметно пробежали, несмотря на колотьбу и лихое сиротство, и мишуткины годы, скоро приспел ему срок, в который, по слову Порфирия Прокофьяча, перестают ограждать человека две главные молитовки от всякой беды и напасти, и каждому надо уже приниматься за целый псалтырь

Стукнуло Мишутке десять годов, перевалило на одиннадцатый, а всякий, и не такой, как Мишутка.

который по смысленности раньше времени все в жизни высмотрел да вызнал, всякий с этим годом становится впервые на обе ноги, еще протягивая в духовной темноте невинные руки, как бы щупая впереди дорогу и землю: отломится от жизни первый несмысленный десяток, и редко когда к этому сроку из носу мальчишки висит индючья сопля, редко еще сохранится тупая чистота удивленного и как бы перепуганного миром детского взгляда, волос на голове сам уже начнет примериваться в скобочку, укладываясь посередке в пробор, и в зеленом еще глазу в самом уголке, как светляк в траве, загорится грешный, человеческий, ненасытимый огонь...

После истории с полднёвым сомом к тому же пошло у Мишутки все как нельзя лучше, историй никаких таких еще не случалось, мужики жили в тишине и отдаленности, и только стороной шли слухи, что верст за двадцать от нас али даже поболе проявилась большая разбойничья шайка, и часто по осенним ночам в сторону Чагодую, где было поболе осподских поместий и где почаще проезжали с товаром купцы, стлалось по беспроглядному небу широкое зарево, похожее на рваную поповскую ризу, которую осенний ветер уносит на небо...

Но в самом Чертухине или где поблизости этих разбойников и в глаза не видали, знали только по слухам и первое время даже верили мало, махали руками, когда заходил про них со стороны разговор.

Это потом уж, спустя, когда душегубов выкурили из Раменского леса и они перешли поближе к нашему месту, начальство поставило на въезде в Чертухино высокий столб, крашенный в черную краску с красной каемкой и с дощечкой на самом верху, на которой было выписано четкое слово: „Разбой“.

Берегись, значит, проезжий купец, держи хорошенько у сердца кошель, а простой прохожий кисет с табаком да христианскую душу!

Однажды, совсем в скорости после случая с полднёвым молоком, выгонял Мишутка из леса сельское стадо...

Денек выдался хмурый, недвижно висели на небе слоистые тучки, как морщинки под глазами у доброй старухи, и по краю над землей, где Гусенки, словно завешено небо рядниной, из-за которой высунул кто-то бороду с проседью и с крутым заворотом у самой земли... веяла оттуда чуть уследимая прохлада, незримой рукой проводившая нежно по каждой травинке, и на всем лежало бездумное спокойствие и тишина, согнулся сонно вершинами чертухинский лес, на опушке ольхи напряжили в безветрии зеленые горбы, неся свою ношу, и только редко проковыляет над головой ворона обомлелым перед дождем крылом, каркая во все стороны и раздувая зоб, не зная еще, с какой стороны навстречу найдет дождливая туча.

Мишутка стоял на опушке, перебирая пальчиками немудреные лады на рябиновой дудке, тюрлыкает она под пальчиками рябиновым, детским своим голоском, и откликается ей в лесу дрозд-певун, и в лад ей вышагивают из леса одна за другой грузные коровы на берег зеленого моря, скачут стройные телки через дорогу, как на смотре, помахивая перед Мишуткой по лошадиной привычке гривами, выходят степенно деревенские кони, и с боков вразброд небольшими кучками, истошно блея и бессмысленно нарушая тишину непогожего дня, ненужно мечутся по кустам шалые овцы...

Хорошо у Мишутки наладилось дело: смекнул он, что мужики сильно пристыжены и долгое время будут помнить сомовый творог и сметану, кормили Мишутку теперь вдосталь, при встречах никто без ласкового слова не пройдет, всякий о чем-нибудь спросит и так поговорит, словно каждый винулся, еще не совсем потеряв подозренье, как бы Мишутка в отместку с коровой или лошастью не натворил чего в стаде.

Мишутка же, видя такую перемену, еще больше старался, чтобы угодить мужикам, хорошо он привесился к делу и хотя поднаторел в счете и в письме за долгие зимы у Порфирия Прокофьича не хуже большого, но стадо поверял всегда на глаз: словно воткнется сорина, само зачешется веко, если не хватит какого-нибудь коровьего бока, на котором привычно, как в книге, отпечатано по бурому белое

яблоко, или затеряется в лесу где-нибудь в малинике вышитая крапинками коврижка с конского крупа,—тогда Мишутка, пересчитавши все стадо и найдя недостачу, кинется опрометью в лес и в не-
долгое время разыщет где-нибудь неподалеку от опушки на свежей отаве телку или озорную кобылу, которым вместе со всеми не ходится в стаде.

Проводил он на этот раз все стадо до последней овечки к селу, возле забора ложилось стадо на полдни, по пастушьей привычке прикрикнул в шутку на старую родинону корову, плетущуюся и к дурной и к хорошей погоде, несмотря на масть цветом под весеннюю зорю, всегда в хвосте стада, и думал уже забираться в шалаш в сладком ожидании потянуться на соломенном снопу, пока не принесут из села чередовых щей со снетками и рассыпчатой на самом дне миски с салом грешневой каши, с которой не только на мальчонку, а и на бородатого мужика нападает сонливость,—но не успел Мишутка повернуть от дороги на полдни, как вдруг совсем у себя за спиной услышал тихий голосок, как будто слышанный когда-то не то наяву, не то в полуяви и потому отчетливо и сильно знакомый:

— Здорово, касатик!

Мишутка вздрогнул и обернулся, схватившись за кнут, но не сразу ответил: на дороге стоял старичок.

С той же высокой, выше головы с загогулиной, палкой, так же из-за загорба выглядывает заячьим

ухом завязанная тесемкой сума, глаза зеленые, и слеза из них бьет, старичок вроде как и в самом деле знакомый, но признаваться в этом Мишутке по природной его осторожке не захотелось, потому он только глянул ему под ноги и отвернулся...

— Здорово, говорю, касатик! Ты чей это будешь?

— Дядин!— нехотя Мишутка ответил.

— Чей, говоришь: не слышу!— оперся старичок о палку.

— Мирской!— сердито покосился Мишутка на старика.— А ты сам откуда?

— Я-то? Человек грешный и сам нездешный!

— Чего же ты тут потерял?

— Милостыньку собираю: где бы тут на Чертухино вытти? Ох, милоч, милоч: паренек-то ты, я вижу, с разумком!

Хорошо помнил еще Мишутка, какой конец был у покойника Нила, глядит он исподлобья на старичка, и трудно ему теперь поверить, чтобы такой сморчок управился с таким великаном... хотя тоже широкие плечи и руки висят ниже коленок и ладошки на руках—захватывают в горсть, так, видно, своего не упустят!..

— В Чертухино, говорю, трафлю, да вот хорошенько не знаю дорогу! Ишь ведь, как было, так все и осталось без малого измененья, только тут вот раньше вроде как кустики были, а сейчас,

гляжу, какой лесина, ольха да осина, ничего впереди не видать!

— Дорога известная,—строго вставил Мишутка.

— Ой, не видать... не видать!.. все лес да лес... и за лесом—лес!

— Знатный лесяще!—согласился Мишутка.

— Да: лесок—и част и высок! Да чей же ты будешь?

— Мы сироты!—печально ответил Мишутка.

— Ох, сироты, сироты, входите в любые восторы! Парнек-то ты, я вижу, со смекалкой: ишь пастушок, а от земли вершок!

— Били скалкой, оттого и со смекалкой,—улыбнулся Мишутка на старичка.

— Да уж: будет душа плутовкой, коли бьют по темю мутовкой! Шел бы ты лучше ко мне в поводири, чем задаром играть на рябиновой дудке...а?

— Дудка, дедушка, тоже не шутка!

— Шутка ли дело?.. только сухая-то ложка и крашенная глотку садит! Так ли говорю?..

Мишутка нахмурился и без того хмурым своим лицом и, словно размышляя, уставился себе под ноги, лишаистый он, заветренный, ноги безо всякой обуви, в цыпках от едучей росы, словно истыканы иголкой, волосенки как выдранные, и только глаза глядят исподлобья, как у большого, со смыслом, смекалистые и юркие, дымчатые такие по цвету, как два полевых мышонка, и губы тонкие, строгие и не безучастные, как у всех деревенских сопляков,

а подобранные, и возле них уже залегла горькая, ехидная и хитрая морщинка, словно завязанный в мертвую петельку небольшой узелок.

— А, милоч? Что старичку скажешь?..

Мишутка отступил было шага на два, как будто собирался убежать, но остановился.

— Подадут грош,—переминулся и старичок с ноги на ногу,—и тот хорош, а тут, небось, и гроша не видит душа!

Но Мишутка и глазом не повел на старичка, шевелит что-то губами и пальцы перебирает на руках, словно высчитывая что-то и выкладывая в детском разумку, потом огляделся кругом и, видно заметив далеко уже ушедшее стадо, схватился за кнут и опрометью бросился в кусты:

— А ну тебя, старый шишига!—крикнул Мишутка баском.

— Заботный парнишка! Не мальчишка, а клад,—почакал ему вслед старичок головой и неторопливо пошел в ту же сторону по дороге, ковыряя палочкой пыль...

ИУДИНО ДРЕВО.

Сначала, когда старичок показался на середке села, так никто глазам не поверил: подумали—привиденье сошло на народ!

Сельские ребята играли на выгоне в лапту,—увидавши чудного странника, вздумали было его

подразнить, но он даже взгляда не кинул на них, когда же бабы, какие в это время случились у колодца, закричали не своими голосами и бросили ведра с водой и коромысла, разбегаясь по задворкам, мелюзга от испуга тоже забилась в крапиву:

— С того света Михайла пришел! Михай-йла!— неслось по всему селу из конца в конец, улицу сразу как подмели, даже куры бросились с клохтом к дворам, и с подворотен жалобно взлайнули собаки: вернулся, смертеныйш!

Дьячок Порфирий Прокофьич как раз выходил в это время от Родиона, у которого получил свои три целковых, положенные ему в жалованье от прихода. Пошурился он на улицу и, увидав Михайлу, хотя не знал его так-то вдоль и поперек, как все у нас знали, от непонятного страху подобрал полы подрысника и пустился бежать; хотел было ударить в набат, но от неожиданности и перепуга побежал совсем в другую сторону и только когда оступился о кочку возле овинов, осмотрелся и сообразил ошибку, но бежать на колокольню раздумал, привстал за угол риги, путаясь в подрыснике, словно в хвосте, и долго смотрел из-под щитка, что творится на селе с приходом Михайлы.

По счастью для Порфирия Прокофьича набежал вдруг с закатной стороны шумливый ветерок, сначала поднял пыль на дороге, в которой на минуту пропал и Михайла, и с ним вся середина села, а потом пыль осела на огороды, и в небе над самым

Чертухиным продырилась синяя прореха, в которую только разве попу Федоту кудлы просунуть, все Чертухино сразу просветилось и помолодело, и на самую лысинку Михайлы спорхнул с неба золотой голубок, замахавши над ним радостно еле зримыми крылышками, по соломенным и тесовым крышам ударил искристый свет, а повыше крыш через все Чертухино перегнулась большая дуга, одним концом упираясь где-то у церкви, а другим перекинувшись далеко в леса, за которыми шумит синее море, откуда и берет дуга-радуга на небо воду.

— К дождю!—перекрестился Порфирий Прокофьевич, пощупал в кармане бумажку, взглянул на пузатый купол на колокольне и словно забыл про Михайлу.

А Михайла шел и шел по середке улицы, по слепоте своей не замечая ни переполоха на селе, ни золотого лучика над обветренной плешью, пока не добрался до Фоки Родионыча, николаевского солдата, который сидел на крылечке, недавно перед этим вернувшись из-под турка с одною ногой.

— Никак это дедушка Михайла!—оглядел Фока Святого, делов всех про него Фока не знал, а то бы, может, тоже под печку забился,—а ведь он... он... Святой! Дедушка Михайла!—окрикнул Фока Михайлу.—Заворачивай: откуда это тебя принесло?..

— Доброго добра, добрый челэк!—остановился Михайла.—Никак будет Фока Родионыч?.. Доброго добра!

Тут все и разглядели, что и в самом деле: Михайла!

В живом своем виде подошел к фокиному крыльцу и сел совсем с ним рядышком, и как это Фока не боится, но, видно, навидался человек на войне всякой страсти, ноги даже лишился, и теперь никакие мертвецы ему уже нипочем!

— Михайла!—показывали бабы друг дружке, все еще боясь подойти поближе.—Фока... а он сбоку! Как бы чего не было Фоке?..

Но Михайла каким был, таким и остался: моргает он на Фоку слезливыми глазами и палочкой показывает в ту сторону, где у него раньше стоял, какой ни на есть, свой домишка, а теперь растет широколистный лопух и красноголовый Иван-чай которым бабы морют клопов: совсем, кажется, еще недавно пропало из лопуха огородное чучело, целевшее чудом во время пожара, оборвали его осенние ветры, размочили дожди и галки по лоскуткам разнесли, должно быть, по гнездам!

Мужики, проходя мимо этого места, чурались!

Не диво, что перепугались Михайлы...

Но понемножку обосмелели, и бочком да из-за углов скоро собралось к Михайле все Чертухино.

— Михайле Иванычу!—не в меру учтиво здоровались с ним мужики, кланяясь со сложенными на груди руками.—Как живешь да здравствуешь?..

— Наша жисть известная,—одно и то же отвечал всем Михайла,—доброго добра, добрые люди!

Начались тут охи, ахи, расспросы, как да откуда, хотя в таких случаях мужики друг дружку не слушают, и только старается сам каждый как можно больше наговорить, чтобы слушали его, благо много народу, потому что он больше всех знает и все ему доподлинно верно известно, до самого вечера шла толкотня, про сенокос даже забыли ради того невиданного случая, но ни похарчиться, ни отдохнуть с дороги никто к себе не позвал: так и просидел Михайла на крыльце у Фоки, пока Мишутка не пригнал стадо из леса.

* * *

Только потом уж, когда чуть обькся по приходе домой, Михайла узнал все по порядку, что случилось за эти долгие годы: по видимости много кой-чего приложили, потому что самого Михайлу поначалу все перепугались и с перепугу да неожиданности может и переврали...

Вышло по разговорам все так, что Марья умерла, как мы и рассказывали, родами, а сам Михайла... али теперь уж не Михайла, а кто-нибудь другой за него, потому что Михайла, как он и сам видит то хорошо, бог знает откуда вернулся,—не вынес тогда истощенного крика, которым исходила Марья сподряд неделю перед родами, и удавился с горя, что никак молодая жена не разродится, в чертухинском лесу на осине: тогда-то, конечное дело, подумали все

на Михайлу, потому что кому же взбредет охота за другого давиться, а теперь уж ума никто не приложит: на что тут подумать?..

Михайла, когда дело дошло до этой осины, осел на глазах у всего села крестным знаменем и выронил такие никому непонятные слова:

— За эту осину слава отцу и сыну!

Мужики переглянулись, бабы толкнули сзади друг дружку, а что означает такое слово, никто Михайлу расспросить не решился, потом рассказали попу Федоту, но тот только головой помотал, потому что произошел разговор с попом очень не к разу: у попа были налиты зеньки!

— А шут,—говорит,—его разберет! На осине по писанию удавился Иуда!

Так и не могли догадаться, что хотел сказать Михайла про эту осину, стоит она у всех в памяти, и память об ней у всех, как живая, кого хочешь спроси, всякий то же самое скажет и даже осину покажет в лесу, к которой подходить долгое время опасались, потому что велик был страх и удивление, хотя еще удивительнее и чуднее теперь, когда Михайла живой, можно пощупать, как ни в чем не бывало, вернулся!

Мишутка же, когда узнал, что Михайла и есть тот самый папанька, за которого его столько времени мальчишки дразнили, в первый раз на людях схватился за глаза и, зашедши за угол первого дома, долго за ним простоял, делая вид, что

сердится и признавать Михайлу не хочет, пока сам Михайла не подошел и не тронул его за плечо:

— Пойдем-ка, сынок, в салаш к стаду, у чужого плетня и тени хорошей не сыщешь!

Мишутка отер кулачками глаза, и с той поры спали они на берегу Дубны, в шалаше, где у нас спокон веку пасется ночное.

Так все и пошло по-старому, Мишутка, как и прежде, пас сельское стадо, а Михайла с палочкой обходил округу за подаяньем и продавал мироедам по полушке за три фунта куски.

* * *

По возвращении домой пуще всего одолели Михайлу расспросы, как да что, такой дотошный и неспокойный народ, но мало чего от него дотолкались: тае да таё, дело не мое, старик вернулся совсем невразумительный, быстротой речи и соображения Михайла не отличался и раньше, кто его помнит, а тут и совсем из человека слова не вытянешь, только бородой трясет и глазами слезоточит, дескать:

— Правильно... верно! Чего могут тут говорить когда и без разговору все ясно!

Только палочку свою перебирает в руках, и уж не прежняя михайлова палочка, которую хорошо знал всяк и каждый, не один раз держа ее из пустого любопытства в руках, а из некоего заморского

древа, у которого древесина похожа на человеческое тело с содранной кожей, перевита она бугорками, как будто под первым слоем спрятаны жилы, по жилам токает кровь и хоронится жизнь: на таком-то древе, а совсем не на осине, как говорит неразумный поп Федот, в старину удавился Иуда, в той стороне осину за сто рублей не найдешь, темный корень у этого дерева, и сидит оно на добрую сажень в земле, а цветет очень красиво, увешается весной цветами—не нагладишься, и цветы на нем похожи на слезы, а также в дереве крепость большая—посоху такому износу не будет, и человека с таким посошком, если встретится где на дороге, смерть до время обходит!

— Выбрал дерево тоже, — осудил поп Федот, когда до него дошел разговор, сам он отгонял от окна Михайлу, когда тот ненароком у попа за куском постучится, а попадья даже плевала вдогонку и крестила порог,—нечего сказать! И какой дурак прозвал Михайлу Святым, среди святых удушенных вроде как не бывало!

— Да оно что верно то верно, — качали головами мужики, — а все же?

Словом, с самого прихода Михайлы люди стали его сильно чураться, хотя никому вреда он не делал, ждали первое время, что Михайла кил всем насадит или посеет по первому грибному дождичку под окнами мертвый волдырь, который иногда сам по себе всходит к осени на луговинах и набит такой

похожей на нюхательный табачок мукой: ее-то и разносит ветер по дорогам, и если грехом набьется под нос с этого ветру, так и глаза будут слезиться и одолеет икота и чих; но никакой хвори по видимости Михайла с собой не принес, подойдет только, постучит иудиной палочкой в окошко и подавня попросит, поклонится за черствый кусок глубоким поклоном и мимо, худого слова не скажет, а в избу к кому попроситься кости погреть или так помолиться хотя бы на образ, — видно, боится.

— Ишь дело какое, — провозжали Михайлу отовсюду глаза, — люди считают, что он вроде как помер, а Михайла, знай себе, собирает куски!

Так против всяких законов и обычаев Михайла и просбирал до глубокой осени, а люди вспоминали про Марью, про осину, на которой, правда, когда сбежались, так самого удавленника хотя не нашли, но это теперь значило мало, потому что с сучка болтался поясок с оборванной петлей, а иные и так говорили, что сам-то сук вроде как у ствола подломился и концом лежал на самой земле, а перед этим на пояске, что уж доподлинно верно, видели все человека, который был как две капли похож на Михайлу, хотя, как теперь вот выходит, никогда Михайлой и не был!

— Чудной человек! — говорили и мужики и бабы в конце таких разговоров, — не объяснит ничего толком, не расскажет по совести, все тае да таё, дело не мое, а людям и вовсе нет дела!

— Я вот его на духу всего выежу!—утешал мужиков при случае поп Федот.—Наизнанку всего выворочу кверху шубниной!

Но так и не пришлось попу Федоту прогнать в греховное сито трудную душу Михайлы, по всему видно, рассчитывал он обосноваться в природном месте, нашедши мальчонку при деле, но не утерпел косого да кривого, с которого кусок в глотку не полезет и язык, как нужно, во рту не повернется, и под осень, когда полетели белые мухи и кончилась мишуткина пастушня, ушел с Мишуткой, выбравши как-то непогожий, ветреный вечер...

Ушел, ни с кем даже не попрощался.

Ушел Михайла теперь уже навсегда, в нашем Чертухине по-тò только его и видели.

— Ишь,—решили равнодушно в селе,—пришел не по што, ушел ни с чем!

Обрадовались даже как будто сначала, когда открыли исчезновение Михайлы, а потом сильно пожалели, но тут уж дело касалось не самого Михайлы, а его парнишки Мишутки: хороший пастух, к тому же за пастушню ему только кормеж шел по чередам, выхожен был миром и приючен в сиротстве!

— Старик-то что... не велик прок, а вот Мишутка, так да-а!

Мишутка же, видно, к этой поре совсем хорошо размякнул, что и в самом деле задарма играть на рябиновой дудке коровам не большая корысть, лучше уж Лазаря тянуть возле отца, что же касательно того,

что выкормыш, так это доброе дело, и за него всему селу на том свете зачтется!

Недаром и поп Федот всегда при случае говорил:

— Это зачтется: в книгу записано будет!

Но мужиков мало и то утешало:

— Эх упустили! — жаловались они попу Федоту. — Ведь как обошел, старый чорт, как кругом без телеги об'ехал!..

— Да-а... — тянул поп Федот, раздувая щетинные скулы.

— Вот уж, действительно, правильно — верно сказано, что тихая молитва не слышна, да доходна!

— Эх, жалко, вот, поста великого не дождался, — причмокивал сожалительно поп Федот, ворочая большими глазами и шумя, как осокой в болоте, мухортой бородой, — я бы его по косточке!

— Я бы... я бы, — думали про себя, отвернувшись от попа, мужики, — а пастуха-то вот нет, и такого за большие деньги не сыщешь!

* * *

В конце всех концов в Чертухине так порешили, что приходил, по всему судя, совсем не Михайла, потому что Михайла удавился ровно будет тому назад десять с малым годов на осине и был недаром по прозванию Святой, обмана да хитрости за ним не замечали, и всякого сам Михайла боялся, пока

не попутал его сам шут с нищенкой Марьей, а этот пришел бог знает откуда, да еще с палочкой из иудина древа, которого Михайла по святости своей бы рукой не коснулся,—приходил, де, по всему михайлов батрак, принявший облик Михайлы, о котором много в свое время болтали, а тут совсем некстати забыли, ну, а теперь хоть и вспомнили, да было уж поздно!

Первое время хотели даже наладить погоню, чтобы от михайлова батрака Мишутку отбить, но как было решиться: как бы чего не случилось в дороге, потому что, по всей видимости, михайлов батрак не отдал бы задаром Мишутку, дело же касалось всех и каждого, потолкали только друг дружку в бока, потому что в таких делах мужик и до сей поры большой соли не видит...

К тому же тут вскоре после Покрова, когда в деревнях по старине кончали пасти стадо, вывалил снег сразу на поларшина и с первой же пороши заладил каждый день без отдыха и передыху. Кончился снег, мороз важный ударил, по утрам, лениво вылезая из печки, подолгу застаивался на одной ножке дым над крышами, розовея густой шапкой на солнце высоко под небом, завалило по ворот лес, дороги с летника ссунуло в бок на лужайки, и по лужайкам поплыли-поплыли большие сугробы, как белые лебеди в песне по морю, упирая белые лебединые груди в закуты, в заворы, под соломенные застрехи крыш... засело в лебедином пуху Чертухино по

самые уши, где уж тут из дома итти бог знает какую даль, в сарай едва пролезешь за сеном!

Только уж и отважились по этому делу наказать Секлетьинье, когда та по обету в поминовение мужа собралась в обычное свое богомолье:

— Ты, Склетинья, неравно там догляди.

— Без вас, дураков, знаю,—отпалила мужикам Секлетьинья,—ученого учить только портить: фефи!

А и в самом деле жалко... жалко, что упустили!

Коснись дело на теперешний разум, повернулось бы все другой стороной, потому нарушен был мирской интерес: высидели, можно сказать, всем обществом змеиное яйцо себе на утеху!

МИШУТКИНА ТАЙНА.

Да, уж такая это история, и мы тут совсем не при чем!

Спутаны в ней все концы и начала не хуже, чем в любом житии!

Да и как же тут не перепутаться концам и началам в таком темном приютище, обложенном кругом непроходимыми болотами, непролазными лосиными чащами, словно вековым врагом!

Надо также то только подумать, прежде чем осудить мужика, кто над ним покоя века не казался, кто не мудровал над его дурной головой?..

И барин и татарин, все посидели—благо широкая—у мужика на спине!

Взбиты вихры у него на затылке от этих поседок, а голова ведь тоже не мякиной набита, если по правде сказать, так в ней ни одной дырки не сыщешь, сметливая она и упорная и похожа на старинный добротный замок с хитрым и замысловатым отпором. а осторожка его вечная и боязность перед всем и перед всяким от вековой маяты и лихоты: иной, глядишь, не мужик, а картина, и хмельного много не потребляет, и сила—медведю завидно, а как случится с базара проезжать под осень по темному лесу, когда ветер звонит, раскачивая голые сучья, словно пьяный звонарь веревки на колокольне,—так сразу сделается размазня размазней, от страха даже за ухо натычет крестов!

Не мудрено: в люльке еще в благой час перепуган!

И чего только в такую минуту не привидится, не примерещится ему за дорогу, ну, зато, вернувшись домой, порасскажет!

Чего же тогда дивного в том, что про барина Бачурина столько разной всячинки наворотили, кто ради того же страху, кто же стараясь сказать одну сущую правду, но и правда, видно, такая была, что походила больше на выдумку и небылицу.

Легко только сказать: барин Бачурин!

Откуда у него появилось такое богатство?

Из-за этого богатства все и дело: кому же богатым не хочется быть!



На этот раз Секлетьинья что-то долго проходила и когда вернулась с богомолья, все село сбежалось к ней в избу.

— Богу молясь, Склетьинья, с богомольем тебя, с души очищением!

— Спаси Христос, православные,—скромно отвечала всем Секлетьинья,—и то помолилась, словно обмылась! Ноженьки все обломала!

— Не видала ль чего такого там, Склетьинья?—мужики сразу вступили в расспросы. Мы уж думали ненароком, что ты не вернешься!

Фуколка губы поджала.

— Ну, что,—передохнул Семен Родионыч,—что, кума, скажешь?

— Чего: что?—отгрызнулась сразу вдова.—Спрашиваете, а и сами не знаете: что?

— Не видала?... Небось, где только не побывала!

— Кого?..

— Известно, кого: Михайлу с Мишуткой?

— Не, православные, не приходилось! Одни монахи по пути попадались!

Но по секлетьиньину лицу, по тому, как она ручки да локотки поджала, сразу сметил Семен Родионыч, что кума не хочет всего говорить, скрывает, как, положим, на ее месте скрыл бы и всякий, хотя видно, что разнюхала все до подноготной, потому что и в самом деле баба дотошница, во всякий

случай встретица, мужики побородатее, да и те не решились пускаться в такую пору в дорогу, а у Секлетины страх, видно, только подмышкой щекочет, хотя сейчас глаза и вылезли на лоб.

— Ну! — толкнул ее в бок Семен Родионыч.

— Да говорю вам, что не видала: чего привязались!

— Да ты рассказывай знай!

— И... и... милые мои... велики у вас кулаки, да сами дураки!

Плюнула Секлетьня мужикам под ноги и чертыхнулась.

— А ты не кори, а дело говори!

Но Секлетьня, должно быть, и сама тогда почуяла еще со свежей дороги под живой памятью о встрече с Михайлой, что не пройдет ей задаром такая тайна, как потом, впрочем, и вышло, фукнула она ежикой на мужиков и от греха отошла за печку, мужики постояли и ни с чем скоро хлопнули дверью.

— Пусть... пускай ее, — решил за всех Семен Родионыч, — язык развяжет, сама все расскажет! Не может быть, чтобы столько время пропадала и ничего не узнала! Не таковская баба!



Прокраснели из конца в конец по Чертухину на снегу нагольные полушубки, спрятались за сугробами заячьи шапки, и к секлетиныным окнам побежала с поля поземка, спустилась к церкви с неба заря —

красная птица, и на всех крылечках загорелись снежинки, как новенькие гривны и пятиалтынники, которые хорошо всякому иметь наяву, ну, а если приснятся, грехом, так непременно уж к горю и слезам!

Эх, зима наша матушка зимская!

Тепла у тебя дубленая шуба из белой овечки, лежит пола от нее до самого моря, на котором стоит бесплатное царство, и сколь же дорого стоят у тебя звездные бусы на шее!

Жемчужна и бисерна кика, которой в морозные ночи украшаешь ты каждое деревце, кажинный кусточек, пляшешь ты округ, не жалея белых подолов, по бескрайному полю вместе с косматой ведьмой, с метелью, свистишь, как разбойник, бураном на дороге в лесу!

Легко ли тогда через улицу добраться к соседу, не лучше ли грезить, лежа на печке, и в нескончаемой думе гулять с молодухой под ручку по берегу теплого моря, которое во много раз прекрасней в мужичьей песне и сказке, чем наяву, бродить от нечего делать по тому самому царству, в котором печеные хлебы растут на березах, всего-всего вдоволь по горло, и соленого и пареного, для мужика и для барина, где ни денег не надо копить, ни печку топить, ни поборов платить, знай себе, получай с казны на гулянье.

Эх, зима-зимская, сторона хивинская, лес с опушкою да сума с клюшкою!

Оттого и любили в старину, когда для мужика были только трактиры да церкви, не только парни и девки, а и бабы и мужики—посиделки!

Нанималась в складчину на всю зиму самая просторная изба, и как только лен по домам перетреплют, так уж прясть собирались по вечерам на посидки.

По лавкам рассаживались с веретенами бабы, в красном углу садились девки и парни, а мужики жались по уголкам да залезали куда-нибудь на полати; отсюда потом на луга и в лесную чащобу, когда солнце на другой бок после зимы повернется, разливались наши старинные песни, которых теперь уже не помнят, а если и вспомнит кто, так мало кому интересно.

Однажды в ту же самую зиму, о которой у нас теперь разговор, сидели чертухинцы на посиделках, и что-то ни песня не клеилась, ни разговор не заводился; звенели только быстрые веретена, да за печкой заходился сверчок...

— Где-то мой теперь хрестничек... Мишутка?— как бы нечаянно вдруг зевнула Секлетьинья, меняя мочку на гребне.

Бабы задержали пряжу в руках и уставились в рот Секлетьинье.

— Известно дело: стреляет!—отозвался кто-то с полатей.

— Да нет... уж пожалуй что нет,—качнула головой Секлетьинья,— помните: бабы, марьины бусы?..

— Ну, как же, Склетинья, не помнить, уж и бусы как слезинка к слезинке!

— Вот все и вышло, как я тогда говорила, поглядела я тогда на Михайлу, плачет, а вижу, вижу, что на глазах у него вовсе не слезы... целый тогда целковый давал, прими, говорит, только младенца!

— Ну?—вытянулись бабы и мужики.

— Да дура, два раза дура, тогда никому ничего не сказала!

— Уж не его ли попу Федоту отдали за требу?..

— Что поп Федот!—отставила Секлетиныя гребень к сторонке и поджала подбородок сухими, вдовьими кулачками.—Не поп, а ворона! Я этот целковик, дивное, бабы, дело, потом не раз у Мишонки видала!

— Да ну?...—уставились бабы.

— Как-то он у меня парился в печке, гляжу, у него, пострела, целковик этот и болтается с крестом на тесемке... Откуда, говорю, постреленок, у тебя этакі деньги?.. Не говори, говорит, хрестнушка, Христа ради, я, говорит, его у попа Федота прошлой весной под окошком нашел!

— И верно, что ворона!—всполохнулись бабы.

— Вижу, говорит, провернута дырка, я, говорит, и продел его ради памяти к кресту: а может, говорит, сгодится?..

— Ишь ты ведь хитрый какой уродился!.. А поп Федот сдура клепал на попадью... что же это ты, Склетиныюшка, тогда попу не сказала?..

— А вы бы сказали?.. Молчите уж лучше!.. Вышло так, что и поп проворонил, проморгали не хуже и мы.. а самое главное—я: дура... два раза дура!

— Э, Склетинья, полно, кума!—зевнул Семен Родионыч. Рупь не деньги.

— Хорошо, кум, у тебя в навозе зарыта кадушка, а только таких денег у тебя, поди, нету: это такой целковик—хватило бы по́-век!

— То ись как это, кума, такое выходит?—озадачился Семен Родионыч.

— И очень просто: что тут теперь говорить?.. Одно слово: дура! Два раза дура! Ну, да и вы тоже со мной дураки! С таким целковиком не толь мне, вдовой, одной, а и всему обществу можно было бы жить и жить, как в гостях гоститься, никакой беды бы не знали!

— Ишь как замычала,—перемигнулся Семен Родионыч с мужиками,—недаром долго молчала!

— Ох, кум, кум, была бы я теперь дворянка, если бы не срахнули меня тогда с разума марьины бусы!

— А дворянки-то, говорят, едят одни баранки,—засмеялись мужики.

— Смеху, мужики, нет никакого: этот целковик мне тогда сам Михайла с руками отдавал: прими, говорит, Склетинья, младенца! Да по дурости отказалась!

— Чего ты, Склетиньюшка, так причитаешь: раскажи по ряду, а то мы слушаем, а не понимаем!—

бабы даже веретена бросили, а девки отсели от парней и разинули рты.

— Ох,—вздыхнула Секлетьинья,—ох, бабы: целковик-то был не простой!

— Да ты постой, в самом деле,—не удержался тут Семен Родионыч и раздвинул перед собой мужиков, подсаживаясь к Секлетьинье поближе,—рупь и рупь! Вся и разница: дырка!

— А царь, кум, какой на ём отпечатан?—взметнулась вся Секлетьинья.

— Какой там царь, кума? Ври да не завирайся: от царя даже плешки не было видно! Ни с орла, ни с решки! Я ведь этот рупь тоже помню, своими глазами вот так разглядывал на огонь...

— Откуда же это такое?—недоверчиво к нему повернулась Секлетьинья.

— Да так вот, в незадоль до ихнего ухода прибежал ко мне Мишутка, сует мне целковый. А я только с базара приехал, был малость под мухой, говорит чертенок: дяденька Семен, разменяй нам целковик, какой-то купец, говорит, на дороге батюшке подал, да нам не к прилику держать при себе крупные деньги! Ну, я сдурал и разменял, положил его в кошель, как сейчас, помню, а на утро встал, перечел, наизнанку кошелек выворотил: нету! Подумал тогда, что выронил пьяный!

Мужики переглянулись, почесали в затылках, погнулись, кто кому породнее, и из уха в ухо побежал у них шопоток:

— А что, сват, ведь у меня такая же ровным счетом история? А?..

— Молчи уж лучше, помалкивай в тряпочку! Известное дело: попали!

Секлетинья оглядела хитрым глазком мужиков и покачала на них головой:

— Вот то-то и дело у нас: тот кум—та кума, а ни у кого-о нет ума! Не разглядели: на рубле-то был отпечатан князь сего мира! Рублик-то был неразменный!

— Князь всего мира!—потупившись, повторили за ней мужики и еще ближе друг к дружке по-жались.

— В просторечии сказать в одно слово—рогатый!

— Ну, Склетинья,—перекрестился Семен Родио-ныч,—коли так, садись, мужики, на чем стоите, коли так, Склетинья, рассказывай теперь по порядку!

Нечего делать, Секлетинья тут же перекрестилась и повела, как скоро увидим, себе на большую беду мудреный рассказ про свое богомолье.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

СЕЛО СКУДИЛИЩЕ.

РЫСАКИ.

Вот уж что что, а в таком деле никак нельзя бабе поверить!

Баба когда доберется до разговора, так ни себя уж, ни земли никакой под собой не чувствует, только, как мельница, благо попала на ветер, машет руками, хотя толку от такого маханья немного...

Недаром поп наш Федот, у которого характер становился во много раз покладистей с вишневой наливки, а голос нежнел, как у девицы, под веселую руку так про баб говорил, когда случалось ему распивать в компании с благочинным, который тоже любитель был до сиропных настоек, отчего и водил с попом Федотом большое знакомство:

— Господь наш создал прекрасную землю по слову...

По единому слову и мысли создал он все до последней травинки, в том числе по слову и мысли появился на земле и Адам—первый мужик!

— Хорошо?—спросил бог чорта.

— Не плохо,—ответил чорт,—только что же это ты к такому большому хозяйству хозяйки никакой не приставил?..

— Верно,—спохватился создатель, подошел он к спящему Адаму и вынул у него ребро из левого бока: сорвал два яблочка с райского дерева, приставил—получилось две груди, две снежные лилии сбоку привесил—стало две белых руки, оторвал у молодой кобылки задние точеные ножки и тоже, куда надо, приставил, обломил у бабочки бархатные легкие крылышки, и встрепетало женское сердце, полил все молоком, и адамова грубая кость покрылась нежною женскою плотью!..

(Благочинный в этом месте тайком за локоток щипал попадаю!..)

— Хорошо!—сам творец удивился такому творенью.

— Хорошо-то оно хорошо,—ответил ему чорт, который стоял тут в сторонке и с великой завистью подсматривал: не будет ли какой-нибудь маловажной ошибки,—нечего говорить: бабочка вышла у тебя на славу, только и бабе без головы жить будет плохо!

— Верно,—опять согласился бог.

— Придельывай поскорее, а то Адаму уже время проснуться!—поторопил создателя чорт.

Тут-то вот в первый раз и задумался творец, что бы это такое ему приставить Еве на плечи?..

— Арбуз?—будет не очень красиво!

— Горшок? еще того хуже!

— Приставь,—говорит чорт,—ей колесо!

— Нет,—решил мудро создатель,—колесо не годится: об'езжать будет мужа!.. Приставим-ка лучше ей решето, потому что голова настоящая есть у Адама, а у Евы она будет вроде балушки!

Взял волосяное редкое сито, в которое ангелы просеивали жемчужные зерна, сплетая создателю земной славы и мудрости на каждый день новый венец, и положил его с небольшой кривинкой Еве на плечи, сразу в сите расправился волос и упал до самых пят ей роскошной косой, поднял творец цветков, сорванный бесом ради забавы с райского луга, и раскрылись янтарные губы, достал он с березки сережки,—оказались две бровки, а под бровки вставил два холодные камушка, которые на счастье в сите остались, повесил вместо ушей два золотых замочка, провел грифельком, и вздернулся носик,—улыбнулся создатель на такое творенье, и все лицо у Евы сразу засияло улыбкой.

— Ну, теперь хорошо!—сказал бог сомустителю мира.

— Отлично даже!—ответил чорт.—Теперь все ты кончил?..

— Вроде как,—отвечает бог,—теперь все на месте!

— Не-ет, — обрадовался чорт, — есть ошибка: каждая птичка у тебя на свой голос поет—так?

— Так!

— Каждая травка по-своему шумит—так?

— Так!

— А почему же Еву оставил ты молчаливой?.. Чем же она Адама донимать будет?

Спыхватился тут еще раз создатель, но было уже поздно: шестой день творенья был на исходе!

— Теперь,—сказал радостно чорт,—что ты заделал, то уж доделаю я!

И когда наступила темная ночь и ангелы спрятали под крылушки звездные очи, чорт вынул из-за пазухи небольшую красивую змейку и вложил ее в раскрытый рот дремлющей Евы...

Благочинный всегда очень смеялся такому рассказу, хотя еще в бурсе слышать не раз приходилось, но поп Федот каждый раз рассказывал по-другому, а благочинный все ближе к попадье подвигался, которая слушала, плевалась под ноги и в шутку называла попа Федота—бурбоном!

Может поп Федот и зря так про баб говорил, начавши с самой праматери Евы, однако мы лучше уж будем обо всем рассказывать сами, хотя Секлетьинья, несмотря на резкий язык, в общем была верная баба; расскажем лучше, что слышали и знаем со слов и очень степенных людей, а на рассказ Секлетьиньи разве при особых случаях только ссылаясь, как делают это немаловажные историки, описывая давно прошедшее время и ради верности и справки тыкая в старинную книгу перстом.

Тем более, что в этом рассказе и место и люди другие.

Верстах в двадцати от нашего Чертухина, а то и немногим поболее, проживала в старину в своем огромном, чуть ли не в три тысячи десятин имении прирожденная дворянка барыня Рысакова, которая в просторечии была больше известна по прозвищу: Рысачиха!

В той же стороне находился и знаменитый Николонapestовский монастырь, построенный будто еще во времена Калиты, сожженный в татарское иго и обновленный уже Иоанном. Монастырь этот по такой древности был в большой славе и почете не только у чагодуйских купцов и местного начальства, но и по Москве ни одна мало-мальски известная именитость года не пропускала, чтобы не побывать всем семейством у Николы на богомолье...

И в самом деле было хорошее, красивое место!

Такая удаленность и тишина!

Нехотя будто текет мимо монастырской стены вильявая речка, пышно по ее берегу развесились над водой многовековые ветлы и липы, сплетаясь через реку ветвями,—в дуплах у них богомольцы спали в летнюю пору и под осень монастырские служки, пася ночное, разводили по середке грудки,—удивительны монастырские стены по за этой речке, с ажурным рисунком старых бойниц, крашенные всегда словно только вчера в белую краску и походившие очень на упавшее с неба крыло, когда под'езжаешь

издали к монастырю и он фасадом вдруг высунется из березовой рощи,—густ и бархатен голосом, словно кафедральный дьякон, колокол в семьсот пудов весом, в котором по преданию половина чистого серебра, четвертая часть чистого золота и только в самой малости вошли в колокольный сплав медяки, накопленные монастырской казной за долгие годы...

Словом—Сергиевскому не уступит!

Но что в самом деле было в монастыре хорошо, из-за чего стоило и из-за сотни верст на тройке приехать, так это сзади него версты на три в ширину и на столько же в длинник березовая роща, которая помнила еще времена Иоанна: по преданию он в этой роще молился, когда шел на Новгород снимать вольный колокол веча!—такое в этой роще было убранство, не хуже, кажется, чем в главном монастырском соборе, особенно когда под вечер или в раннее утро на туманной заре ударит по роще погожее солнце и развесит на каждую веточку и на самый малый сучок дорогие оклады с незримыми ликами угодников и страстотерпцев, когда одуряющим запахом прольются во множестве растущие в роще ландыши—грешный цветок!—и не то соловьи защелкают из самых укромных местечек, не то тайные поцелуи, которые дарят молодым монахам несмысленные дочки первогильдейских купцов, познавая вблизи стародавной святыни между постом и молитвой сладости первой любви.

Вэтой же роще, которые помоложе, грешили и бабы.

Красота и благоустроенность обители резко каждому била в глаза еще как раз потому, что по округе не только для богатея, но и для простого захожего богомольца неприветная раскрывалась картина, которая, конечно, теперь уже давно изменилась: монастырь пришел в запустение, начавши хиреть еще во время войны, а на угольках после барыни Рысачихи долгие годы и в мирное время цвело только репье да крапива, а теперь обосновался совхоз, в котором совсем новые люди, и что тут было на этом месте, не только не помнят, но и не знают!

А бывало-ти, в скорости тут после воли, Еремей-Разумей, Петра Еремеича Разумеева, чертухинского троечника, будет папаша,—катит с Москвы толстущего купчину с купчихой и с ними шестнадцатилетнюю дочку, разряженную под орех и столь пригожую на лицо—тогда еще только начиналась эта порода!—что не только купчик, а и вельможный князь заглядится,—катит Еремей-Разумей, не жалея ни кибитку, ни тройку, и верст еще за семь до монастыря разольется по поднебесью густой никола-напестовский звон, будто еще выше приподымая на своих могучих крыльях небольшие тучки и пушистые облака, повисшие в недвижности над обителью, радостно сверкнет в глаза над зеленым маревом рощи сияющий крест, воздетый над глубокой синевой купола на колокольне,—разглядится седок на эту картину и не сразу заметит, как бросит дорога кибитку

в волчий овраг, отпрукнутся кони, и из оврага полезет в глаза, как пустая виселица, сельская воротина и за нею нищее убогое селишко,—без деревца возле окон, без какой-либо с боку пристройки, вылезут одна за другой с обеих сторон, как бы только для того, чтобы опечалить человеческой нищетой и напомнить и напугать непоправимым безвыходным горем,—вылезут одна за другой пришибленные к земле и похиленные в разные стороны избы, на которых и в урожай и в недород одинаково разобрана солома на крышах: то на корм голодной скотине, то себе на подстилку, и жерди торчат отовсюду на них, как обглоданные волками лошадиные ребра...

Встретится первый мужик, и не узнаешь, подумаешь: нищий.

Нечем ему и незачем класть на прорехи заплат.

Тут и полезет купец за кошельком для подаянья, кивнет Разумею, чтобы ехал потише, но кибитка и сама скоро станет по середине дороги: со всех сторон, услышавши ямщицьи звонки, бегут и ползут на карачках и ковыляют на костылях такие же оборванцы, у которых не заметишь ни мужичьей стати, ни мужичьей осанки, понурят кони взмыленные гривы перед этим нищим потоком, а мальчишки в грязных, вонючих отрепьях, в которые смотрит немытое, покрытое струпьями и насекомыми тело, облепят кибитку, залезут на козла и под дугу даже набьются, хватаясь за колокольцы, несмотря, что

Разумей машет на них изо всей силы кнутом, а впереди лошадей, на пересек дороги встанут полукругом испытанные в следецких песнях старики и старухи с поводьями, уставивши в проезжих выжженные в кои-то поры лунным камнем глаза, и плаксивыми голосами, словно идут они или вышли из ада, затянут „Лазаря“, свою любимую песню, или причту про блудного сына,—и уж ни кнутом, ни самым громом ямщицкого матерка их тогда с дороги не сдвинешь, разве только сердобольный купец, увидя такую картину впервые, вывалит без остатка медяки из кошельа на дорогу, чтобы вся эта нищая братия, не жалея лохмотьев, цапаясь и отбивая добычу, понося последним словом друг друга, бросилась нашарап их подбирать, очистивши сбоку дорогу...

Рванут тогда испуганные, кажется, такой нищетой и убожеством стройные разумеевы кони, и по бокам кибитки из-за углов, обмазанных глиной, долго еще будут провожать тройку невыразимым укором прорезанные кровяными жилками с вывороченными веками бельмы безногих калек, которых вывозят к монастырю летом в тележках, а по зимам в салазках только в самые большие праздники и торжества, когда с'езжаются особо именитые и богатые богомольцы, не подающие таким меньше полтины,—по сторонам кибитки замашут нетопырины крылья рубищ босоногих мальчишек, отбитых от кучи, и то ли ветер вдруг завоет волчьим голосом, то ли сзади кибитки вдогонку купцу запоют слепцы хвалу

милостыне—все завертится в глазах и перепутается в воображении, и с гулким топотом коней о дорогу смешается недужливое причитанье, способное вывернуть душу и несердобольного человека:

— Дяиньки... дяди... подайте Христа ради!

Но тут и седок заколотит кулаками в бока ямщику, да и сам Разумей во весь рост привстанет на облучке, размахивая без стеснения и на коней, и во все стороны на попрошайек, не получивших в свалке гроша, поднимется едущая пыль от колес, оседая густой пеленой на незакрытые никаким деревцем окна, которые смотрят перед собою в чахлую травку и как будто тоже разглядывают в ней брошенный грошик... закроет купец глаза фуляровым платком с фамильною буквой, как будто отирая пот с запаренных щек, замашет купчиха руками, пока не вынесут за ворота взмыленные кони, задев за них дугой на скаку, и сразу за воротами до самой обительской рощи развернется тогда во всей дикости и невыразимой печали слепецкий пустырь: ни озимое нигде не прозолотится расшитой праздничной ризой, не прозеленеют зеленым сарафаном веселые яровые хлеба, торчит один белоус, посеянный бесом, натканый мужичьим лихом нес'едобный костырь, плянется пырь-трава у дороги, да в давно запущенных бороздах сидит там и тут, как колдун на корточках, низкорослый бредняк, и, словно хмурая ведьма варит проклятое варево, в туманных лоштинках распустила подолы можжуха!

А если где и встретится пашня, так и не мужицкому глазу заметно, что не руками и не во-время она вспахана и заборонена и что зерно в нее не посеяно, а похоронено...

— Что это за селенье такое?—спросит удивленный купец, когда немного от'едут.

— Село Скудилище, ваше степенство!—последует хмурый ответ.

— Да что же тут: недород?—поинтересуется и купчиха.

— Недород не недород, а... уж такой народ!—хмыльнет Разумей.

— Ну, это ты, Разумей, видно, говорить правды не хочешь.

— Сущая правда, барынька, как перед богом!

— Смеешься все, Разумей!

— На чужую беду смеется только убогий!

— Нехорошо на таких нищих смеяться!

— Да это не нищие, ваше степенство,—загнет Разумей,—а... рысаки!

— Опять, Разумей, скалишь зубы?..

— Нет, уж тут не до смеху,—вздохнет и Разумей, обернувшись,—прозвание такое: мужики после барыни Рысачихи... остались с осподского права: век доживают!

И с этим ответом хлестнет Разумей под пахи лошадей, кони взметнутся сразу на все четыре ноги, и будто еще дальше раздвинется на быстрой езде неоглядимый пустырь, хлынет тогда с него на за-

езжих людей такая печаль, которая ни с чем не сравнится, незаметно проберется она в какую хочешь черствую душу, и даже каменное сердце от этой печали защежит... особенно если выдастся в дороге непогожий денек, и вдали большой стаей, как над мертвецом, кружат с жутким криком вороны и галки, и дождик висит над полем, словно дерюжка, и высоко над головой, как улетающая душа, откликается тонким голоском невидимый для глаза кроншнеп...

Грузно вздохнет купец, скрестивши руки на брюхе и переложив в грудной из бокового кармана кошель, зевнет купчиха, перекрестивши толстый зевок, а городская нежная барышня, слабая сердцем купецкая дочь, привыкшая уже к обращению, закроется кисейным рукавом и спрячет глаза за широкую отцовскую спину.

— Скоро, Разумей, монастырь будет?—спросит равнодушно купец.

— Да верстов еще с пяток, а то и поболее!

— Подхлестни-ка, друг, лошадей!

Прорежется дальний лес сквозь полевые туманы, уставивши в небо острые пики на вырубках, зеленые щиты по опушкам, поднимется месяц и, словно близкий родственник, склонится к мертвому полю...

Вот она, старина!

Лихо наше мужичье!

Тоже не поверите, может, теперь?!

ИВАШКА.

В таком деле врать нечего много, ну, а вот если нужно рассказывать правду, так всю ее никогда до конца не расскажешь!

Правда наша мужичья, как в полночь высокий месяц над головой, светел он и лучист и, кажется, вот совсем висит тут за крышей, а рукой не достанешь и только чем больше глядишь на него, тем крепче слипаются веки, в глазах переходят предметы с места на место и ежечасно меняют лицо!

Ох, месяц ты, месяц, древний наш чародей!

Необозримы синие глубины и просторы, в которые выходишь ты на редкие ночные разгулки, и сколь же нерушима печаль, в которой от века пребывают залитые призрачным светом поля... претворяешь ты серую, скучную и часто нестерпимую быль в воздушную легкую сказку, похожую на сновиденье, в котором и самое злобное сердце получает светлый дар забывчивости и простоты, легкость освобожденной души, какая бывает у человека в конце прощенного дня.

Нет этой сказке начала и, должно быть, никогда не будет конца!

Кто у нас помнит теперь Рысачиху?..

Пожалуй, никто!

Одни старики, да и то с-на-десято в пято!

А другой народ от праведной злобы выглодал бы своими зубами землю на этом месте, которую попирает такой человек!

А тут сколько времени—и не в мочи и в не силе!—а выносили!

Ну, а если все-таки время пришло, так что же мудреного в том, что под горячую руку подчас не по месту загоняли осиновый кол?!

* * *

Совсем еще недавно, всего, может, года за четыре до немецкой войны, перестали в наших местах называть милостыню рысачихиным оброком!

Потому что к этому времени вообще стали мало подавать нищему человеку, да и нищих таких уж не стало, какие были в рысачихино время: если слепец, так и то не настоящий, а непременно с подделкой, сделано что-нибудь нарочно с глазами, мазали какой-то мазью, а иные и просто куриным пометом.

В то же время нищие были, можно сказать, на совесть, действительно рука не подымется отмахнуть его от окна: рысачихин оброк!

Да, придумала же баба—не дура!

Хотя придумать такое дело не надо большого ума, надо только по-нечеловечьему жестокое сердце, на которое никогда словно солнце не грело и не смотрела с неба доброго часа звезда, к тому же если поверить преданьям про Рысачиху, которые теперь мало кто помнит, так и не она вовсе открыла секрет, а надоумил ее некий блаженный

мужицишка Иван Недотяпа, которого в селе Скудлище одни считали просто дурачком, а другие хоть и убогим, но замысловатым и очень себе-на-уме!

Согласно тому же преданию, мужик этот в конце концов все же отделался от Рысачихи и на отбитых ногах с переломанной костью устегал в Ерусалим, откуда и принес на Афонскую гору в рукаве армяка неугасимый огонь, за что и был, после того как представился во время осподней службы в руках с этим самым огнем, причислен афонскими монахами к лику святых, несмотря на мужицкое звание... об нем уж мы говорили, когда рассказывали про спиридонову веру.

Дело у Рысачихи с этим Иваном получилось и в самом деле необычное и чудное, а если нашей теперь головой подумать, так даже и глупое дело!

* * *

Случилось все так...

Сколько тому будет годов, бог его знает!

Тогда еще барыня Рысачиха была в полном дворянском соку, правда, справивши уже оба сорокуста по муже, муж у нее был майор отечественной войны, герой Рысаков, который с тремя пушктерами отбил целый полк от редута... потом уж, когда война кончилась и француза прогнали, он до самой смерти, лишившись порядку, кричал:

— Пали!.. пали... Пали, сукины дети!

После такого героя барыня Рысачиха от замужества себя охраняла, хотя при ее красоте и богатстве генералы даже из Питера к ней под'езжали, а один раз даже будто сватался князь!..

Но Рысачиха так и дожидла в одиночестве после майора. Может, от такого поста и воздержанья от супружества и пошла ее злоба, в особенности на видных мужиков, потому что женщина была корпусная, крупная, пища барская, не докучная, а дело за плечами никакое не стоит, хлопни только белой ручкой, и все будет готово... по-разному могло произойти, только в скорости после смерти супруга барыня начала по всякой безделице запарывать своих мужиков, так что ноги у них после такой порки годились только на то, чтобы кланяться, испрашивая помилование, барыне в ноги...

Вот в эту-то пору и был у барыни в дворовой услуге и в самом деле не особенно склепистый парень Ивашка, которого по причине его несметливости звали все: Недотяпа.

Был он не то доезжачий, не то конюший, в старом быту у помещиков мужикам каких только не раздавали ради старанья чинов, на каждую порчину было по чину, потому что оспода сами любили чины, да, положим, и теперь кто их не любит? Только при таком дворовом чине больше всех перепало Ивашке... а перепало, главное дело, за то, что никто так бестрепетно и безропотно все не сносил, как Ивашка.

Барыня съездит ни за што в скуло, а он еще перекрестится и подол ее поцелует:

— Вот, — скажет, — спаси Христос, барыня, что заметили меня, дурака!

А барыня плюнет и на конюшню отошлет, чтобы как следует отодрали и чтобы благодарности за такую награду барыне не произносил, а знал на будущее страх и повиновенье.

Отдерут, кожу спустят, а Недотяпа повалется малость и опять как был, только еще поклонистей да покорней, барыня всегда с него свой день начинала, встанет, первым делом Ивашке, а потом уж сама рука ходит, достанется и старику и молодому...

* * *

Но как-то совсем по пустяковому делу у любимой барыниной лошади оказался на копыте подсед, и она чуть захромала; Ивашку насмерть запороли на конюшне и потом совсем в бездыханном чувстве выбросили на задний двор в загон к гончим собакам:

— Пусть его с собаками из одной миски поочет! — решила барыня ивашкину судьбу после порки ради острастки другим.

Но на другое же утро Ивашки в собачьем загоне не оказалось, собаки, когда вошли егеря на утреннюю кормежку, облизывались, поджимая странно

хвосты, и подвывали на егерей, как они подвывают на волка, когда зверь снят уже с лежки, а борзые хрипят на смычках перед спуском.

— Что за дивеса такие?—удивились егеря.—Нет Ивашки! Неужели собаки доели!

Доложили по чину старосте Никите Миронычу. Никита Мироныч прибежал в собачий загон, понюхал по углам собачьим носком, с лица он и в самом деле походил немного на лайку,—почесал лапкой за ухом и сначала тоже вроде подумал, что с Ивашкой собаки распорядились, а потом прищелкнул языком и словно о чем догадался.

— Это,—говорит он егерям,—Ивашка седьмой беды не дождался и дал стрекача!

А что это у Рысачихи была за седьмая беда, всякому было известно: с седьмой бедой сама смерть вместе ходила!

Так и барыню оповестил, но та только рукой махнула и заявки не велела подавать, потому что не мужик, а одно разоренье!

Но не прошло и полгода, как к великому всех удивленью, потому что думали все, что Ивашку на самом-то деле с'ели собаки и только барыня со старостой это почему-то скрывают, потому, де, и заявку барыня по начальству не подает, а то бы сто раз подала и из земли раскопала, пробовали вон смельчаки, да, попробовавши, оскомину сразу набрали!—к великому всех удивлению Недотяпа вернул.

Говорили в селе Скудилище, что—как Недотяпа вернулся—видели все, но на самом-то деле видел один только Никита Мироныч, который и не скрывал ни от кого, рассказывая обо всем, не привравши полслова, потому что и без вранья у него вышло нескладно...

НИЩИЙ ВЕНЕЦ.

Сидел как-то Никита Мироныч у себя после трудов, мужиков в этот день человек двадцать перепороли, за окном была непроглядная ночь, осень стояла в переломе на зиму, и ради скуки давил на стене тараканов...

— Лукерь... а Лукерь? — окликнул он не раз жену, которая храпела на печке и возле нее ребята в раскидку,—что это ты пакости сколько в дому развела! Диви бы черные, а то все: прусаки! Страмота!

Но после бабьей работы ее и пушкой не скоро разбудишь; поправил Никита Мироныч крючок, вышел в сени до ветру, проверивши засов на крыльце, вернулся и хотел тушить лучину и тоже ложиться... вдруг стук!.. и не на крыльце, которое только что проверил Никита Мироныч, а тут вот—в сенях, куда никак нельзя пройти человеку, если только не подлезть в подворотню или не перемахнуть через крышу в прореху...

— Кто там?—не своим голосом прошептал Никита Мироныч.—Кто там, туды твою так?..

Не отвечает...

И. опять: стук!

— Овца, должно быть, дура, стену бодает!—подумал Никита Мироныч и вздул сразу целым пукон лучину.

Но только было раскрыл наотмашь дверь Никита Мироныч, хотел он поглядеть на скотину, только переступил через порог, глядит: человек ему ботнулся в ноги, к чему, служа у Рысачихи за старосту и будучи у нее в немалом доверии спокон века привык и потому нимало не удивился

— Это хто такой, туды твою так?—все же вскрикнул Никита Мироныч.

А человек лбом в сапоги и руками обхватил голенищи...

Глядит Никита Мироныч, на плечах у него, как на верблюде горб, большая сума, пахнет от сумы необманым духом, который за версту расслышишь: христовым куском, из рук со звоном вывалился железный посох, и на босой ноге, немного повыше колена, под загнувшимся одной полой армяком, железное тоже такое кольцо, какие каторжникам на ноги загоняют.

— Да хто ты такой?—толкнул Никита Мироныч сапогом нечесаные и видно давно немые лохмы.

— Я это, — хрипнул человек, —я это буду во всем своем виде!

— Ивашка!—вскрикнул опять Никита Мироныч.— Иван Недотяпа?!

— Я, батюшка наш, Никита Мироныч,—опять прохрипел человек,—я самый буду!

— Да что это ты, с каторги, что ли, убежал? А ну: подымайся!

Ткнулся Недотяпа ему еще раз лбом в сапоги и поднялся с коленок...

— Чтой-то,—говорит,—Никита Мироныч ты про меня негожее такое подумал?.. Я не с каторги бежал, а по-доброму пришел со странствия, за барыньку нашу да за тебя, благодетеля нашего, богу помолился!

— Со странствия? Ври толще: откуда же тогда у тебя такое колечко, этикие колечки, знаешь, какие женихи носят?..

— Видится тебе в темноте,—говорит Недотяпа,—это, Никита Мироныч, вчера же мне добрые люди баранок подали, должно что высунулись из кармана, а в кармане у меня давно пол не мыли, вываракались они там, ну, а ты бог знает что и подумал!—приподнял армяк: и в самом деле связка баранок, облепленных грязью, и в самом деле в такой грязи похожих на кольца от каторжной цепи, а не на баранки.—Что ты, Никита Мироныч?

— Должно что тогда вольно живешь на вольном-то хлебе,—сказал уже с укоризной староста мужику, который вошел за ним тоже и стал у при толки возле двери,—эн-ка: баранки?!

— Живу себе,—отвечает спокойно ему Недотяпа,—на бога не жалуюсь, на барыню не сержусь, даже оброк вот ей принес, как с меня полагается!

— Обро...ок,—растянул староста слово,—оброк, говоришь, принес? Ах ты, сучий хвост, да что ты: смеешься?

— Ничего не смеюсь, чего же тут на свои денежки смеяться,—еще спокойнее отвечает Недотяпа, несмотря, что Никита Мироныч вскочил с табурета и засучил кулаки,—правду,—говорит,—говорю! А вот: погляди! Это что, по-твоему: скрылки?..

Снял он с такими словами с себя большую суму, развязал зубами узелок и с самого донышка из-под хлебных крошек и зачерствелых кусков достал большой кошелек, распузевший, как у хорошего купца, и высыпал с веселым звоном на стол.

— Перечкни,—говорит старосте Недотяпа,—ради оспода-бога, тут вроде один верный человек мне считал, так говорит, что рубликов сто, а то и поболее! Сам-то я, тебе говорить нечего, в счете всего два по третьему!

— Э... э!—схватился за бороду Никита Мироныч,—да ты, я вижу, и в самом деле не шутишь! Тут, пожалуй, и за других, если внести, так 'останется!

— А останется,—мигнул Недотяпа,—так возьми себе, благодетель!

— Что... о?—грозно насупил бровь Никита Мироныч.

— Да так... ничего,—переминулся Недотяпа с ноги на ногу.

— То-то,—отвернулся Никита Мироныч,—вот уж в самом деле люди сказали, не ошиблись, прозвали тебя Недотяпой... Недотяпа и есть! Эх, ты: Недотяпа!

Показал кулак Никита Мироныч и деньги ладонью накрыл.

— Не виновен,—улыбается Недотяпа,—не повинен, что батюшка родной не дотяпал... а барыне вот нашей благодаренье... мастерству такому и занятию обучила и в люди произвела!

— Стой, мужик, стой, не шевелись,—построжел тут еще пуще Никита Мироныч,—стой, говори: откуда у тебя, нищей сумы, такие деньги? Украл?.. Чему, какому ремеслу тебя барыня обучила? А?

Теперь Недотяпа покачал на него головой и пока ничего не ответил.

— Да что ты мотаешь башкой? Украл, так и ладно! Только хорошо, если следов за собой не оставил, а ну, как разыщут... Каково тогда будет?—скрестил руки Никита Мироныч.

— Да что ты, батюшка наш, Никита Мироныч,—весь так и расплылся в широкую и блаженную улыбку Недотяпа,—что ты?.. Ты послушай, что я скажу!

— А ну, говори!

— Ты думаешь, на свете нет добрых людей?

— Есь, только не здесь,—перебил насмешливо Никита Мироныч.

— Да ты не перебивай... я и сам по малоумству собоюсь... подожди. Ты думаешь, на свете нет добрых людей? Есь... есь, Никита Мироныч, есь на свете добрые люди. Только мы их не замечаем, да и они тоже не замечают себя... Так и играем в злую прятку друг с другом. Постой... погоди... а я, вот, как увижу, что добрый человек идет мне навстречу, так сейчас вот так пальчиком ему, чтобы остановился и душу открыл... Ты добрый челэк?—спрошу.—Добрый!—ответит. Ну, и я тоже,—скажу тут,—тоже не злой! Подай Христа ради...

— Так тебе, гольтепе, и поверили,—перебил староста.

— Где же поверить,—спокойно продолжал Недотяпа,—и добрый челэк тут не поверит... А я ему прямо в глаза, чтобы уразумел без дальнего слова: я, мол, добрый челэк... рысачок! Клади мне в шапку семитку али копеечку брось, Христа-оспода ради... Понял, мол?.. Кровный, значит, рысак, осподу богу мол, добрый челэк, тружусь и барыне своей вот оброк собираю, и ты со мною трудись, и тебе от этого лучше будет. Ну, добрый челэк посмеется, посмеется и по доброте своей сунет за такую прибаутку семитку, а злой... злой что ж: даст пинка, и за это спасибо.

— Да,—поглядел Никита Мироныч странными, непонимающими глазами на Недотяпу,—не поймешь хорошо, то ли ты дурак, то ли ты жулик! И то ли ты бога так обманываешь, то ли людей? Нет, у нас

с барыней проще: раз в глаз, хлоп в лоб—и готово! А деньги ты принес, так это и верно, что молодец! Барыня наверно к себе даже по такому случаю допустит. Ты, когда позовут, смотри, дурак, не наследид! Вот уж истинно сказано, что не знаешь, где найдешь, где потеряешь: ведь барыня хотела тебя на щенка променять, а тут эна-ка: денег-то куча!— подошел Никита Мироныч к столу и в жадности своей не заметил, как медяки вдруг засияли, словно не медяки, а новенькие золотые, как от этого сиянья всю старостину избу обдало светом. Стал Никита Мироныч считать и за счетом этим так обжаднел и забылся, что, кажется, совсем забыл про Недотяпу; сосчитает кучку, отложит, а проверит— выходит вроде как больше; столько насчитал, что в голове закружилось, пока с печки спросонья баба его истошным голосом вдруг не завывала:

— Никита... Никита... батюшки: горим! Го...орим!

И с печки упала...

Встряхнулся Никита Мироныч, глядит: баба лежит и волосы на себе рвет в полусоньи. Оглянулся кругом: нет Недотяпы!

— Нишкни, полудура!— ткнул Никита Мироныч жену.—Протри глаза, сонное царство!

— Ой, Мироныч!.. в глаза такой свет ударил, никак спопашиться не могу!..

Подбежал Никита Мироныч к окну: никого, темь за окном, выколи глаз, выбежал в сени, перекрестился, а в сени тоже свет идет со двора, прильнул к щелке

Никита Мироныч, не подумал, хитрый мужик, что пожар, как бабе-дуре его показалось, видит: стоит Недотяпа в самом темном закоулке двора и быку Терехе за ухом чешет, а тот с таким удовольствием видно вытянул к нему лысатую морду и лижет шершавым языком скуластые щеки и хвостом машет на ясли, словно кадилом.

Дивно округ головы Недотяпы горит крохотный и едва обозначенный тусклым золотом венчик, какие бывают у святых на дешевых, базарной работы иконах, над Недотяпой вроде как небо синее, и в самом деле в том углу разобрана крыша, о чем сейчас как будто забыл Никита Мироныч, дивно ему смотреть, что на дворе видно все, как при лучине, овцы тянутся из кутка к Недотяпе, теленок высунул голову и тоже вроде как жвакает у него отвисшую полу, куры приподнялись на нашесте и тоже уставили беспокойные носики в угол, где крыша раскрыта и где стоит этот чудак Недотяпа, высокий, нескладный, а в темноте даже и страшный немало, вот-вот сейчас закудахнут в такой необозначенный час, а петух кверху двумя щитами крылья расправил, потянулся, словно спросонок, хлопнул сполошно ими три раза и закукарекал на Недотяпу, инда у Никиты Мироныча в обоих ушах звонко отдалось, зажмурился он на минуту от этого крика, и по соломенной крыше над головой Никиты Мироныча вдруг зашелестело, зашурхалось, словно ба-рыня там проходила в своем роскошном шелковом

платье, в котором она в Питер с майором когда-то езжала, глядит Никита Мироныч: нет Недотяпы, и бык поднял голову кверху и тоже обнюхивает воздух и стенку, сквозь которую скрылся чудной мужичонко.

Бросился Никита Мироныч на улицу, торкнулся головой о переклад, выбег, глядит: избы стоят по всему Скудилищу, словно вырезанные из черной бумаги, ни огонька нигде и ни звука, спят мертвым сном рысачихины мужики, и избы эти, должно быть, не наяву, а снятся им в беспокойных и страшных виденьях, разлезлись они по оврагу, как тараканы по печью, жалко у них выгнуты в серединах крыши, как перебитые спины, и колодезные сонно стоят на одной ноге журавли у каждого дома, тоже как нищие, с извечным поклоном просящие подаянья, а кругом все понемногу белеет, яснеет, прояснела и на минуту проголубела сонная даль в сторону барского дома, прояснилось вот и над селом по самой середке, и оттуда, из рваной дыры, в лохмотах и отрепьи выкатился вдруг тонкий венчик молодого месяца, и в его лучах и над селом Скудилищем вдоль улицы и над Никитой Миронычем весело вдруг завертелись снежинки, словно нехотя падая с неба.

— Ишь ты ведь,—улыбнулся староста,—ну, точно в точь: нищий венец!.. Нищий венец!..—сплюнул на порог, засунул покрепче на двери дубовый засов и вернулся в избу: глядит—совсем не навожденье!

Баба его сидит, как ни в чем, за столом и пересыпает медячки из ладошки в ладошку!

— Микита, откуда такое богатство?—задыхаясь кинулась к нему Лукерья.

— Ты, дура, нишкни,—прошептал ей Никита Мироныч,—пикнешь: башку напроць оторву! Знаешь, кто это принес?..

Баба раскрыла рот и перекрестилась.

— Иван Недотяпа принес!—еще тише сказал Никита Мироныч.—Смотри, не вякни как-нибудь на колодце, что зна-ка сколько нам денег оставил!..

— Слушаю, Никита Мироныч!—задохнулась баба.

— С барыни хватит и половины, все равно на ее яму не наготовишься хламу, а нам будет на пользу! Гаси, дура, скорее лучину, а то еще в окошко увидят!

— Ох, Никитушка,—вдохнула баба из темноты,—правильные ли только деньги Ивашка принес, мужик-то он неправильный больно!

— Сам проверял: деньги как деньги! На волю теперь откупимся, дура! Нишкни только, молчи, а то и в самом деле башку оторву! И-эх, Лукерь, Лукерь, заживем мы с тобой теперь! Ложись-ка на радости сюда вот поближе!

— Дай-то осподи,—зашептала Лукерья Никите Миронычу в ухо, крепко-на-крепко обнимая его в темноте и утопивши в жесткую бороду влажные губы,—пошли ему, царица небесная, легкое на том

свете лежание... чтобы не дуло, не мочило, чтобы слеза из глаз не точила!

— Да какое такое лежание... что ты с дурасти мелешь?—перебил бабьи причитанья Никита Мироныч.—Сама ты лучше лежи и не дрыгай!

— Так Ивашку-то собаки загрызли?—приподнялась немного Лукерья.

— Браки, что собаки! Это барыня наша от великого ума так решила, а он, ишь, знай себе, вольно ходит по миру и барыне собирает милостыню!

— Ой, Микита,—ахнула баба и погорячала всем телом,—ну, не дурак человек, как ты тут скажешь?..

— Дурак он, Лукерья, не дурак, а родом вроде как так... Вот что: спи-ка ты, баба, завтра чем свет надо подняться и деньги хорошенько еще раз пересчитать, а то барыня кликнет, а я буду хлопать глазами: сколько за Недотяпой у нее недоимку?

— Мотри, Микита: не сбейся, грехом!

— То-то и дело, что счет денежки любят! Надо так подгадать, чтобы враз пришлась копейка в копейку! Спи со Христом и меня больше не лапай!

Сразу заснул Никита Мироныч после такого счастливого дня, как, положим, и все мужики засыпают и в радость и в горе...

* *
*

Что в эту ночь снилось Никите Миронычу рядом с горячей Лукерьей, ворочавшейся с боку на бок

во сне и тоже грезившей, видно,— бог их там знает!

Может, уж и на воле успел побывать за долгую зимнюю ночь, об'ехал Никита Мироныч со своей Лукерьей немалые города вольным торговым человеком и даже побывал в той стороне, в которой ничем не торгуют, ничего не продают и не покупают, а ходят все срядно, едят все сытно, обуты, одеты, хотя ни у кого ничего лишнего нету!—может, где-где ни побывал Никита Мироныч, гору делов перекорезил, только в самом-то деле откупиться и выйти на волю ему на этот раз не пришлось!..

Поутру вскочили, как встрепанные, рук не ополоснув, богу не помолившись, прямо к комоду, в который с вечера Лукерья в темноте запрятала деньги, стали считать, считали, считали, десять раз пересчитали, а сверил Никита Мироныч по книге—в аккурат только недотяпина недоимка выходит копейка в копейку...

— Что же это такое, Лукерья?— чуть не со слезами говорит Никита Мироныч.

А Лукерья в передник уткнулась и слово проронить боится...

— Уж не заронила ли ты вчера, когда убирала?.. Ведь сам видел: сначала, когда считал, все шли медяки, а потом как пошли золотые!.. как пошли золотые!..

— Да что ты, Никита Мироныч?.. Что уж я дура такая?—и снова за слезы.

Нет, баба не таковская, зажмет в кулак, так тоже клещами не вырвешь!

Должно, что от жадности своей да неожиданности вчера сильно Никита Мироныч прошибся в счете, потому что считать, как и все в старину, учился по пальцам...

Сладкий сон о чудесном посещении дурачка Недотяпы и медяках, похожих на золотые, так и остался вроде как неверной мечтой на долгое, долгое время, пока не пришел второй раз Недотяпа и в самом деле не отвалил Никите Миронычу чуть ли сразу не тыщу, но тут уж он по своей вине совсем, и с деньгами в руках, промишулился: отдал барыне деньги за выкуп, а не прошло и недели, как царь вспомнил о мужиках и выдал им волю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

РЫСАЧИХА.

НЕТЕРПЕЛИВЫЕ ДЕНЬГИ.

Да, такое дело выходит, прогадала лихая барынька, когда на свою шею первого мужика отпола...

Не смекнула в своем дворянском, нарасчетливом и самонравном мозгу всей выгоды в разнице между кулаком и ладошкой, о которой хорошо, видимо, знал покойный супруг ее, майор Рысаков, хотя был он совсем даже не майор, а целый генерал-майор, но с жуплого его вида было в нем столь мало генеральского чина, что свои же мужики и прозвали по этой причине в просторечии без всякого добавления просто: майор!

Что же получилось у нее, когда перекалечила она своих мужиков и баб высушила, как веретена на шестке перед супрядкой?!

Известно, что!

Лучше уж было бы стричь потихоньку покорную овечку, пока не брыкалась, как это хорошо делал,

когда был в полном порядке, майор, изредка только ради праздника заезжая кому-нибудь самолично в скуло, а... под калеким мужиком и земля становится хуже калекки, засорится она, загноится дурной травой, чортовой тещей прорастет на огородах, которой бес подтираться не будет, не токмо что жвакать скотина, лопухом обрастет у овинов, и с возом к ним не под'едешь, развешается везде паутина чортовыми тенетами, как в неметеной избе, потому что мужик приставлен к земле с заранее и хорошо продуманным расчетом не на погибель ее и запустенье, а на обилие плодов земных, на радость каждой птичке, зверьку и самому человеку: погляди, какой пир горой идет, когда мужик пашет или боронит, галки, вороны со всей окружности, белоклювые грачи и черноголовые прилетные с заморских краев мартыны к нему из-за тысячи верст торопятся словно по какому важному неотложному делу, и ни одна пичужка тогда его не боится, прямо лезет кобыле под ноги и обирает червя!

А в зимнюю стужу, в холодную осеннюю пору?..

Уж какая, кажется, птица-синица, сама вся с пятиалтынный, и ножки у нее, как волосинки, а веником ее от избы не отмашешь, сидит себе где-нибудь у окна на березе, которую с утра уберет и разукрасит морозом, попискивает, выщипывая с бочков лишние перышки, и смотрит одним глазом, когда же это расхлебастится обшитая рогожей скрипучая дверка, хлынет белый пар из избенки и запахнет соприрелой

кашей и свежим хлебом, а сама хозяйка удосужится за хлопотами вынести на помойку ведро?

А всего и нужно ей: крошку!

Значит, если таким вот глазом да с этой точки смотреть, выходит, что в мире уж так заранее было все сотворено, чтобы сильный на сильном ехал верхом, пускай их катаются с богом, а чтобы слабый слабого за ручку держал, а для того, чтобы слабый не обленился и не сделался круглой фефелой, положившись во всем на другого, зло между ними и добро смешано в нужную меру и вес!..

Но то ли уж эту мерку мы потеряли, то ли сами смастерили фальшивую гирию и на один, может, только волосок всего укоротили аршин, только вместо того, чтобы помогать и покрепче держаться кучкой, чаще всего люди друг дружку держат за глотку...

* * *

И отчего это так, сам шут не разберется!

Зло, глядишь, ин час лежит прямо перед тобой на дороге!—зло, словно булыжник, которым голову чорту проломишь, а добро рядом с ним только с крошинку—и воробья не накормишь!

Виной всему деньги, конечно!

Вот хотя бы тот же блаженный мужичишка Иван Недотяпа, который, как мы уже не раз говорили, даже попал во святые!

Ведь уж и в самом деле никто слова не скажет: святой!

Не Михайле Бачуре чета, хотя с виду вроде как одной они масти, но это только обман на зрение, потому что Недотяпа действительно безо всякой подмеси блаженный, а Михайла хоть и прозывался Святой,—но теперь-то уж очень заметно, что был он все же с жулиной!

Вот Недотяпа, так да... попал во святые...

Однако, что же из этой недотяпиной святости получилось для простого народа, для его односеленцев, рысачихиных мужиков?..

Чему он барыню такой добротой и незлобивостью своей надуумил?..

Дорого вышел народу этот оброк!

Ему-то, может, как блаженному, был прямой резон, потому что уж встал на такую дорогу, а другим получилась... седьмая беда, с которой смерть вместе под ручку ходила...

Вот как дальше все дело сложилось...

* * *

На другое утро того памятного дня, в который приносил Недотяпа в первый раз рысачихин оброк, Никита Мироныч долго прождал, когда его к себе барыня кликнет...

Как раз в это же время, примерно, должно быть были у барыни опять недавно сваты, прокараводи-

лись чуть не неделю, улещая и убажая ее разными тонкостями и разговорами о скучности одинокой жизни, с серыми мужиками, как с бельмами на глазу, с брюхатыми бабами и драными девками, не имея в такой глуши никакого удовольствия и развлечения, но откатились все же ни с чем, а Рысачиха после них три дня сподряд не вставала с постели, лежала в припарках на голове и у сердца,—по всему теперь барыне не до оброков, но Никита Мироныч после посещения Недотяпы места не находил от нетерпенья...

— Уж не пойти ли, Лукерья, мне самому?—не раз он обращался к жене с разговором, у которой от слез с утра глаза набухли и губы раздулись.— Ужли бельмы еще не продрала?..

— Что ты, Мироныч: как же можно без зова?—опасливо уговаривала Лукерья.—Вдруг разлутеет после сватов да тоже отпорет?!

И хоть Никита Мироныч ни разу еще не пробовал рысачихиной порки, вообще будучи спокон века в барской милости по непонятной для него самого причине, если не считать майорских шлепков, но зато хорошо на других разглядел, какие рубцы на всем теле остаются после конюшни и на что бывают люди похожи даже после первой беды, за которую у Рысачихи полагалось всего двадцать пять палок!

— Да... а!—тянул в ответ Лукерье Никита Мироныч.—Оно, конечно, над нами не каплет, а нетерпенье, досада это, Лукерья!

-- И я понимаю, да вот, говорю: обожди! Как бы чего не было хуже: сваты-то эти, говорят, замуторили ее, уходили!

— Нигрень в голове! Нигрень, говорила душа-Аленушка,—сказал, махнувши рукой, Никита Миронич, не понимая мудреного слова и сам не мучаясь никогда головой; не раз он заглянул в запущенные первым снежком тусклые окна, за которыми, как исчезнувшие недотяпины золотые, блестели на вёселем солнце снежные искры на еще непроторенной дороге к барской усадьбе, будто их на нее второпях или ради блаженной шутки, уходя вчера от старосты, нарочно Недотяпа рассыпал,—не раз выбегал на крыльцо и, приставивши к уху трубочкой руку, прислушивался жадно, как звонко по первому морозцу заходились лаем молодые собаки, учуявши носом на нежном ветру теплый душок заячьей шкурки, смешанный с пропотелым кислым запахом всю ночь пролежавшей в ближнем овраге волчицы, изредка еще за липовой аллеей, ведущей от главного дома к конюшням и псарне, повиснет, как на ниточке, тонкий девичий крик, придушенный рукавом, видно, что кому-то рысачихина ключница уже выдрала косу, но все это было слишком привычно для слуха, видно по всему, что барыня еще не выходила и не наводила порядка, иначе в такую пору кто-нибудь уж подал бы Никите Мироничу голос с конюшен, Никита Миронич только сплевывал через зубы равно-

душно на снег и с беспокойством возвращался в избу, не зная, за что бы приняться...

Но чудные происшествия накануне этого дня не давали Никите Миронычу никакого покоя, и недотяпины деньги, которые он все время придерживал в грудном кармане кафтана синего сукна, выданного ему лет двадцать тому еще майором на случай посещений барских покоев, жгли нестерпимо ладони и надсадно позвякивали у самого сердца при каждом движении...

— Да что ее, в самом-то деле, гвоздями, что ли, к перине прибили?—наконец совсем заждался Никита Мироныч, когда стрелки на часах рядышком сложили тонкие усики и устоялись кверху, гири на медной цепочке ботнулись о пол, а в середине часов вдруг зашипело, заворочалось, как в змеиной осоке под ветром.—Растуды ее так со сватами-то ее вместе, провалиться бы им в полынью по дороге!

— Что ты, Микита!—обомлела Лукерья, редко слыша такие слова от мужа, не только про барыню или про гостей каких-нибудь ее, про собак-то Никита Мироныч всегда говорил, словно их в это время гладил по шерстке.

— А пусть хоть раз и старосту тоже отпорет!

— Батюшка, Микита Мироныч!

— Молчи, Лукерья: пойду!

Хорошо знала Лукерья, что нет у нее слов, которыми она могла бы отговорить мужа от такого решения, если уж на что мужик напрямил, так не

своротишь, отерла она глаза подолом передника и перекрестила ему сапоги...

— Прости, Лукерьюшка! — бросил ей Никита Мироныч, обернувшись на образ с порога. — Вот, уж сделай милость скажи, какие, Лукерья, попали нетерпеливые, непокойные, прости их осподи, деньги!

— Неправильные! Неправильные деньги, Микита Мироныч! — схватилась Лукерья за глаза.

Но Никита Мироныч ничего не ответил, прогремел только сапогами с кованной подошвой по сениям... припала Лукерья к окошку и долго не могла оторваться от светлой дырки, которую продула в окне, следя, как шагает важно через все село ее Мироныч по пухлому, еще не осевшему снегу, вытянулась улица перед глазами кверху горбом вплоть до барского дома, и у каждой избы перед окном постлана чистая без единого пятнышка скатерть, белыми полотенцами, как бы с вышитыми красным зимним лучом петухами, как черные киоты, у каждой избенки убраны окна, и еще убоже и нелюдимей кажется село Скудилище в такой убеленности и чистоте, за-нарошку и словно ради праздного барского посмешища разве проковыляет через улицу к соседям тулупная тень, какая-нибудь старуха или баба на плече пройдет с коромыслом, и журавель на минуту проснется и клюнет глубоко в колодезь, задравши над Скудилищем хвост, на котором привязан для перевеса камень в тряпке или чурак.

Не раз перекрестилась Лукерья истово, поглаживая младшую дочку, уткнувшую ей в колени головку, и тяжело вздохнула, отойдя от окна, когда Никита Мироныч совсем уж потонул шапкой за котловину, из которой торчат пиками балясины усадебной огородки и дальше зеленеет пологая железная крыша, с которой уж стоял на припеке первый снег—не жалец на этом свете!

— Спаси, осподи, сохрани и помилуй!—и с каждым словом гулко тыкала полным крестом в лоб, в пуп и в оба плеча.

МАЙОР.

Не сразу приняла барыня Никиту Мироныча...

Пока-то показалась в людской постельная девка душа-Аленушка, пока-то Никита Мироныч обломал ее оповеститься—зимнее солнце успело обежать по околице, село Скудилище и катилось уже не спеша по высокой крыше каретной, по которой с князька на князек, держа зубами друг дружку за взметенные кверху хвосты, мчались резные коньки, как живые.

— Сделай такую милость, душа-Аленушка!—не выдержал Никита Мироныч и поклонился краснощекой Аленке.—Оповестись, ради бога!

— Да что ты кланяешься мне, Микита Мироныч,—облилась девушка краской, как от обиды,—или ты

барыниных порядков не знаешь?.. Чужую косу, видно, не жалко!

— Да уж знаю: бьют—не беги, не зовут—не ходи! Изучил в полностью! Только, душа-Аленушка, на этот раз дело такое... самой барыне, может, очень приятственно будет!

— Ну... у!—обрадованно изумилась Аленка, редко видя свою барыню в духах.—А я думала... ты, Микита Мироныч, по случаю больше конюшни!

— Да нет... не хотел тебе говорить, а нечего делать: вчера ко мне новый святой приходил!

— Что...о?—схватила за грудку Аленка и выкатила глаза.

— Недотяпа у меня был... оброк принес барыне!

— Дык... какой же он святой?..

— Венчик на голове сам видал!—шепнул Никита Мироныч.

— Ой... Микита Мироныч... что же это такое?.. И в сам деле нешто барыне сказаться?! Ей-богу, видал?..

— Своими глазами... а ну-ка, душа-Аленушка, право... спорхай к барыне: он еще, я так думаю, не успел далеко устегать, ноги-то у него поломаны малость, может, прикажет вернуть?..

— Пожалуй и то, надо сказаться?.. А, Микита Мироныч?.. а то как раз влетит, что не сказала! Слушай, Микита Мироныч: не врешь?..

— Как перед богом!

— Не врешь, так правда: бегу!

Выскочила постельная девка душа-Аленушка, полоумно хлопнувши перед Никитой Миронычем дверью, и он в ожидании присел на скамейку.

В какой перечет снова начал читать про себя отче наш, что он всегда на всякий случай перед барыней делал, потому что и Никиту Мироныча, не смотря на барскую милость к нему, все же хватывал страх, от которого ноги размякали, как мочало в воде, а руки плохо слушались и сами перебирали шапку или картуз: самое главное, до барыниной приемной надо пройти чуть ли не пятнадцать комнат, светелок разных и коридоров, и если бы не душа-Аленушка, так заблудишься тут, словно в лесу, зайдешь туда, куда входить нет позволения, в особенности на майорову половину, которая сохраняется барыней в полной аккуратности с самого дня его смерти, а он шуркнет оттуда туфлями, подберется сзади и закроет холодной ладонью глаза, что не раз с Никитой Миронычем при своей живности делал...

— А—рак—чей?—спросит пискливым голоском.

— А—рак—чеев!—тут же надо ответить, а то чем ни попало хлобыснет.

А кому же неизвестно, что и до сей поры майор к барыне ходит?.. Потому, должно быть, и замуж нейдет, что майора своего боится: все равно в постели задушит!

Совсем на этот раз зачитался Никита Мироныч, и сначала начинал несколько раз и, думая, видимо,

о другом, залезал прямо в серединку молитвы, так что совсем не заметил, как вкатилась в людскую, пыхтя и отдуваясь после лестницы, барынина ключница, Марья Савишна, которую за глаза мужики по большому ее сходству звали просто: вороной.

Была она у барыни правая рука и главная наушница, и потому боялись ее все от велика до мала пуще самой барыни...

— Никак Микита сидит?—кивнула она старосте вытянутой головкой.

— Самолично, Марья наша Савишна, доброго здравствия!—вскочил Никита Мироныч и заелозил шапкой по лавке, сметая как бы после себя какую пылинку.

— А говорят люди: к тебе Недотяпа являлся?..

— Оброчек принес, Марья наша Савишна.

— Ишь ты, после порки какой вышел честный мужик!

— Честнеющий! Слова больше не скажешь!

— Ты что же: к барыне?

— Думал так, Марья наша Савишна, доброго вам здоровьица!

— Недомогают она... ох, сильно недомогают! Вгонют ее в могилу, милостивицу, мужики!.. Непокойство с ними: ишь какую рань тебя вытребовала?!

— Да нет, Марья наша Савишна: сами пришли! По случаю опять Недотяпы!

— Что...о?... Что такое ты говоришь?.. Сами пришли?!

Никита Мироныч не находился ответить.

— Да что ты: выпил, что ли, вчера через меру, так ведь спиртного ты сроду не потребляешь?.. Что это ты, Микита?.. А?..—вытянула ключница еще дальше свою остроносую головку, повязанную черным платком вперехлестку.

Смотрит Никита Мироныч—и в самом ведь деле не голова у ключницы на плечах, а... вправду дали прозвание... ворона сидит: нос в черных пупырях, косы—воронье перо, а самое главное: глаза не человечески, а и в самом деле вороньи... Но не успел Никита Мироныч про себя вдоволь надивиться этому сходству, как вбежала Аленка и выпалила, как из ружья:

— Зовёть!

— Ну, вот: это дело другое—иди! А то: сами пришли! Велики эти сами! Серопупое слово!—ключница каркнула на Никиту Мироныча, как на дурную погоду, и повернулась на выход.—Ты, Аленка, в случае кликни, огурчиков спросону занадобится али бруснички?!

— Глупое слово, простите уж, Марья наша Савишна!—поклонился ей вдогонку Никита Мироныч и, вытянувшись, отряхнувшись, словно вылез из сена, сразу привстав на носки, передохнул на Аленку:

— Видимость как позволяет, душа-Аленушка?

— Да рази ее разберешь?.. — передохнула и девка.—Нигрень! Хотя седни вставала..

— Ужли ж все не проходит?

Ступил Никита Мироныч на носочках за Аленкой в большой коридор, и непривычно для глаза заблестели лаком ореховые тяжелые двери по сторонам, за которыми, видно, и жизнь и царство даже другие!

— Ну...а...как?..—неопределенно спросил он шопотком.

— Што...о?—тоже шепнула Аленка.

— Известно, душа-Аленушка: што?

— Приходил,—опять шепнула девка и заглотнулась.

— Говори... и!

— ...опять приходил!

— Майор?..—спросил Никита Мироныч.

— ...Известно!

— Ну...у?!

— Вон тут—в углу меня так притилиснул... и всю исщипал!

— Говори... и!

— Я как закричу-у! Барыня в рубашке выскочила, шлепков таких надавала! Сколько, говорит, раз тебе приказывала: не кричать! А рази стерпишь?.. Когда он... по женской!..

— Трудная у тебя служба, душа-Аленушка!

— Нича, Микита Мироныч: обykle!

— А майор-то как больше приходит?..—опять страшиво зашептал Никита Мироныч.—По ночам больше... али тоже и днем?

— Что ты, Микита Мироныч,—махнула девка уверенно рукой,—он больше всё ночью!

— Ну, и слава те осподи!—облегченно вздохнул староста.—А ты, душа-Аленушка, сказала барыне, что, мол, староста пришел по делу?

— Не сумлевайся... привесилась к барыне, как к дуге колокольчик! Говорю: в людской староста сидит, такие новости говорит! Что, спрашивает, за новости еще... опять кто-нибудь убежал?.. Нет, говорю, барыня, совсем напротив: пришел! Кто, говорит, пришел? Святой, говорю, новый святой! Оброк вам принес!

— Ну-у?—перебил девку нетерпеливо Никита Мироныч.

— Дура, говорит, позови его, что такое городишь! Ну, оно и вышло так точно: и ты не в ответе, и я не при чем!

— Душа ты, девка... и в самом деле: душа!—смигнул Никита Мироныч и, вошедши за девкой в большую парадную залу, за которой в скорости была приемная и дальше спальни барынины и раздевальни, где в каждый гардероб, кажется, в'едет телега и повернется, где чего-чего нету, но Никите Миронычу там бывать не приходилось, и он знает обо всем только со слов словоохотной Аленки,—смигнул Никита Мироныч на барынину половину и больше уже не заводил разговора.

* * *

О, эти барские с высокими потолками покои!

Такая после смерти барина всегда в них затаенная тишина, нарушаемая только по праздникам

приходским попом с немногочисленным причтом да раза два или три на дню причитаньями бедной девки, души-Аленушки, с малых лет переносившей безропотно барынины леши и потыкушки и, несмотря на это, каким-то чудом сохранившей девическую пригожесть и миловидность...

... полы, крашенные в каменную краску такого странного цвета, что ни на охра, ни на кармин она не походит, а больше смахивает на застывшую где-нибудь в облупившемся уголку, лежащую на полу корочками и сохлыми пленками кровь, сами раскатываются на ее глянце неверные ноги и глаза, отражаясь в них не хуже, чем в зеркале, остановятся вдруг на выкате, как у оборотня...

... трясутся коленки от пересиленной дрожи, мутится в голове от быстроногих зайчиков, рассыпанных солнцем в зеркальные стекла высоких, как в церкви, окон, на окнах шелковые и карусетовые занавеси по бокам, повязанные тяжелыми канительными поясами, а посередке нежный, убранный узорами тюль, похожий на чуть заметную паутину, в которой невидимо для простого глаза, с неискушенностью озирающего все это роскошество после убогости нищеты, невидимо для глаза привесился где-нибудь на осьми лапах вниз желтым брюхом болышанный паук...

... парадные залы с тяжелой мебелью по стенам и простенкам до самого полу в чехлах из беленых холстов, которые у мужиков берегутся долгие годы

только на саван,—кто тут и в самом деле сидит, утонувши в кресле по долгим зимним ночам, грея ноги в бархатных туфлях возле изразцовых каминов, с которых смотрят невинными глазами голые псиши, не скрывая стыда, и будто плюются, надувши скулы, заморские амуры, на мужицкий глаз, не знающий цены таким безделушкам, привыкший в своем дому только к солонице и плошке, похожие больше на недоношенных до срока младенцев, и место им только на погосте в темном углу?..

Уж и в самом деле не прохаживается ли тут и после смерти со своей длинной трубкой в зубах непобедимый майор, в полной парадной форме, в которой он, незадолго до смерти, совсем лишившись порядка, спал не раздеваясь, ожидая с часа на час, с минуты на минуту белого царя к себе с посещением по случаю представленья за геройство майора к награде,—то-то, наверно, блестит майор золотым эполетом, с которого свисают по краям золотые кисточки и шевелятся при каждом его шаге, как длинные червоточки могилы...

Да, видно, и впрямь отсоветовал ехать царю первый министр, и уж сидит теперь на майоре мундир не в обтяжку, как в некое время, колесом обкатывая вату, набитую в грудь, а висит как на палке, и только все та же без перемены на лысинке чудная ермолка, в которой еще при жизни своей майор походил не на героя бородинской битвы, а на шута горохового, почему, должно быть, при встречах с ним

и прыскали смешливые сенные девушки, за углом хватаясь за животы...

* * *

Но не знаем, не знаем мы хорошо, что чувствовал своей до жестокости уstraшенной душой Никита Мироныч, когда с постельной девкой душой-Аленушкой добирались они по большому рысаковскому дому в осподскую приемную, где девка кивком указала ему на порог, а сама упорхнула за зеленую штору, как все та же немудрая птица-синица, вильнувши оторком русой косы и скрывшись тут же за дверью...

Долго стоял Никита Мироныч, подогнувши колени, как после пашни умученный конь!

Провалиться бы ему, Недотяпе-дураку мужику, сквозь дна без покрышки, у него вся голова святошью, как сарай сеном, забита, а тут из-за этой святости в глазах чернеет, оглянуться страшно, ложатся из окон к сапогам тени от рам, как кресты в луну на кладбище, должно быть, пока караводился с этой глупой синицей, солнце стукнулось о землю, и во всех могилах повернулись на другой бок мертвецы...

Эна-ка из углов ползет чернота, словно пашня!

Взглянешь туда... и в ногах задеёт жила за жилу...

... А вдруг... вдруг... вдруг...

... в такой как раз час вдруг выйдет майор из боковой двери, которая идет к нему на половину?..

... подобрется бесшумно и ради одной глухой забавы опять, как в старину при живности своей, разорвет над самым ухом бумажную хлопущку, словно при страхе и в самом деле из пушки выпалит, и закричит потом с диким смехом:

— Па...али! Ппа...ли, сукиные де...ети...и!

* * *

И, не к разу вспомнивши и эту повадку покойного барина, Никита Мироныч еще крепче прижал к сердцу недотяпины деньги и в тягостном ожидании снова зашептал молитву, но осекся на середине и зачистил лукерьины причитанья:

— ... пошли ему, осподи, легкое на том свете лежание, ублажение ото всех, уважение, чтобы гвоздей в пятку не заколачивали, легонько с бочку на бочек поворачивали, сохрани и ухоронь его, царица небесная, от бури и ветра, от боли и недуга, чтобы снежки, дождички его не мочили, червоточки его не точили... чтобы...

... Тут звякнула запорной цепочкой за шторами дверь, и Никита Мироныч в непересиленном страхе и с частой дрожью в ногах ботнулся на порог, словно с разбегу, что было очень к месту и разу: перед ним стоял не покойный майор в золотых эполетах с золотыми червоточками, в чудной своей ермолке, а в шелковом капоте небесного цвета, душистом, как ягодный куст, живая барыня Рысачиха...

СВЯТОЙ ЧОРТ.

Известное дело, что волчью ягоду, такую красивую с виду, не едят даже волки!

На что, кажется, глупа птица-тетеря, а и та, когда своих цыплят по кустам учит кормиться, набредши на эту ягоду, издает предостерегающий крик и ради большей понятности на первый раз валится под куст и задирает лапки, свесивши в сторону как бы безжизненную головку, дескать: неразумыши, не верьте красивой ягоде, ее посеяла смерть!

Так уж все сотворено и не нами заведено, и кто это может исправить, мир—не сапоги, его не перетянешь на другую колодку!

А зло подчас щеголяет в такой пышной, роскошной укресе, вызывая восторги и рабское умиление глупой хитрости, добро же плетется в рубище, в лохмотах, и никто ему не уступит дороги, а наоборот—посмеется и только подставит подножку!

Кто тут может исправить?..

Видно и впрямь говорил поп Федот под веселую руку, что мир заделывал бог, хорошо не подумав, и многое сотворил впопыхах, почему и пришлось потом уж на свободе доделывать чорту!

Ведь тоже вот создание божье, малина-калина садовая, как звала ее Марья Савишна, пока сама этой малиной не подавилась: барыня Рысачиха!

И в самом деле была в молодой поре заглечение...

Кто если на слово не верит, так пускай уж не

поленится и при случае завернет в чагодуйский музей, там разные древности местного края, собрано, конечно, с бору да с сосенки, что под руку попадалось, но есть и в самом деле интересные вещи: например, сапоги, которые сделали вотринские волчки из папиросной бумаги, — только когда купишь, деньги заплотишь да дома еще раз примеришь, узнаешь, что они не из кожи... В той же самой комнате,—как войдешь в музей—на левую руку—которая окнами выходит на двор кооператива как раз под крышу мучного лабаза, отчего и темненько,—в той же самой комнате, в простенке, наполовину за шторой висит теперь уже почерневший и сильно засиженный мухами портрет... редко кто знает, с кого он написан!

Так повесили, потому что в штукатурке дыра...

Мужики, когда случается, в простоте своей думают, что это царица Екатерина, личностью и осанкой и в самом деле смахивает, но куда Екатерине, хотя она и царица!

У той кругом парики, а тут натурально!

Грудь, как на часах два фланговых солдата, волос—на золото смотреть не будешь, щеки—розовые, как у младенца, белый лоб без малой тенинки, нос точеный, действительно как у царицы, хотя по истории у царицы как раз нос был куляпый, и только в глазах, если долго смотреть на портрет, усевшись в угол на стулик, в глазах, пожалуй, можно прочесть прикрытую искусной кистью суровость да

в четких и тонких, чуть искривленных губах неподимой силы жестокость...

А так—хороша!

Недаром сваты не давали после смерти майора покою, действительно, баба—малина, ну, а мужикам, как волкам, и малина—волчья ягода, резало с нее животы, ломало кости, а нечего делать: терпели!

* * *

С Никитой Миронычем барыня, когда бывала в хороших духах, несмотря на свою строгость, все же любила поговорить: приятно было барскому глазу залюбоваться лстивой игрой его бесчисленных около глаз и маленького не по-мужичьему носа морщинок, в которых четко были выписаны старостина преданность и полная на все готовность по первому барскому слову.

— Ну, Мироныч,—сказала барыня слабым голосом, усаживаясь в большое высокое кресло, когда староста поцеловал у нее краешек капота и поднялся с коленок с сияющей совершенным счастьем улыбкой, вылезшей ему на лицо, как тесто на залавок,—ну, Мироныч, давно-о мы с тобой не видались!

Вести с барыней великатные разговоры надо было большое уменье, тоже знание, когда слово вставить, когда только голову наклонить, когда смешок пустить или шутку, самое же главное—каждой мор-

щинкой, всяким уголком под глазами не ронять с лица ту преданность и умиленность, о которой даже дворовые псы знают всего наполовину.

Никита Мироныч в ответ рта не раскрыл, понимая: великая милость, что видит теперь барыню своими глазами, не дает говорить, но в глазах у него что только творилось в эту минуту: они, кажется, были готовы свалиться, скатиться к ногам и привеситься двумя пуговками к туфлям,—барыня оправила подолы, усаживаясь глубже и протягивая ноги на скамеечку, обитую зеленым бархатом, откинула устало руку с дорогими кольцами на точеных пальцах, с которыми Рысачиха не расставалась, то ли опасаясь, как бы их не подмели сальные девки во время уборки, то ли хорошо испытавши, какие глубокие шрамы после них остаются у этих девок на щеках.

— Опять, Мироныч, были сваты!..—вопросительно взглянула барыня на старосту.

С Никиты Мироныча потекла было медовая сладость, но тут барыня нахмурила брови, которые словно сломались посередине, и отвернулась, как бы не желая показывать старосте горя, которого тот все равно не поймет. Никита Мироныч все сразу смекнул, к чему дальше речь поведет, смахнул с лица морщинки и потупился с кающим видом, как на исповеди.

— Отказала!—отрубила барыня, одним только пальчиком на руке шевельнувши.—Отказала! Хотя,

Мироныч, и на этот раз, знаешь, опять сватался кто?

Никита Мироныч снова заиграл глазами, как самый настоящий придворный, вытянулся вперед и уж заранее выразил испуг и удивление.

— Князь Копыто-Наливайко... Они с покойным в одном полку начинали!

— Ох, матушка барыня!—прервал свое молчание Никита Мироныч, чувствуя, что пора уж вставить словцо, иначе недалеко до болвана, после которого у барыни хорошего больше уже нечего ждать.—Вы сами-то, матушка наша—царица! Что князь Копыто: у него заложено все и перезаложно, а у вас землю в день не обежишь, пожалуй, ноги отстанут! И с роду он тоже...—говорят, будто татарин!

— Нет... нет, Мироныч,—замахала барыня руками,—не говори. Ты дурак. Совсем не потому-у... совсем, совсем не потому!

Никита Мироныч, пропустивши благополучно дурака, выразил еще большее удивление, хотя знал все наперед, что барыня скажет.

— Не могу, Мироныч... не могу-у! Забыть, забыть не могу... Это... это такой был человек... такой был человек!—Рысачиха поднесла к глазам маленький платочек, хрустнули точеные пальцы, и кружева в них задрожали, а Никита Мироныч прижал к сердцу шапку и низко склонил голову.

— Я в монастырь, Мироныч, уйду... в монастырь!

Не раз уже староста слышал с самого дня смерти майора про этот монастырь, но про себя, жене даже

не проговорившись, каждый раз, выходя после таких разговоров от барыни, думал, что в этом монастыре еще не звонили.

„Сейчас пойдет,—промелькнуло у него в голове,— сначала в монастырь, а потом вспомнит и кого-нибудь велит отодрать на конюшне! Надо кликать скорее Аленку, чтобы тащила воды. Что ее на этот раз, чорта, не видно!“

Душа-Аленушка всегда стояла за шторой с готовым стаканом холодной воды, который вырывал у нее на ходу Никита Мироныч, подносил к розовым губкам, и Рысачиха отпивала глоток, после чего принималась уже за дела, забывая про монастырь до следующей встречи.

Оглянулся Никита Мироныч, и на этот раз вместо Аленки за шторой вдруг померещился ему золотой эполет, чудная эта ермолка с кисточкой на самой верхушке, вскрикнул Никита Мироныч, что и привело в себя без воды Рысачиху.

— Ай! — не удержался Никита Мироныч.

— Да что ты, Мироныч, обалдел, что ли? — спокойно спросила барыня, откинувши на колени платок. — Как меня испугал!

— Уж простите, матушка барыня, меня дурака, не удержался, — плаксивым голосом начал Никита Мироныч, — что же вы такое надумали, как же не вскрикнуть? Да не вскрикнуть тут — кричать будешь! В монастырь!.. Да вы же и так живете с мужиками-дураками, как в заточеньи...

Барыня с каждым словом отваливалась от спинки кресла, смотря на старосту воспаленными, иссиня-черными глазами.

— В монастырь!—продолжал Никита Мироныч.— А кто же о мужиках заботиться будет?

— Это ты верно говоришь, Мироныч: без меня мужики пропадут!

— Пропадут, пропадут, матушка-барыня! Пропадут, как вошь без волос, проворуются, пропьются все до чистогана и... по миру пойдут. Нет уж, барыня, матушка-барыня, лучше уж за Копыту тогда замуж идите!

— Молчи, дурак, когда сказать не умеешь!.. Как ты так смеешь?!

Никита Мироныч не ожидал такого результата своих пламенных слов, которые, как хорошо он по барыне видел, попадали в нужное место.

— Что за Копыто?.. — сломалась у барыни бровь.

Никита Мироныч смекнул, что зачитался и одним неосторожным словком все дело испортил; а все этот дурак Недотяпа, из всякого разума выбил, ни дна ему, ни покрывки. Хлопнулоя он барыне в ноги и завопил:

— Матушка-барыня: за князя Копыту! Копыту.. как его полностью величанье, опять, прости осподи, из разума вышло... Пощадите меня, дурака... не гневьтесь!—и поцеловал туфлю, которой барыня тыкнула его в нос.

— За князя Копыто-Наливайко, дуралей... Ох, господи, вот мужики! Когда я тебя, дурака, приучу к разговору?

Никита Мироныч, видя, что дело подходит к концу, снова грохнулся в ноги.

— Вставай, будет валяться... Ладно—прощаю!

Никита Мироныч встал, отряхнулся и вытянул руки.

— Ну, давай, Мироныч, говорить по делу: мужики бегут? Кто за эти дни убежал?

— Вроде как, матушка-барыня, после заявок случаев не было,—спокойно поклонился Никита Мироныч.

— Так... очень хорошо! Я и^ж проучу, как от меня бегать: со дна моря достану,—стукнула барыня ручкой по креслу,—слышишь, так и передай дуракам!

— Слушаюсь,—еще спокойнее Никита Мироныч ответил.

— Кто такой к тебе приходил... что мне тут плела Аленка, я хорошо не разобрала у дуры?

— Иван Недотяпа, матушка-барыня, вчера ко мне являлся!—вздрыгнул Никита Мироныч, как бы забывши в разговоре про Недотяпу.—Оброк вам принес!

— Та-ак! Почему не задержал, раз пришел? Он ведь опять дал тягу?..

— В стенку, матушка-барыня, от меня вышел,—шепнул Никита Мироныч.

— А оброк?—не удивилась барыня: мужик захочет, правдой и неправдой сбежит!

— Оставил, матушка-барыня, как же!—схватился Никита Мироныч за грудь, собираясь вытащить деньги.

— Подожди: все по порядку... оброк, значит, оставил... ишь ты, Мироныч, пороли, пороли мужика и вот до дела ведь допоролись!

— Да уж и сам теперь вижу, хоть и раньше был не слепой, что в нашем быту вся сила в кнуту... Дивное, барыня, дело случилось: милостынькой, говорит мне, милостынькой нашей матушке-барыне милостивице оброкчек собрал... дай, говорит, ей, осподи, много лет здравствовать, что в люди произвела!

— Ишь!—просияла Рысачиха.—Вот этого я и добиваюсь!

— Спасибоушко, говорит, барыне, что рукомеслу обучила...

— Это что такое, Мироныч, еще?.. Что за ремесло?.. Может, он разбойник? Разбойничьи деньги мне принес?

— Да что вы, матушка-барыня, что вы: такой тихий мужик! Воды не прольет, песку не просыпет! Милостыню он называл ремеслом: кому, говорит, подадут, а кому ведь и поддадут!

— И это ведь верно, Мироныч,—опять обрадовалась барыня,—скажи, какой вышел из дурака умный мужик! Я и не знала! Ну, а ты... пересчитал? Деньги-то пересчитал? Не обманул он тебя?.. Мужики ведь... ох, они жулики!

— Копейка, матушка-барыня, в копеечку вся недоимка! Все утро с Лукерьей считали! Копейка в копейку!

— А ну, покажи!—кивнула барыня на бархатную скамеечку.

Никита Мироныч вытащил из грудного кармана красный платок, в котором у него были приготовлены деньги.

Растормошил Никита Мироныч на бархатной скамеечке возле самых барыниных ног красный платок, и задрожали у него жилистые мужицьи руки мелкой дрожью, и к плечам словно потек кипятком, скривился он от удивления, смотрит на деньги и на барыню не смеет взглянуть...

Видно, что подшутил Недотяпа над старостой, долго будет помнить Никита Мироныч такой случай, кусая локотки со своей Лукерьей, завел ему, должно быть, кляузный мужичишко глаза на затылок, долго поутру смотрели, считая и пересчитывая, а оказался Никита Мироныч, как часто с нами, мужиками, бывает, в таком важном денежном деле хуже младенца, хотя, конечно, надо прибавить, что в таком случае скорее святых перепутаешь на иконе... словом, во всей откровенности, как это случилось и произошло, нам неизвестно, то только доподлинно верно, что, когда Никита Мироныч развязал перед барыней узелок, в нем оказались не медяки, а... золотые!

Мироныч... Мироныч... что же это такое?— всплеснула Рысачиха руками.

— Оброк-с!—не сразу ответил староста.

— Да что... что ты... погляди сам хорошенько: какой тут оброк?.. Тут—богатство!

— Вижу, барыня... как же... глаза, слава богу, на месте!

— Ну, Мироныч, благодарю! Ты—честный мужик! На, верный слуга!

Барыня протянула руку, и Никита Мироныч, незаметно смешавши в склоненном лице мед и калину, приложился к кончикам пальцев.

— Только ты слушай, Мироныч, не зазнавайся очень, что я тебе так по простоте сказала! Скажешь вот так-то от чистого сердца мужику, что он честный, а он как раз на другое утро и сделается совсем подлецом! Уж очень опасно похвалить вашего брата!

— Ни вам, ни карману не было обману, матушка-барыня!

— Верю... верю... разве бы столько лет тебя продержала?! Только... постой, постой, Мироныч: как же ты сказал, что тут всего только недотяпина недоимка?

Никита Мироныч покрылся черным сукном, но сразу догадался в хитром на такие штуки мозгу, как тут повернуть, чтобы хвост не было видно, вздохнул с придушенным отчаяньем и за глаза схватился:

— Эх, матушка наша барыня... не цените... не цените верного раба... обрадовать нашу милостивицу хотел, потому и не открыл правды!

— Теперь верю... Мироныч... верю, не к месту сказала строгое слово! Ах, деньги, деньги,—приподняла барыня платочек, все еще не веря глазам.—Как они, если бы ты знал, как только к разу! Да уж тебе-то скажу: теперь все проценты внесу по обоим закладным за именьё!

Никита Мироныч перекрестился, а барыня стала перекачивать с кончика на кончик золотые, жалобно они звенели, и звон их глубоко в утробе отдавался у Никиты Мироныча, где-то пониже пупка...

„Эх, выкупил бы и себя... и Лукерью... и на ребятишек бы, может, осталось!—думал Никита Мироныч, глядя, как барыня играет деньгами.—Эх, денежки, денежки, как камушки на бережке! Камушки несет вода, денежки пасет беда!“

— Какой вышел мужик этот Недотяпа, Мироныч, скажи, пожалуйста!—вывела барыня Никиту Мироныча из размышлений.—А мне соседи все уши прожужжали,—упрекают за излишнюю строгость! Сами себя, говорят, бьете палками по кошелью! А, Мироныч?

— Неразумное слово!—качнул головой староста.

— Дураки! Дворяне, а... дураки! Я им всем так говорю! А ну-ка Расскажи, Мироныч, теперь все по порядку,—откинулась барыня в кресло,—мне теперь все знать интересно!

И так и эдак повертывал Никита Мироныч, рассказывая барыне про Недотяпу...

Конечно, о том, что у него случилась в счете большая прошибка, он даже глазом не моргнул, весь рассказ свой он напямил к мысли, что барыне есть еще чем гордиться потому, что из среды ее мужиков вышел новый святой. Рысачиха слушала его терпеливо, перекладывая во время рассказа из красного платка в свой шелковый золотые, и блеск их путал у старосты слова со слюной, Никита Мироныч часто хватался за грудь и как бы задыхался от большого волнения...

Никиту Мироныча во время рассказа даже бросило в пот, поднял он свой красный платок, который барыня откинула в сторону, переложивши из него золотые, и с последним словом, отвернувшись ради приличия от барыни, вытер горевшее после жаркой бани лицо.

— Так... Та-ак,—протянула барыня, строго глядя на старосту,—так, только ты это, Мироныч, оставь про себя! Для себя оставь!

Никита Мироныч положил платок за пазуху и снова вытянулся палкой.

— Ты, Мироныч, умный, честный мужик и потому глупостей мне не болтай!

— Слушаю, барыня,—заморгал, не понимая, староста.

— Как это такое: святой? Мужик и святой?.. Что ты, Мироныч! Во святых мужиков с роду родов

никогда не бывало: посмотри на иконы!.. Кто на них изображен, в особенности на чудотворных?..

— Правильно, барыня-матушка, простите меня, дурака,—тихо ответил Никита Мироныч.

— Ты, Мироныч, неглупый мужик, а говоришь несуразность, спросил бы уж тогда у отца Ермолая, когда ничего не понимаешь!

— Беспрерменно, матушка-барыня, справлюсь,—поклонился староста.

— Теперь что тебе батюшку беспокоить. Я тебе говорю! Запомни: мужик может быть чортом, но не святым!—поводила барыня пальчиком перед старостой.

Никита Мироныч еще ниже опустил в знак согласия голову и думал про себя, что выпало ему мудреное утро, за которым дня не видать, и что разговор у него с барыней не клеится, что ни скажет—все невпопад, правильно барыня раз'яснила, что чорт, хотя сам Никита Мироныч видел венчик своими глазами, хотя и с тусклитинкой и не страсть какого размера.

„Пого...оди, святой чорт! Подо...ожди: придешь еще раз—я тебя поверну по-другому... Цацы да вацы с тобой размазывать не буду, а прямо... на конюшню... или опять к егерям!“

— Ты это, Никита Мироныч, запомни и другим Расскажи! Такие мысли очень вредны народу!

— Глупость наша, матушка-барыня,—переминался староста, как на иголках.

— Теперь слушай по делу: пока ты тут рассказывал про эти венцы, я пересчитала,—не страсть какая сумма, деньги всегда больше на глаз и меньше на счет; по первой закладной все же внести часточку процентов, пожалуй, и хватит, а на носу, Мироныч,—вторая! Решила я, имея на глазах недотяпин пример, пример очень-очень хороший, списать калеких всех и убогих с барщины на вольный оброк: пусть ходят по святым местам и тоже барыне хоть кой-чем послужат!.. Ох, Мироныч, закладные меня в разор одолели!

— Закладные, матушка-барыня, как лошади перекладные: одну загонишь, на другой поезжай. Мудро, матушка-барыня, решили! Соломон и то так не решит,—поклонился Никита Мироныч в ноги и поцеловал кончик капота.

— Экономия будет, Мироныч: во-первых, с хлеба долой, а во-вторых... во-вторых... душеполезное дело... впрочем, Мироныч, и молодых тоже жалеть нечего: лентяи!

— Лентеплюхи!

— Усиль-ка, Мироныч, порцию, я теперь вижу, что нищий и то дороже стоит, чем самый хороший мужик!

— К порке да к корке, матушка-барыня, народ наш привышен!

— Решёное дело: завтра же с утра наряди мужиков и вычитай им все это понаставительней да построже, а главное—раз'ясни недотяпин пример, как

я тебе говорила. А кто будет моргать, того на ко-
нюшню... дери теперь без малой уступки!.. Нищий
куда, оказывается, выгоднее мужика!

Никита Мироныч попятился от барыни к двери,
а Рысачиха поднялась, и еще круче вздынулась
у нее под нежным шелком могучая грудь, четко про-
ступили на материи пупырышки крепких сосков,
как и в самом деле на часах два фланговых сол-
дата.

— Без сумления будьте, матушка-барыня,—шеп-
тал Никита Мироныч.

— Аленка-а!—крикнула барыня. Аленка впорх-
нула синицей и встала на носочки.—Проводи Миро-
ныча. Иди, Мироныч, иди,—протянула ему барыня
в знак особой милости руку на глазах у Аленки
и зашумела шелковой бурей на половину к майору...

* * *

— Ну... как?.. Сказал, Никита Мироныч... Сказал
кто к тебе приходил?..

Никита Мироныч оглядел тупым глазом Аленку
и махнул рукой:

— Ничего мы не понимаем!

— Да ведь ты же говорила!

— Да и теперь говорю... а барыня, вот, раз'яс-
нила!

— Чего раз'яснила?—передохнула Аленка.

— ...Чорт приходил! Вот кто!

— Да ты ж, Никита Мироныч, говорил, что святой!

— И сейчас говорю: святой чорт!.. святой чорт, душа-Аленушка, к нам приходил!

Аленка поглядела испуганно на Никиту Мироныча, перекрестилась и повела его за руку по темному коридору.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

СТАРИННЫЕ КЛАВЕСИНЫ.

АЛЕНУШКА.

Месяц, высокий месяц, древний наш чародей!

В веселом сияньи весны, в томительных, в зеленых шорохах лета идешь ты, не разбирая дороги, закинувши голову ввысь, словно кудрявый беззаботный пастух подмышкой с березовой дудкой, в которой гнезда вьют соловьи!

...Или ж как важный боярин, поджидая гостей, стоишь в недвижности по самой середке голубого крыльца, красуясь узорным кафтаном с серебряной и золотой оторочкой, с которого в старину и мужики снимали покрой!

Когда же осенняя темень в переломе на зиму нахлобучит черную шапку с ушами на поле и лес, уйдешь ты надолго за тучу и бродишь в тумане, как косоглазый и хитрый колдун, родной брат пучеглазому Лиху, тогда рубищу твоему не позавидует нищий, а крадливую походку переймет только ночной душегуб да предатель...

Ох, месяц ты, месяц, древний наш чародей!

От века полюбил ты русские просторы, куда можно сыпать и сыпать без устали свет, все равно тьма и хмарь, и хмурь, и болотные марева ползут от деревни к деревне, от села к селу, вставая и грудясь туманом на перелесках, мешая дороги, скрывая пути...

...И не по ограде ль возле каждой церковки и часовенки на в'езде в любое село расцветает под твоим лучом рядом с чортовой тещей печальный плакун, в кои-то веки посеянный дворовыми девками на радость осподскому глазу и самому осподу богу в укор?

...И не пырь ли трава пялится по за дорогам, похожая на остро отточенный нож, которым режет мужик хлеб от праведного труда своего и с ним же выходит на большую дорогу, когда и намолится богу и наплачется вдоволь, когда и ты, заправивши бороду в рот и закрывши широким рукавом сонные веки, катишься низко над березовой рощей, где—теперь не поймешь!—кто там свистит: соловей в последний раз перед утром али подмостовный разбойник!..

Месяц, высокий месяц, древний наш чародей!

* * *

Не запомнила Аленушка роду...

Месяц да солнышко—всего и родни!..

Подкинутая какой-то согрешившей девкой в ясли к мелкой скотине, выросла Аленушка на скотном дворе, на крутых рогах у бодливой коровы, и только годам к десяти, когда барыня занесла майора уже в поминанье, ключница Марья Савишна за миловидность и сметливость перевела Аленку в людскую, где нарядили ее казачком, и долгое время она чесала перед сном барыне пятки, пока не получила в знак особой милости важный чин в барском обиходе — постельную девку...

Бедная, немудрая птица-синица, пригожая постельная девка душа-Аленушка!

Шесть раз ее беда обходила, потому что кто же будет считать за беду барынины пинки и потыкушки, ходила беда по другим и сразу со смертью под ручку пришла на седьмой!..

В памятные годы, как приезжал к барыне со сватовством князь Копыто, а чудачок-Недотяпа приносил первый оброк, случилась с Аленушкой нехорошая история, о которой она по робости никому не заикнулась, сама же о причине догадаться никак не могла.

По всему судя, Аленушка тогда затяжелела.

Долгое время Аленка не могла разобраться, отчего это у нее под пупком появилась вдруг такая упругость, словно от грешневой каши, с которой всегда, если вдоволь поешь, немного дует живот и в середине появляется сытое чувство грузности и полноты, сначала даже подумала, не килу ли ей

колдуны присадили в такое причинное место, потом же, когда непонятная упругость с каждым днем становилась все полней и на руку ощутимей, когда, как рыбка в мережке, под самым сердцем вдруг затрепыхалось, Аленушка перетянула станушку веревкой и стала ходить на людях подобрившись, чтобы не было очень заметно...

— Осподи... откуда ж это такое?—раздумывала девка, сразу спавши с лица и то холодея при этой мысли, то обливаясь сладким теплом и истомой.— Ужли ж оттого, что майор так тилискал?..

И в самом деле: с чего бы такому случиться с Аленкой?..

Марье Савишне заикнулась, а та говорит: сглазу! Али, может, с непокойного сна!

Да рази сглазу это бывает?

— Уж не седьмая ль беда?—сама себя пытала вслух глупая девка, просыпаясь ночью возле порога барыниной опочивальни и обмáхивая еще во сне набежавшие слезы...

* * *

Так и осталось для Аленки за страшную тайну, кто же так зло над ней подшутил?..

Где же было догадаться самой запуганной девке, что это за майор тилискает ее в кажинный приезд князя Копыты?

Вот напьются, наедятся всего, упокоится и запрется барыня у себя на половине, и Аленушка

захрапит на жесткой постилке, и только забудется, кто-то вдруг подкрадется, навалится сразу, жамкая нетронутую крепкую грудь холодными пальцами, отчего у сонной Аленки пуше того отнимаются уставшие за хлопотливый день ноги, дыхание спирает под самое горло и сонные, открытые на одну минуту в испуге глаза сразу падают в черную прорву, откуда только несутся, перегоняя друг друга, круги, пляшутся костлявая рожа с мясистыми губами и впалыми щеками, как у мертвеца, да страшно покачивается серебряной кисточкой смешная майорова ермолка, чуть прикрывая лосную татарскую плешь...

* *
* *

Однажды, когда у окон стояла непогожая осень и дождик с утра, словно хлыстом, стегал по заплаканным стеклам и за ними в меркотном свете махали голыми сучьями ясени и аллеиные липы, как будто отгоняя разбойников от барского дома, а по саду в перепляску кружились на ветру последние листья, то вздымаясь вдруг желтым ворохом, то опять припадая на мокрую землю в испуге,—однажды барыня Рысакова слонялась с мешками у глаз и с нехорошим, постаревшим с дурной погоды лицом по унылому дому, отвешивая дули прислужающим девкам. Стоном стонал барский дом, звонко отдавались по темным углам барынины оплеухи и невольные всхлипы, придушенные рукавами и проглоченные

вместе с слезами в утробу, пока не спустился вечер-избавитель, нахлобуча на землю разбойничью непроглядимую тьму.

На барыниной половине раскалили камин, на ломберный столик уставили свечи, и Рысачиха после своего трудового дня уселась, наконец, с видом мученицы за трудный пасьянс, в который верила, как в провиденье:

— У... ух, как устала, никак... никак не сообразишься с этим народом!

Аленушка подложила барыне вышитую подушку под ноги и встала за кресло; барыня раскинула карты веером и сильно задумалась, словно над делом.

— Ах, Аленка, вот если бы вышел пасьянс, непременно можно бы выйти за князя... уж так я загадала,—разнеженно проговорила барыня, откидывая в сторону двойки и тройки, которые, видимо, всегда без толку лезли под руку, только королю к червонной даме закрывая дорогу...—Ох, эти двойки!..

— А вы бы, барыня, откинули их,—установилась в карты Аленка,—тройки нужны только когда играют в носы!..

— Ах, молчи ты лучше с носами,—оборвала барыня девку,—нет... нет... опять не выходит... кружатся порозь трефовый с червонною дамой,—кокетливо барыня откинула полную руку с прозрачным рукавом дорогой кисеи,—всегда этот пень снизу сидит, и никакой мастью его не вызволишь на середину... А дама всегда, как на прогулке, как на про-

гулке, откладывается очень-очень удачно... Ты как думаешь, Аленка, правильно я гадаю на червонную даму?

— Червонная, барыня милая, самая вдовая масть!— пролепетала птица-синица.

— Верно, Аленка: вдова! Вдова бедная, брошенная!—Рысачиха поднесла к глазам, из которых повисла на щеку большая слеза, тонкий платочек и глубоко вздохнула.

— А вы, барыня, попробуйте как-нибудь подмешайте... подфальшуйте немного... может, тогда и выйдет пасьян,—с участливой серьезностью прошептала птица-синица, — карты, известное дело, любят подмеску!

— Скажешь тоже еще,—нахмурилась барыня, — ну, и выйдет не пасьян, а мужик Касьян!

— Ох, барыня милая, мы когда в козыри играем, так всегда фальшуем! А то в дураках насидишься!

— Дураки и есть!

— Нет, барыня: больше фальши, от дураков дальше, как говорит Никита Мироныч: в дураках, говорит, не в старостах!

— Молчи лучше, дура,—отрезала барыня,—когда ничего не понимаешь!

Со щек Аленушки сбежал торопливый румянец, колотнуло под сердцем, и девка испуганно опять подобрала живот.

— Нет... нет... никак не выходит!.. Дама к нему всей душой... всей душой... а он... да что ты, Аленка,

как я в последнее время гляжу на тебя, стоишь все как-то отклячась... Некрасиво! Сама себя этим очень дурнишь!

Аленушка вспыхнула до волосинки и каждым перушком задрожала, но барыня зевнула после такого вопроса и, смешавши колоду, перешла к клавиесинам.

Дивно было Аленке вечерами стоять у барыни за плечами, держа в руках трепетно горящие свечи...

Перед барыней на подставке разложены широкие листы с чудными букарашками и червячками, ползущими то поодиночке, то целыми кучками по пяти тонким линейкам, и клавиесинные клавиши скалятся в пламени свеч, словно с белыми и черными зубьями попеременно раскрытая пасть.

Нет, кажется, слов подходящих на свете для обозначения томительной нежности звуков, плывущих в чудном мелькании пальцев барыниной ручки... может, есть они у ручейка, у того самого леса с бесчисленными переливами соловьев, по которому гуляет Аленка с Бурканом во сне, собирая ягоды или грибы,—ох, этот сон: ягоды—к слезам, а грибы—тоже грибаться... плакаты!.. Сами от этих переливов подкашиваются у Аленушки ноги, чувствуя горячей голой ступней, как качается пол... больно бьет под самое сердце непонятная истома, стесняя дыхание, и в глаза, словно по делу, набиваются глупые слезы... и то ли это рыдания слышатся в них, то ли искристый, неудержимой радости и веселья девичий смех,

каким заходятся девки, купаясь в покосное время в реке, только трели и переливы поднимаются вот выше, все выше, и все чаще и незаметней для глаза порхают по белым и черным фисташкам пальчики обнаженных по локоть рук... в комнате вдруг сквозь проступившие слезы Аленки начинает все оживать, кажется, вон на камине фарфоровый пастушок, обнявши в розовом платье пастушку, положил на пояс девушки руку, и они склонились друг к другу и, видно, уже не стыдясь никого, поплыли по самому краю камина в неведомом простым людям танце—лянсе, и голые псиши за ними как будто все ниже обнажают собранные на самом стыду складки ажурных станушек, и звонко, отвечая каждому еле уловимому взмаху барыниной ручки, трепещут амуры за плечиками бабочкиными крылушками, собираясь лететь, а сверху фонарь выпялил на Аленку совсем живые глаза китайских драконов, у которых головы чело-вечьи, а одна так и вовсе ни дать ни взять как у Хомки, вместо же ног и рук чешуйчатые змеи, вьющиеся в беспрестанном движении по прозрачному шелку расписанного абажура.

Аленка переминулась с ноги на ногу и моргнула глазами, смахивая щекочущую слезинку с ресницы, выпер у нее далеко живот и отразился в полированном лаке клавишинной крышки, выдавая барыне страшную для Аленушки тайну.

— Эт-то что у тебя такое?—пнула барыня девку всею ладонью в пупок.—Ветром, что ли, надуло?

Аленка вскрикнула, застигнутая врасплох, и, не соображая, что делает, глядя на барыню большими глазами, поставила на пол тяжелый подсвечник, страшно перекосилось на нее в хлынувшей с потолка полутьме тонко очерченное лицо Рысачихи, и по полу забегали долговязые тени, прячась в углы...

— Ветром, говорю, надуло?—вскочила барыня, замахнувшись на девку.—Отвечай, паскуда!

— Барыня... милая...—всхлипнула Аленка и, приготовившись к удару, закрылась руками.

— С кем нагуляла?—рванула барыня девку за косу.—Отвечай! Ай да гулена-Алена!.. Ну и ну!

— Не знаю, барыня... ей-бо, пра... не знаю!—упала Аленушка на колени.

— Ну и ну! Так и не знаешь? Ужели успела забыть?

— Не знаю...—шепчет Аленка.

Про майора, конечно, и в голову не пришло Аленушке заикнуться в эту минуту, должно быть, больше срасплоху да страху, чем из расчета, хотя как же не знать было Аленке, что нет такой казни на свете, которой бы не придумала барыня, если бы она обмолвилась словом.

— Ну!—сложила барыня руки.

— Не знаю,—опять прошептала Аленка в ответ и спрятала голову между коленок.

— Да что ты со мной в козыри, что ли, играешь? В дурах, что ли, оставить хочешь. А?—исказилась Рысачиха нехорошей улыбкой, и судорога, как молния, прорезала ее лицо вискосок.

— Осподи боже, осподи боже... смилуйся надо мной!—перекрестилась девка поспешно.

— Говори начистоту: кто? Буркан?—прошептала и барыня, словно боялась этого слова.— Он?

— Ей-бо, пра, барыня, нету!.. С Буркашей только и всего, что поцеловались на Пасхе... так в Пасху ж целуются все же... Сами же знаете вы... как же с Бурканом... когда я от вас ни на минуту...—приподнялась девка немного, жадно глотая слезы вместе со словами.

— Ты у меня не на аркане... захочешь, так wybierешь время. В козыри, в козыри, девка, играешь! Та-ак... не думала, не ду-умала, что барыню, за милости ее, в таких дурах оставишь! Ловко обделала дельце... Да как ты смела, трепалка, без спросу?—барыня подошла к двери и, чуть приоткрывши ее, крикнула в темноту:—Савишна, Савишна! Дура да-авишна!

Затрепетал в коридорной темноте огонек на этот крик и захлопали вдали мягкие туфли, видно, что Савишна уже бежала со всех ног, по одному голосу барыни догадавшись, что случилось что-то такое, отчего этой ночью ей уже не уснуть.

— Что тебя, ворону, никак не дозовешься?—зыкнула барыня, когда перед ней вырос длинный нос из темноты и загорелись прыгавшие глазки под лобовиной, в которую словно вросли за ухо на черной тесемке очки.

— Чайку, што ли, калина-малина садовая, захотела?—ключница носом.

— У... у, водохлебка!.. Только и знает, что чай лыздать да дрыхнуть!.. Позови Хомку!—полуобернулась барыня, отходя от двери.

— Сью минуту, калина-малина, и то с твоей музыки малось соснула, сью минуту!—ключница взглянула одним глазком на Аленку и снова заковыляла по коридору, а барыня метнулась к девке, дернула за косу, на что Аленушка звука даже не проронила, прошла из угла в угол и, остановившись у клавесин, уронила как бы нечаянно руку, не глядя на ноты, и мимо Аленушки побежал тонкоголосый ручеек из пасти поющего зверя, которому на простом мужичьем языке, кажется, нету названья...

ХОМКА.

Разные родятся люди на свете...

Святые и разбойники, простак и жулики...

Одного человека за золотую гору не подобьешь на нехорошее дело, а другой за калачи пойдет в палачи...

А человек живет, словно зверь следит по пороше... и все... все пишется в книгу!

Все пишется в книгу, и когда нарождается новая жизнь на земле, звезда загорается в небе, как заглавная буква в рисунок и краску, и с буковки

этой начинается новая в книге строка и... книгу эту читает не какой-нибудь буки-аз-ба-ба читарь, а чтец настоящий, мудрый начетчик грешных слабостей человеческой души...

Думали так наши деды, да и теперь еще по глухим местам многие думают так же, но если подумать и нам и кой в чем разобраться, так выйдет, пожалуй, и правильно то, что самим еще дьяволом в первозданные дни, как любил говорить поп Федот, в великой книге создателя ради кромешной шутки были перепутаны многие строки...

... И сроки сбываются... и время идет!..

* * *

Хомка словно чутьем слышал, когда его позовут к барыне, и потому не заставлял себя долго ждать.

Был он у барыни за самого нужного ей человека, егерь над егерями, хотя барыня его не любила: Хомка был безобразен не по-человечьи!..

Говорили про него, что еще в люльке хомкины щеки чорт языком облизнул, потому что мать от него после родов раньше семи дней вышла на улицу и чертыхнулась, споткнувшись... действительно можно было подумать на чорта, такие красно-багровые языки шли у него по обеим скулам под мутные, словно помои, глаза и из-под глаз загибались за шею, смотреть долго не будешь на такого человека, а взглянешь разок и отвернешься, потому что зарежет

глаза и самому будет неловко... ох, эти хомкины губы, рот до ушей, словно разворочено лежалое мясо, которое уже проросло синими жилками и дало душок, к тому же и волос у Хомки лез отовсюду, как из забора крапива в каждую щелку, и при смоляной своей черноте еще сильнее оттенял багровые невыводимые знаки чортового поцелуя...

Хомка, когда пришло ему время жениться, ходил к нам в Гусенки к колдуну Филимону, который умел выводить чортовы пятна с лица человека... Филимон будто бы велел ему каждой весной ловить ежей на полосах и варить их с луком, живьем кидая в кипящую воду... смазываться перед каждой утренней этим отваром и пить его наполовину с богатым маслом, но, видимо по всему, Хомка был такой человек, которому и колдуны не помогали.

Может как раз по такому его уродству из Хомки и вышел у Рысачихи первый хвостач, костоправ, у которого не было жалости ни к старику, ни к молодому, который, если барыня назначала кому на первый раз двадцать пять палок, так уж от себя добавлял еще половину.

— Пришел?—тихо спросила барыня, оторвавшись от клавишей, когда скрипнула дверь и на пороге рядом с Марьей Савишной из черноты и пламени выступило страшное лицо Хомки.

— Пришел... пришел, калина-малина садовая. Как же, говорит, сижу и дождаюсь. Я, говорит, зна-аю, когда я барыне нужен!—закракала ключница,

отошедши от Хомки, который опустился на пол и приник на порог.

— Ну, ты помолчи... пять копеек получишь,—махнула на ключницу барыня ручкой,—дело есть к тебе, Хомка!—встала барыня к двери бочком.—Жениться, как, ты, Хомка, еще не раздумал?..

Хомка ударился лбом о порог, а Аленушка чуть высунулась головой из коленок, взглянула на Хомку и снова ее уронила.

— Ну, если еще не раздумал,—растягивала Рысачиха слова, скося поглядывая на девку,—так я тебе подыскала невесту!

Хомка опять ботнул в порог, Мария Савишна сложила на животике ручки, терпеливо ожидая, что будет дальше, Аленка же, словно разбуженная последними словами барыни, вскочила на ноги, взметнулась руками и снова бросилась перед барыней на колени.

— Не пойду... барыня милая, не невольте... все равно не пойду!—сказала девка с такой не идущей к ее заплаканному лицу твердостью, которой Рысачиха, видимо, совсем не ожидала.

— Да ты что... что ты... спятила?..

— Не пойду... лучше живой в землю заройте!

— Кто же тебя будет спрашивать, дура?—сломала бровь Рысачиха.—Да как ты смеешь еще говорить?!

— Теперь мне... не страшно!—твердо отчеканила девка.

— Молчать!—вскричала барыня и пнула Аленку ногой, Аленка качнулась чуть от удара и вытянула руки, не вставая с коленок.

— Посмотрим... поглядим... откуда пойдет дым, как говорит Мироныч! Ты слышишь, ворона? Ты чего же это глядела? А?—обернулась Рысачиха к ключнице.

— Вижу... вижу, калинка-малинка!—сначала как бы обрадовалась ключница аленкиной беде.

— Чего ты глядела?..

— Говорила же тебе, калинка-малинка... предупреждала!..

Рысачиха затопала на ключницу и сжала кулаки:

— Молчи!.. Молчи!.. Как ты смеешь? Хомка—выпороть ворону!

— Прости, калинка-малинка садо-овая!—завопила ключница, тоже опускаясь, словно подшибленная, на половик.—Не доглядела! Не доглядела!

Марья Савишна хорошо знала, что всякие оправдания в такую минуту могут повредить только делу.

— Прощать тебя я устала! Хомка, отдаю в жены тебе трепалку-Аленку. Я тебя позвала... вроде как на смотрины... хотя... не смей, не смей подымать хари, после лучше увидишь! А теперь другое дело: завтра приехать князь обещался, будет часам к десяти! Смотри у меня, чтобы собаки были все в порядке! С вечера накормить, а завтра чтобы ни крошки! Иди! Завтра получишь Аленку!

Аленушка ударилась о пол и словно застыла. Марья Савишна сложила на груди руки крест-накрест, словно во время молитвы, и глядела на барыню вороньими моргливыми глазками, а Хомка, не вставая на ноги и не подымая лица, повернулся на месте и пополз в коридор на четвереньках...

— Хомка!—бросилась барыня к двери.—Захвати с собой эту ворону и дай ей ради первого раза...— барыня вроде как задумалась и поглядела на ключницу,—всыпь ей... три палки! Пшла, пшла, тебе говорю!

— Слушаю, барыня!—зашлепали из коридорной тьмы хомкины губы, а Рысачиха схватила ключницу за руку, вытолкнула ее и с поспешностью захлопнула дверь.

— Ну, невеста,—сказала барыня девке,—вставай... с женихом належишься... собери мне постель...

— Слушаю, барыня,—покорно поднялась Аленка, не скрывая уже выпертого наперед живота.

— Уходилась я с вами!—Эх, ты, а еще князь предлагал поменять тебя на борзую!

Аленушка поклонилась, не глядя на барыню, и проскользнула в портьеры, как тень.

СТРАШНЫЙ СОН.

Плохо спала в эту ночь Рысачиха.

В первый раз в сердце строгой барыни шевельнулось что-то похожее на жалость к бедной Аленке,

к которой как-никак Рысачиха привыкла, да и кем ее заменить?

У Рысачихи четыреста душ, а что с того толку?

Одних баб десять хороводов, а урод на уроде и такие грязнухи, варачки, что к себе на шаг не подпустишь!

Кого тут к постели приладить, когда даже с дворовых девок валяются вши, только за косу дерни?!

Ходит у Савишны в помощницах кривая Палашка, девка как будто бы ничего, если не считать, что кривая, но никак не отучат: после первой порки по ночам со страху прудится!

Пожалуй, тоже Савишну обидела зря?!

Надо ей бумазеи подарить, не зря же Савишна намекала на князя... ну, что же: побаловался немного!.. А Мироныч говорит, что за Аленкой что-то приглядывает очень Буркан, как бы не стал свататься, как этот страшилище Хомка, а тут зна что вышло! Нет, нет, Аленку надо выдавать с разумом: а то еще греха наживешь! Не спишь да выплещешь, дом подожжет... высадит двери плечом (что кузнецу сторожа?) и барыню стукнет!

Ведь даст же бог одному человеку такую силу!

Буркан, говорил староста, на колеса без клещей обода нагоняет, в ковку, если лошадь задом кидает, держит за ногу одною рукой, меняя подковы, и будто бы даже ударом пятипудового молота из калёного куска железа выбивает сразу сковороду!

Нет, с таким выродком надо иметь осторожку!

Лучше обоих женишков этих просто напросто как-нибудь обойти, потому что и Хомка ведь нужен, хотя отец Ермолай не нахвалится Бурканом, такой, говорит, смирный мужик, пальцем никого не тронет, словом не заденет и в церковь ходит каждое воскресенье! Но кто его знает, когда если любовь? Что на свете злее любви? Что-что, а это барыня на себе испытала!

Нет, лучше, пожалуй, и в самом деле Аленку поменять на борзую!

Ах, какая собака, у Рысачихи ни одной такой не найдется! И что князь так уперся в Аленку, когда барыня ему три целых семьи отдавала?!

А лучше... лучше всего... Тут Рысачиха погорячала всем телом и облилась вдовьим румянцем... Лучше всего...—что с того, что пасьянс не выходит, и у других вон тоже только из тысячи—раз и то наудачу!—выйти и в самом деле нешто за князя? Тогда и борзая будет, и Аленку можно простить; в наказание, правда, когда разродится, можно сучку от борзой заставить выкармливать грудью для улучшения породы. Без наказания оставить, конечно, нельзя! Не годится!

А в самом-то деле?!

Рысачиха глубоко вздыхала, повертывалась с боку на бок в перине и хваталась за грудь, на груди при мысли о князе упруго вскакивали соски, как на дозоре, и барыня, щекоча их горячими пальцами, для

самой себя незаметно от сладких мечтаний наконец погрузилась на теплое дно сновиденья.

* * *

В рысачихином сне уже во всю гремела музыка на невидимых хорах, веселая свадьба была в полном разгаре, и перед преображенными глазами барыни мелькали по большому, украшенному цветами залу мундиры, блестя золотом эполет, в столь головокружительном вальсе, что ни у дам, ни у кавалеров не было видно голов... мундиры, мундиры, белые бальные платья с широкими подолами, а у под'езда то и дело палит медная пушка, которая осталась в память майора, сохраняясь в музейной комнате, где все стены завешаны саблями, бердышами, генеральскими лентами и орденами... рядом с барыней князь в фельдмаршальском чине. и такой молодой... усики—волосок к волоску, на лбу ни морщинки, а брови черные, черные и выгнулись страстной дугой.

— Сколь он прекрасен,—шепчут рысачихины губы и улыбаются, и руки, как бы невзначай, роняют на пол цветы, а князь склоняется грациозно, двумя пальчиками подымает цветок и гадает по лепесткам о любви,—неужели это Копыто?.. как же это я до сих пор его не разглядела...

— Любит,—слышит Рысачиха ласковый шопот у порозовевшего уха.

— Не любит,—кокетливо отвечает она, и отвернувшись, смеется счастливым смешком в лебединое

опахало, которое всегда висит у нее в изголовьи, как память далекой поры, когда блистала она в Петербурге.

— Любит... любит,—смеется князь и увлекает барыню под руку по мраморной лестнице с дорогими коврами, внизу которой в парадные двери, раскрытые настежь, бьет такое яркое солнце, какого в наших хмурых местах никогда не бывает...

У под'езда стоит, танцуя от нетерпения, буланый жеребец Адонай, за которого в свое время заправили дурачка Недотяпу, недаром жеребца кормят гречихой, ишь какой лосный, как в зеркало можно глядеться... а Адоная на шею кобыла Аврора, тоже хорошая лошадь, положила пятнатую голову со вздутыми ноздрями и большими ушами, на ней всегда ездит князь, потому что она не трясет, а у князя давнишний недуг... несваренье...

— Борзых!—кричит властным голосом князь Копыто, подсаживает Рысачиху на Адоная и сам вскакивает, заметно любясь своей ловкостью и выправкой.— Борзых!

— Ах, какой красавец и такой молодой в таком чине... люблю!—хотела кинуть Рысачиха признание, но они летят уже по широкой дороге, вдоль которой выстроились, как на параде, егеря со сворами гончих и узкомордых борзых, егеря одеты на заморский манер: шляпы с перьями от страусовой птицы, казакины разноцветные из дорогого сукна и по-военному того времени в обтяжку штаны... псы, как по

команде, поднялись на задние лапы и отдают честь, по-солдатски приставивши правые лапы к ушам, а левые вытянувши в струнку, и егеря едва сдерживают их, откинувшись взад с перевязанными по поясу биче-
вами, гудят и звенят веселыми переливами охот-
ничьи рожки, сладко от их голосов закатывается сердце и светлеют глаза, пышут на солнце охот-
ничьи ружья и лезвиями горят кривые ножи... и вот
вдруг такое необ'ятное поле... изредка только встре-
тится деревцо и поспешно посторонится с пути, по
которому несется охотничья кавалькада.

Рысачиха впереди, рядом с ней князь, а сзади в
почтительном расстоянии—гости... кто на лошади, кто
на корове, а кто и просто, просунувши между ног
большую жердину... вон... вон... на палочке скачет
соседский помещик Бодяга... ой, как смешно... как
смешно... или это издали кажется только?

— Куда мы скачем, князь?—спрашивает, подпры-
гивая в седле, Рысачиха.

— На Черную речку,—слышится веселый голос,—
там всегда ложатся лисицы.

— Ох, эта речка,—думает Рысачиха,—издавна в
ней топятся бабы и девки... как бы чего не слу-
чилось!

Хотела она повернуть Адоная, тронувши чуть за
узд, но под ногами уже пролегла черная лента и
жеребец, остановившись на всем скаку, нагнул к
черной воде и тянет сквозь зубы, пофыркивая на
Аврору, которая тоже припала к реке на колени.

Рысачиха смотритса, охорашиваясь перед князем, в прозрачно черную струю, похожую очень на траур, который носила Рысачиха в первые годы после майора, с такой же рябью она от чуть заметного ветерка... но что это такое... что это такое: из выбившейся прядки волос как будто свесились и упали на глаза четыре седых волосинки.

— Это снег!—шепчет князь, щечоча рысачихину щеку усами.—Это снежинки... и к вам очень идут!

Провела Рысачиха дрожащей рукой по волосам, отвернувшись в тревоге от князя, и они засеребрились, отражась в черной воде и мешаясь в ней с поредевшим золотом яркого отлива, которым барыня так в свое время гордилась.

— Князь, вы надо мной смеетесь,—горестно воскликнула Рысачиха, оторвавшись от своего отраженья.

— Ах, простите... простите... и в самом деле совсем наоборот: вы запылились!—слышит она насмешливый голос.—Впрочем, не все ли равно... теперь вы княгиня!

— У княгини должны быть золотые волосы,—прошептала Рысачиха бочком и, заглядевшись на крепкие икры, на которых напружились нитками швы, обронила на землю большую горжетку из той самой диковинной лисы, которую когда-то еще затравил майор на этом месте.

— Ах, смотрите, смотрите, княгиня: у ваших ног играет лисица.

Рысачиха вскрикнула от удивленья: и в самом деле совсем живая лисица расправила хвост и бросилась в сторону, полыхнув в глаза золотистым пламенем, барыня дернула Адоная за уздечку и поскакала за зверем... катится по полю быстрый комок, Адонай вытянул шею, и под его копытами улетает земля, но лисица становится все меньше, все меньше, унося с собой отливающий золотом хвост.

— Это она у меня косу украла,—думает Рысачиха, стиснувши зубы и не отрываясь от зверя глазами.—Адонай... Адонай!..—кричит она не своим голосом и хлещет со всей силы ременным арапником в бок.—Адонай, Адонай!

Со всех сторон заулюлюкали, загугукали егеря и облавщики, и мимо барыни вдруг проплыла в воздухе вытянувшаяся в стрелку княжеская борзая, а хитрый зверь, почуявший гибель, свернул с прямого пути, увидевши в эту минуту лохматые кусты и редкие деревья, которые вдруг вышли на горку и стоят, дожидаются и издали машут зверю ветвями.

Но где же уйти лисице от такой редкой собаки!

— Адонай, Адонай!—задыхается Рысачиха.

Борзая наддала, понявши уловку, вот уже вытянутая морда собаки сравнялась с хвостом, и теперь уже зверю конец, некоторое время они несутся в таком положении, но вот лисица присела, борзая влипла ей в желтую спину и, несколько раз перевернувшись, покатилась кувырком через голову вместе с зверем в зубах, стиснутых в мертвую хватку.

Рысачиха закрыла глаза, как бы боясь, чтобы не обманула собака, и со всей силы жеребцу всадила арапник.

* * *

Когда Рысачиха соскочила на землю, то ни князя около нее не было, ни гостей никаких вдали не видеть, стоял кругом густой стеной можжевельник, и над можжевельником вытянулись голые ольхи, словно мужики с непокрытыми головами, а где-то, должно быть, за многие версты от этого места звенел чуть слышно охотничий рог, выводя веселую фиоритуру к окончанию охоты.

Рысачиха осмотрелась с испугом, приготовила нож, но, поднявши полы можжухи, разглядела под ней не лисицу, а лежащую навзничь Аленку, у которой, откинутый в сторону, ярко золотился вместо косы лисий хвост.

— Аленка... ты тут, дура, откуда? Вот где ты снюхалась с кузнецом!.. Вставай сейчас же, а то приколю заместо лисицы!—закричала Рысачиха на девуку.

Но Аленушка, видимо, крепко спала, не ответила ни слова барыне и только голову на другую руку переложила.

— Аленка!—закричала еще громче Рысачиха и взмахнула кривой ножик над девочкой.

Но не успела Рысачиха его опустить, высмотрев прореху у самого сердца Аленки,—кусты зашевелились,

словно кого пропуская, пошел шелест по веткам и треск, и перед самыми глазами Рысачихи вдруг выставились саженные плечи, тележным колесом выкатилась могучая грудь, сверкнули глаза, как осенние молнии, и к плечам протянулись жилистые, словно веревками перевитые руки.

— Буркан,—выронила нож Рысачиха и закричала:—люди...лю...ди... по...мо...ги...те...

ЖЕНИХИ.

Тут и в самом деле Рысачиха во сне закричала так громко, что сама от своего крика проснулась...

...В окна бил резкий после затянувшейся непогоды солнечный свет, веселые зайчики играли на медной ручке створчатой рамы, а за стеклом дерева расставились в белом пуху столь неожиданной близны в первый миг пробужденья, что голые ветки казались картинным рисунком, отставшим с голубого полотна плывущего невдалеке за околицей по зимнему тихого неба...

— Фух, какой страшный сон!—Рысачиха провела по волосам, рассыпанным по подушке, и схватилась за зеркало.—А ведь и в самом деле сединки! Как это раньше я не замечала?.. Непременно надо будет сегодня же с князем покончить, а то ведь... вдруг не попятный?..

— Аленка!—закричала Рысачиха и дрогнула с последней мыслью голым плечом, с которого с'ехала за беспокойный сон кружевная рубашка.

Но никто на ее крик не появился.

— Аленка-а!—вышла из себя барыня, спуская с постели голую ногу и нащупывая на коврике туфли, но ни дверью нигде не хлопнут в ответ Рысачихе, ни на улице никто не проголосит, провинившись пред Савишной, тикают только в углу на камине часы да тревожно бьется под пышной грудью еще не пришедшее в себя после страшных снов сердце,— и в самом деле разладилась девка! Выпороть надо... ни разу еще не пороли!

Рысачиха соскочила с высокой постели и, не умытаясь, накинула на себя из верблюдовой шерсти халат, забравши волосы в чепчик.

Выглянула барыня, чуть приоткрывши дверь, как бы желая застать Аленку врасплох, и в щелку к большому своему удивлению разглядела: на пороге в противоположных дверях, уставившись с недвижностью в сапоги, стоял Никита Мироныч и перебирал в руках заячью шапку.

— Мироныч,—откинула дверь Рысачиха,—ты что это тут столбом выставился? Кто тебя звал?

Никита Мироныч по своему обычаю ботнулся на пол и стукнул в него лбом, как на молитве.

— Прости, Христа ради, матушка-барыня, без зова явился! Дела, матушка-барыня, понудили... такие дела!

— Ну, ты с этими делами... не успела глаза раскрыть, а ты уж с делами... что они, дела-то твои, убегут?..—недовольно проворчала Рысачиха, завязывая на халате шелковый пояс.

— Ждал, матушка-барыня... когда вы проснетесь.

— Еще бы не легче: ввалился прямо в постелю. Ты последнее время тоже что-то лишнее начинаешь говорить... смотри у меня, Мироныч!

— Простите, матушка-барыня... по простоте!.. по невинности больше!

— Ладно... вставай... прощаю! Во-первых, где Аленка?..

— А эн она, сука,—сказал староста, подымаясь с полу и показывая рукой на окошко,—под самыми окнами у вас, стерва, на яблони удавилась...

— Что...о?—взвизгнула Рысачиха, подскочивши к окну и сразу от него отшатнувшись.—Да как она смела?..

— В жизни да смерти, говорится пословица, матушка-барыня, один бог волен,—прошептал Никита Мироныч, перебирая шапку в неловких руках, которые ему всегда в присутствии барыни очень мешали.

— Ну, ты, пожалуйста, без этих пословиц!—оправилась барыня от испуга.—Прикажи немедленно снять и зарыть на Коровьем Погосте... без отпеванья! Удавленников нельзя хоронить с молитвою по религии...

— Слушаю, матушка-барыня, это точно, с веревкой на тот свет придешь, ни в ад, ни в рай не попадешь!..

— Вот что, Мироныч... кликни-ка Савишну... вчера я малость велела ее попороть... небось, глаза стыдно теперь показать старой дуре!

— Ох, матушка-барыня, сколько раз я вам говорил да выговаривал, чтобы вы никого не пороли, меня не позвавши... хотя, конешное дело, порка не свадьба, и не зовете, так обида в этом не-большая!

— Ты что?.. Учить меня собираешься?! Да что ты, Мироныч: Савишну, говорю позови!

— Нету, матушка-барыня, Савишны больше!

— То есть как?—схватила Рysаcиxа за ворот халата, из которого глядели на старосту белоснежные кружева и тонкой струйкой стекала с шеи барыни с маленьким крестиком сбоку золотая цепочка.

— Так,—собрал староста на лбу из морщинок гармошку,—запороли! Обрадовались егеря, что и ключница ввалилась в беду, и вместо трех палок... до последнего издыхания!.. под палками и умерла и язык вывалился на солому!

— Да я же сказала Хомке, что только три палки?..—опустила барыня руки.

— Хомка до Марьи Савишны, матушка-барыня, давно добирался!—стряхнул Никита Мироныч гармошку.—Говорит, ключница у барыни первая наушница, это она, говорит, мешает мне высватать Аленку.

Погоди, говорит, я заверну на голову хвост этой вороне!

— Мироныч, что же это такое?—присела барыня в кресло.—Не верится даже, чтобы из-за одной девки столько народу перемутилось?! Позови Хомку: я ему покажу!

Никита Мироныч потупился опять в сапоги и не сразу барыне ответил.

— Да ты еще что: позови, говорю, Хомку! Ключницу запорол... Да знает ли эта образина, что он со мной сделал? Кто у меня теперь будет рыжики разносолить, капусту шинковать и квасить?

— Да, была мастерица,—вздыхнул Никита Мироныч, сам не понимая, с чего он в этот разговор так охрабрел перед барыней,—да теперь уж, как сами часто вы говорили: стала Савишна дура давишна!

— Сам дурак... как ты смеешь... Позови немедленно Хомку,—вскочила барыня и замахнулась на старосту ручкой.

Никита Мироныч наклонил голову и не торопясь отвесил барыне поклон:

— Нету, матушка-барыня... нету и Хомки!

— Что... о... о... о? Что ты еще говоришь?.. Да что ты, Мироныч, в уме?..

— В полном разуме, матушка-барыня... не хотел вам вываливать всего, без остатка, а то и в самом деле не поверили бы и чего доброго велели бы отпороть...

— Говори!—неистово закричала барыня.

— Слушаю, матушка-барыня! Хомка, видите ли, как вышел после Савишны с конюшни, а ведь вы сами ему приказали выдавать на такой случай заливухи, сколько захочет, вышел из конюшни и прямо к Буркану... разбудил его и давай над ним выхвально, дескать, что взял, кузнечьи мехи, что... а... выкусил?.. не видать тебе Аленки, как своего затылка... для меня у барыни устроили, дескать, даже смотрины... а тебя, хучь ты и Буркан, посадят на аркан, кузнечными гвоздями кормить будут... ну, кузнец, конечное дело, слушал, слушал, а потом вышел, схватил дурака за заднюю ногу да и шарнул со всего размаха, раскачавши, сб угол... теперь у Хомки, лежит в с'езжей, что голова, что творожная лепешка... родная мать не узнает!

— Буркан!—тяжело передохнула барыня во время рассказа старосты.—Словно чувствовала, что так будет! Связать!—опять закричала барыня.—Что мне теперь с этим народом делать без Хомки?.. Господи боже, да что же ж это такое?

— Связан, матушка-барыня... связан... по рукам и ногам... ужищами связан! Сам без поперечки в узлы руки просунул... вяжите, говорит, меня, православные, вяжите крепче, не то такого еще натворю! Крепился, крепился, говорит, и на вот: не докрепился! Ну, да и у телеги, говорит, гуж лопает, не токмо что терпенье у человека!

— Связан?! Связан?!—обрадовалась Рысачиха.—Ужищами?.. не вырвется?..

— Да что вы, матушка-барыня?.. Такой тихий парень!.. он и не думает рваться. Говорю, что сам дал связаться!..

— Заковать! Слышишь: заковать! Нагнать на ноги кольца убийце!

— Слушаю, матушка-барыня, слушаю,—поклонился Никита Мироныч,—говорится, годится опаска и в пост и в паску!..

— Ах, Мироныч, как только мне теперь сообразиться с этими... проклятыми... женихами?.. Да что же ж это такое?..

Староста затеребил заячью шапку, не предвидя ничего хорошего в таком расстройстве барыни, а Рысачиха упала в волнении в кресло и закрылась рукой... в это время как будто издалека сначала, так что можно было подумать, что просто от всего происшедшего в такую страшную ночь звон в уши ударил, а потом все слышнее, слышнее, как раз в это время затилинькали за окном веселые колокольцы...

— Тинь-диль-линь-тень-длинь-тень-дон! Тинь-диль-линь-тень-длинь-тень-дон!—кто-то под'езжал к барской усадьбе, собаки в загоне враз залаяли, завыли на разные голоса, разобравши нехитрую музыку звонков князя Копыты, которые приходилось им слышать всегда перед охотой, Рысачиха просветлела лицом, приподымаясь понемногу и прислушиваясь, ахнула вдруг и подбежала к окну, а Никита Мироныч вытянулся на носочки, заглядывая через плечо

барыни на дорогу, которая сначала путалась в голых ветках опавшего сада, а потом черной лентой убегала в поле уже наполовину со стаявшим снегом.

— Князь! — радостно передохнула Рысачиха. — Спаситель! Мой избавитель! Ах, какой, если б ты знал, страшный сон я сегодня видела ночью, Мироныч!

— Полноте, барыня... чего вам бояться... сторожа всю ночь вокруг дома ходят... да и сон-то сегодня толь до обеда!

— В самом деле... как раз ведь обед... как я с тобой заболталась... боже мой, а я еще не одета... беги... беги: принимай!

Рысачиха бросилась в спальню, а Никита Мироныч повернулся на каблуках, чуть не упавши, и побежал по коридору.



Когда вышла Рысачиха, первый раз в жизни управившись с пышной срядой без девки, к именитому гостю в приемную, Никита Мироныч уже успел рассказать обо всем происшедшем за эту ночь, и князь стоял у окна, под которым висела Аленка: на застывшем лице его лежало как будто волнение, хотя князь был немного с рябинкой, и все, что у него творилось в душе, на лице было словно закрыто тонкой рогожкой.

— Здравствуйте... князь... как только я вам рада! — пропела Рысачиха, увидевши князя. — Ах, не

смотрите... ради бога, не смотрите!.. такая наглость... я никак в себя притти не могу!—протянула барыня руку подходящему дрыгающей походкой князю Копыте.

Князь в самом деле напоминал с лица большую подкову, прибитую ради счастья к высокому входу... Был он непомерно высок и от такого высокого роста казался очень худым и тщедушным, хотя, может, таким на самом деле и не был... грудь у него вгибалась в мундир, отчего получался всегда нарочито вежливый вид, как будто князь никак не разогнется в поклоне, и короткие руки с проступившими четко синими жилами были привешены с первого взгляда очень непрочны и казались совсем ненужными и лишними при таких длинных ногах... при всем этом князь дрыгал при малейшем движении правой коленкой, всем телом валясь на этот бок.

--- Раиса Васильевна... ангел души моей!—приложился князь Копыто к оголенной рысачихиной ручке немного пониже плеча.—Рад и я бесконечно!

— Мироныч, ступай!—стрельнула барыня в старосту бровью.

--- Нет... нет, Раиса Васильевна... пусть Никита останется... на минуту... он тут мне рассказал обо всем довольно подробно, и я хочу вам, ангел, с места, так сказать, в карьер предложить одну... одну испытанную меру,—голос у князя был очень приятный и рот полон зубов.

— Ах, князь, как я вам благодарна!—показала Рысачиха на кресла.

Князь, придерживая незаметно правую ногу и немного исказившись в лице, опустился против Рысачихи, а Никита Мироныч вытянулся на пороге палкой и уперся в резной потолок.

— Я, ангел Раиса Васильевна, давно уже хотел вам сказать, да как-то случая не подходило. Вам надо в корне изменить способы наказания...

— Отменить? Что вы, князь, что вы, разве возможно?

— Да нет. нет, Раиса Васильевна: изменить. В наказаниях главным образом важен, так сказать, общий пример! Общий пример!

— Не понимаю, князь! Я всякое соображение потеряла с этими мужиками!—махнула барыня ручкой.

— Понять очень не трудно. Вы порете поодиночке, так ведь? А это и невыгодно. потому что на всех много времени нужно, и не так уж полезно. Надо, видите ли, сразу всех разложить, по слову Никиты, как будто бы после свадьбы. и березой обносить, так сказать, как опохмелкой, поровну всех!

— Ах, поняла: общая... общая порция!

— Совершенно правильно, Раиса Васильевна! Самое лучшее средство! Ты как полагаешь, Никита? Не вредно еще раз спросить: у нас с ним до вас уже был такой разговор!

— Оченно даже разумно, ваше сьятельство!—встрепенулся староста и заморгал глазами.

— Ах, князь, я слабая женщина и совсем, совсем не могу сообразиться с народом,—откинула Рысачиха руку как бы в изнеможеньи.—Однако, князь... что же, у нас сегодня не состоится охота? Снежок?!

— Снег не жилец на этом свете, матушка-барыня... Третьевысь такой же вот выпал,—вставил Никита Мироныч, кивнувши на окна,—а завтрава чернотроп будет!

— Никита правильно говорит, Раиса Васильевна, лучше я займусь у вас сегодня делами... вашими делами, и я вам покажу, как я бы поступил после всего рассказанного мне, и вы убедитесь...

— Ах, князь, ради бога... ради бога... Я только не смела просить!—уткнулась Рысачиха в платочек.

— Никита,—немного привстал князь Копыто,—наряди народ на середку, а егерей выстрой к парадному входу! Имеются розги?

— Целый сарай!—вытянулся Никита Мироныч.

— Отпарить! Распорядись также, чтобы мужики больше одних исподних не надевали!..

— У нас и так, ваше съятельство, благо к тому больше одних-то ни у кого не бывает: баба сподники стирает, а мужик на печке сушится!—заиграл Никита Мироныч морщинкою.

— Пшел... живо!—взвизгнул, топнул ногой, и староста исчез, как виденье.—Умный мужик... хотя я люблю русскую мудрость!..



— Князь... садитесь поближе, — прошептала Рысачиха, — я так вас сегодня ждала, так ждала!

— Раиса Васильевна, вы знаете сами, что стоят для меня такие слова! — подкатил князь кресло в упор к Рысачихе.

— Я... сегодня решилась... если вы не отдумали?!

— Рая... Рая... боже, какой вы мне открываете рай! — князь свалился с кресла и стал перед Рысачихой на одно колено, вытянувши другую ногу, как показалось Рысачихе, непомерно далеко.

— Жених мой... жених! — томно проворковала Рысачиха и упала князю головой на плечо.

— Рая... Рая... сыграй мне мою любимую... в ней столько нежности... столько красоты! — шептал князь, еле сдерживая рысачихину грудь.

— Ах... как я счастлива, — откинулась барыня, — как я снова счастлива!

— Вы — мечта всей моей жизни, — привстал опять князь на колено, — ваш покойный супруг и мой лучший друг...

— Ах, не надо... не надо, князь, вспоминать... Я так счастлива снова! — томно проговорила Рысачиха, отстраняя князя рукой и поднимаясь.

— Рая... ради бога... ту... нежную... в ней столько молодости, красоты!..

Рысачиха открыла клавесинную крышку и тронула еле слышный первый аккорд, князь откинулся в кресло и закрылся рукой; вся комната как бы наполнилась сразу затаенным душистым дыханием невидимого существа, поющего о человеческом счастье, о молодости с розовой зарей за плечами, о девушке с золотыми волосами и с лицом, похожим на весеннюю розу, в которой еще не показались шипы.

И ни князь, ни барыня в своем позднем очаровании не заметили, как быстро в это время, как бы боясь опоздать, насунулась на село Скудилище черная туча... Засиротились в нахлынувшей полумгле убогие избенки, как бы уже не видя больше исхода и птясь от барской усадьбы подальше в овраг.

Прогудел сходский колесок, по селу забежали мужики, сильно размахивая руками, пулями зашмыгали ребятишки, полоумно бабы заголосили, хватаясь за щеки, и рваные снежные пятна, кой-где оставшиеся на дороге, были похожи из барских окон на белые головные косынки, оброненные на бегу перепуганными девками в грязь...

Село Скудилище готовилось к порке, какой и у барыни Рысачихи не бывало еще с роду родов...

* *
* *

...Но не будем, не будем омрачать душу столь тягостным напоминанием старины, описывая картину свирепой расправы с ни в чем неповинными рыса-

ками, которые если и были в чем виноваты, так разве лишь в том, что и впрямь не перепутаны ль вечные прекрасные строки о правде, добре и человеческой справедливости. Здесь, у нас, на земле, не перепутаны ль строки в той книге, которая, как верили деды, лежит на высоком облаке в небе, как на подставке, раскрытая перед очами создателя в часы восхода и заката на самой середине...

...Но сроки сбываются... но время... плывет...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

БАРИН БОДЯГА.

ВЕРНЫЙ ДРУГ.

Чудные и непонятные для простых мужиков дела повелись у барыни Рысаковой после того, как князь Копыто, устроивши в селе небывалую порку, увез с собой из Скудилища кузнеца, закованного в цепи, для передачи за убийство Хомки начальству...

Разговор о том, что барыня помолвилась с князем, долгое время не слезал с языков... кто говорил, что будет теперь еще хуже, а кто, напротив, обнадеживал и себя и других переменой.

По слухам, у князя хотя бы и порют, но порют один раз только в месяц, притом же порют всех сразу, а потому и не так уж обидно!.. На людях и смерть красная, хотя бы и напрасная!

Вот вернется из Питера, куда князь, по словам Никиты Мироныча, поехал гостей звать на свадьбу, отпразднуют, отвеселятся, и пойдет все по-другому, хотя оно, конечно: хрен редьки не слаще!

Но пуше того сгорбятились избы с ничем неприкрытой убогостью и нищетой, захлестали их в осенние непогоды дожди, загнавши с одного конца в темную глотку большого озера, и ветры надули продыры на рубищах пологих соломенных крыш...

...Словно в неизлечимом недуге, обнажая иссохшие ребра, сползли с избенок изношенные балахоны осочных пелег и уныло усталились в землю перекосенным зраком окошки, как будто терпеливо пытая ее, скоро ли она, бездыханная, примет их с искалеченными мужиками, и в самом деле теперь пригодными более к побирушничеству, чем к топотливому труду у земли, с бабами, вытянувшимися в заботе, в работе, словно глисты, и шелудивыми ребятишками, от которых ни смеха никогда не услышишь, ни игры или забавы какой не дождешься,—скоро ли примет их со всем скарбом в свои темные недра, укутавши белым саваном на вечное упокоение...

...Так прошла ненастливая перевитая холодными туманами осень, то с неправдышним снегом, то с уливным дождем, и только изредка золотился с барской усадьбы последний кленовый листок, похожий на девичью ладошку с расставленными пальцами как бы ради защиты,—низко и лениво помахивая намокшими под дождиком крыльями, тянулись через село гуси косяками и тонкой бичевой журавли, с гоготом и курлыканием потрафляя, должно быть, в то самое далекое царство, куда, собирая по добрым

людям рысачихин оброк, может, ушел и мужичишка-чудачок Недотяпа, и хмуро за ними, как будто еще хорошо не разобравши дороги, плелись изо дня в день низкие облака, как калики, подергиваясь к вечеру чернью и хмуростью и подолгу застаиваясь над взгорьем с несобраным льном, как будто додумывая над ним суровую мужицкую думу...

Сами при виде этой картины повисали у мужиков и без того отбитые руки и ноги, не слушались и не переступали дальше порога, у которого земля, кажется, на добрых поларшина в глубину расступилась и сверху разлезлась, словно по блюду кисель.

Как тут в такую пору дашь от барыни тягу?

Выйдешь за околицу и в глиняной жиже насмех людям последние лапти оставишь...

Да и после княжеской порки редко у кого вправились кости и затянулись рубцы, с рубахами, приросшими к битому телу, залегло Скудилище по печкам, обобрав на гумнах все лопухи для утишения жара, охая и почесывая спины в ожиданьи зимы и какой-нибудь еще новой неотвратимой напасти, и только бабы с-темным по неотложному своему домохозяйству труском поспешали к колодцам, страшась друг дружке попасть на глаза... ох, темные, непроглядимые ночи с волчьим воем у подворотни, с недужливым ветровым подвывом в трубе, от которого, кажется, захвораешь безо всякой болезни, дни-скупердяи с неправдышним светом, за которые ни одной поделки мало-мальски не успеешь доделать,

кто вас так терпеливо, кроме русского мужика, выносил да и теперь еще глухими местами выносит?!

* * *

Но как-то совсем незаметно свалился за непогодой важнецкий зазимок и заковал охряслую землю... в ночь повалил с неторопливой важностью снег, окуталась сразу земля, и по нетореной пороше напересек улицы пугливо запрыгали поутру следы от валенок и бабьих чуней, а к обеду с веселыми звонками, оставив сзади себя вдоль всего Скудилища широкую атласную ленту, прокатила к барской усадьбе кибитка и за нею вслед ковровый возок, в котором сидел соседский помещик, мелкопоместный барин Бодяга и с ним два брата, тоже помещики, Кушаковы...

Мужики, заслышавши еще издалека малиновый звон, не знали, куда головы сунуть: а вдруг вернулся с дороги барынин нареченный, до Питера не доехав?..

Пойдут развлечения, облавы на каждое утро, не только мужикам и бабам, зайцам в лесу и то покоя не будет, осподам удовольствие, а тут—застуда и чирьи, от которых потом всю зиму не налазишься в печку!..

Но в скорости после приезда гостей прибежали впопыхах дворовые девки с усадьбы и такое разнесли по селу, от чего у мужиков от большого удивления оттопырились уши: действительно, приехал

соседский барин Бодяга, которого барыня не очень жаловала и всегда за столом усаживала с самого краю, ради шутки поила после дорогих вин уксусом, керосином и лампадным маслом, а с ним вместе два брата, помещики Кушаковы, похожие друг на дружку, как сорочьи дети; вплоть до бородавки у каждого на левой щеке, так что, как любила барыня над ними подтрунить, их даже путали жены, и столь бессловесные оба, что никакое угощение не развезывало у них языки... ехали будто запросто к барыне спрыснуть первый снежок и поцеловать барыне ручку, а по дороге как раз нагнала кибитка, и в этой кибитке оказался чиновник Подсбруев из Чагодуя, судейский, орденов у него—курочке клюнуть негде, бородачи как у попа, и важность такая... расхаживает по всему дому и распоряжается, словно хозяин, все ему выложи да покажи, и вилки и ножи, а барыня с наплаканными глазами и вздувшимся носом от такого непредвиденного беспокойства ходит за ним по пятам и только прижимает к сердцу платочек...

Бодяга с братьями Кушаковыми хотели, было, узнавши, в чем дело, поворотить к дому оглобли, но барыня чуть не со слезами упросила остаться, а Бодяге незаметным образом сунула в рукав сто-рублевку, моргнув на чиновника с орденами... Бодяга ткнул будто за фалды, а он и внимания никакого не выказал, переписал все в приемной и подвесил на ниточках сургучи...

— Взять взял, ирод, — шепнул барин Бодяга, отозвавши Рысачиху в сторону, — а медальки все же навесил! Вы бы, знаете-понимаете, ему еще сторублевик, а то и сразу три штуки... видно, что ему одной мало, жаратку!

Барыня не выдержала таких бодягинских слов и заголосила, как деревенская баба:

— Спасите... разбойники... грабют!

И лопнулась на пол...

Бодяга отскочил от барыни, братья Кушаковы схватились за сердце, а чиновник Подсбруев со строгостью посмотрел на барыню, у которой даже глаза закатились, и бровью не повел от таких оскорбительных слов.

-- Обычные в таких случаях нервы! — развел он руками перед Бодягой, который все время совался ему под ноги со сторублевкой, улучая минуту сунуть деньги за фалды, но, должно быть, так и не улучился, совравши барыне, а тут, не зная, что ему в таком курьезе с барыней делать, а самое главное, куда теперь девать сторублевку, забежал с поклоном за Кушаковых и незаметно опустил себе бумажку в карман. — Вполне понятная женская слабость! Однако, господа, вам придется остаться и дальше присутствовать при описи имущества помещицы Рысаковой, не брать же мне понятых, разумеется, из ее мужиков?!

Братья Кушаковы гмыкнули и поклонились, уставившись в орден, а барин Бодяга выбежал стремглав в коридор и заорал хриплым тенорком:

— О, лю...ди...и...и во...о...о...ды! Бары...ня поми-
ра...ает!

* * *

Оттого ли, что Рысачиха так неожиданно на полу растянулась, аль потому, что барин Бодяга, сделавши страшное лицо, так заорал в коридоре, только на этот крик не только никто не отважился показаться, но даже Никита Мироныч, который стоял во время описи в уголку и ожидал от барыни распоряжений, даже Никита Мироныч от великого испуга бросился вместе со всеми задним ходом на улицу через людскую, оставивши барыню в таком ее положении безо всякой защиты.

Что там дальше творилось в селе Скудилище, никто хорошо сам не видел, и только потом уж, через десятые руки, со слов бодягиных крепостных, с которыми барин Бодяга по малоимуществу своему был на короткую ногу, пошли разговоры, и если по ним рассудить, то кой-чему тут можно поверить, но и усомниться можно во многом...

* * *

По этим рассказам так все выходит, что и барин Бодяга даже всего не мог видеть своими глазами, то есть сколь благополучно чиновник, сопровождаемый двумя братьями Кушаковыми, управился с описью у майора на половине, потому что когда

Бодяга вернулся из коридора, никого не дозвавшись, чиновника с братьями Кушаковыми он уже не застал, и куда они воспоследовали, шут их там знает, братья Кушаковы были известные гмыкалы и немтыри, если тут что и случилось, то об этом можно только догадываться и строить разные предположенья... тем более, что барыня по возвращеньи Бодяги лежала в полной бездыханности попрежнему в приемной и никаких знаков к жизни не подавала...

С барыней тут и занялся Бодяга...

... Вспрыснул ее одеколоном, поцеловал несколько раз неподвижную ручку и так прилаживался и эдак, приводя барыню в свои чувства, наконец расстегнул даже лифчик под шелковым пеньюаром, чтобы не стеснялось дыханье, когда же Бодяга неосторожно ткнулся в открытую грудь холодной рукой в то самое место, куда за корсаж барыня прятала деньги, Рысачиха чуть приоткрыла глаза и так поглядела на Бодягу, что тот упал перед ней на колени с невинным лицом, сложил руки и запричитал:

— Слава... слава создателю... вы не умерли... вы живы!

Рысачиха сразу оправилась в такой неловкости и поднялась на ноги, чуть пошатываясь и опираясь Бодяге на локоток:

— Спасибо... спасибо... вот верный друг! — спокойно сказала она, запахивая грудь. — У меня такие, Бодяжка, все время несчастья...

— К счастью... к счастью, Раиса Васильевна... вернейший признак, знаете, к счастью и к большой-большой удаче... По соннику так!

— Ален... лен!—вздумала было Рысачиха, очевидно, и в самом деле еще не совсем пришедши в себя, позвать девку, но тут же осеклась.—Ах... я и забыла... Бодяжка, какой неблагодарный народ!

— Свиньи-с, свиньи-с, Раиса Васильевна, истинные свиньи. Только сказать: барыня чуть не умирает, а они... хоть бы рукой кто пошевелился. Обрадовались даже как будто. Ах, действительно, свиньи... тупорылые...рылые свиньи... Раиса Васильевна!

— Спасибо... спасибо... Проводите меня, пожалуйста, в спальню.

— В спаленку, в спаленку... Бай-бай, бай-бай... Ах, Раиса Васильевна, понимаете, все пустяки на этом свете, во-первых, а во-вторых и в-третьих, я, знаете, на вас прямо дивлюсь и удивляюсь, как вы... с таким, можно сказать, значеньем допускаете... подобные вещи... С'езди вы в Питер, понимаете, шепните кой-кому на ушко, и еще неизвестно, чем может, знаете, кончиться дело?

— И то думаю,—сказала Рысачиха, проходя под руку с барином Бодягой в спальню.—Ведь это ж, Бодяжка, разбой!

— Понимаете, Раиса Васильевна: большая дорога!

— ...и этот чиновник, — зашептала Рысачиха, — переодетый разбойник!

— Мошенник... с фальшивыми орденами! Правильно... правильно, Раиса Васильевна... мы его знаем!.. мы его знаем! Понимаете,—тоже шопотком зачастил Бодяга, озираясь на двери,—известнеющий вольнодумец! Тюрьма плачет!.. Хотя, знаете, такой мастак огребать награды и ордена... чорт его знает, понимаете, как у него это все так ловко выходит!

— А вы заметили: борода привешена?..—присела Рысачиха на край широкой кровати.—Удивляюсь, когда не заметили... удивляюсь!..

— Вот еще скажете, понимаете: не заметил!.. что от меня ускользнет? Как же, как же... я даже, грешный человек, хотел за бороду так... чутилку дернуть, посмотреть, что из этого выйдет, да ведь сами понимаете, все же ведь страшно... А вдруг она у него, знаете, все же своя? Или так крепко прилеплена, что ее соленой водой не отмочишь: ведь какой проходимец! Все может стать! Камфуз... скандал может выйти... Ложитесь, ложитесь, Раиса Васильевна. Закиньте прекрасные ножки и не обращайтесь, знаете, на меня, что я человек мужеского племени... Извольте, извольте, я вам помогу!

— Спасибо... спасибо... не надо!—потонула Рысачиха в пышно взбитой перине, с'ежившись и подбирая подола под ноги.—Ах, как устала!

— Баиньки... баиньки... почивайте и чувствуйте, что вы за мной, как за каменной стеной... да-с: я дворянин и ваш давнишний слуга и поклонник! Пока вы покоитесь в об'ятях морфея, я, знаете, в

щелочку, в дырочку... все, понимаете, прослушаю и высмотрю; и может даже, шут его знает, понимаете, придется пока сунуть ему еще сторублевку?!

— Это ж, Бодяжка, грабеж... как он смеет! Ах, если б был здесь... князь... Зачем, зачем он так некстати уехал?

— О... о, князь просто бы велел его отодрать на конюшне! И дело с концом!—сорвал Бодяга висящее в изголовьи лебединое опахало и замахал им на Рысачиху с такой яростью, что барыня невольно зажмурилась и уткнулась в подушку.—Больше, понимаете, ни звука, ни слова... полный, полный покой. А завтра... с прекрасной зарей, знаете, прямо надо ехать к царю... изложить жалобу прямо к стопам! Потому что и в самом ведь деле это что ттакое... Конечно, конечно, так оставить нельзя... так их совсем избалуешь! На голову сядут, на спину залезут! Нельзя, Раиса Васильевна, невозможно. Если вы, знаете, не поедете сами... так я, как дворянин, я сам пешком побегу! С мешочком пешочком пойду! Спите... спите... Раиса Васильевна... я здесь на страже! И, знаете-понимаете сами, если бы у вас, без долгих слов говоря, нашлась тут под рукой полынь или какая другая настойка, так я бы, ей-богу... слова не вру... простоял бы здесь до утра и завтра же с вами вместе поехал! На себе бы понес!.. честное слово вам дворянина. И добыюсь... и понесу, знаете... и достигну!

Рысачиха мечтательно приоткрыла глаза, а Бодяга закинул ножку за ножку и преобразился в улыбку; одним только вращением небесной голубизны глаз барыня показала Бодяге на шкафчик, убранный перламутром, и прошептала:

— Ах, Бодяжка... как я в тебе ошибалась... какой ты обходительный человек... Значит, не сердись, что при князе я напоила тебя в прошлый раз керосином?

— Во-первых, не керосином, а... богovým маслом... Это для души даже полезно, а, во-вторых и в-третьих, Раиса Васильевна, что вы, что вы... Как же можно иметь на вас сердце? Понимаете сами... никак, никак невозможно...

Бодяга, вытянувши приятную лысинку с розовым отливом, достал граненый графинчик, поглядел на свет и причмокнул, налил себе пузатую, а барыне маленькую рюмочку с золотым обводом по краю:

— Вам... знаете, полагается узкую талию... не рюмочка, а невинная девица!

Рысачиха с царственным видом приняла подношение, чуть привставши в постели, а Бодяга строил постное рыло и затянул, как псаломщик:

— Не пей...йте ви...ина...а, ви...ино...о есь... блу...уд!

Рысачиха смешливо зажмурилась и замахала ручкой, оглянувшись на дверь.

— Я вполголоса, Раиса Васильевна... вполуктавы, знаете... ви... ви...ино есь блу...уд..., а кто не пи...иет тто...от плу...у...у...ут! Хе-хе-хе! Кушайте, Раиса

Васильевна, а завтра мы с вами, знаете, прямо к стопам!

— Ах, Бодяжка, не поминай!—Рысачиха поднесла рюмочку к порозовевшим губам и снова откинулась на подушку.—Удивляюсь, как таких разбойников держат на службе!

— Жулик, Раиса Васильевна! Форменный жулик с большой бородой! И—эх, за ваше драгоценное, Раиса Васильевна и... красоту!—Бодяга опрокинул в утробу, крикнул селезнем и хлопнул себя по брюшку.—Знаете, Раиса Васильевна... я, как друг,—присел он чуть на краешек рысачихиной постели,—как друг, ей-богу, вы такая необыкновенная... венная, понимаете, женщина... ей-богу, не вру!.. и как это вы только решились... я, конечно, дрожу, говоря такие слова... конечно, князь, высокое званье и все там такое... но ведь у него... зубы.. вставные... вставные, ей-богу, не вру... хотя, конечно, вы не обращайтесь... никакого вниманья на мои слова... никакого вниманья не обращайтесь... я, как вам известно, человек мужеского племени и тоже чувства имею... но не буду... не должен... конечно... Налить?—вдруг оборвал тираду Бодяга, взглянувши в огненные глаза Рысачихи.—Выпьем еще по лампадке?..

— Фух, какой пьяница!—сжеманилась барыня.

— Пьяница... пьяница... а делишко тянется! И—эх, Раиса Васильевна!

— Бодяжка... какую побольше!—простонала барыня.

— С удовольствием... с превеликим... я такого вам кучера сейчас преподнесу! В три обхвата!

Рысачиха протянула ему обнаженную руку и после сочного поцелуя, когда Бодяга думал, было, разогнуться, ничего еще не подозревая, схватила его за ворот, и он сразу пошел на дно теплой перины, чертя сапогами по стенке.

МАЙОР И ТРИ ПУШКАТЕРА.

Должно быть, пропановался барин Бодяга в барыниной спальне довольно изрядное время...

— Да и выпили-то мы,—подмигивая, потом рассказывал барин Бодяга,—совсем пустяковое дело, а туманы... туманы, знаете, такие пошли, все закружилось, завертелось... люблю... люблю... когда перед глазами все движется и сам ты летишь... как планета...

С сильно помятым брюшком, которым Бодяга гордился, как украшеньем, поглаживая его всегда любовно и складывая на нем калачиком ручки, барин Бодяга, когда барыня и в самом деле безмятежно заснула, с'ехал с кровати мореного дуба и в полынных туманах вспомнил вдруг про своих приятелей, братьев Кушаковых...

— Эх... дураки!..—прищелкнул Бодяга, оглядевши опустевший перламутровый шкафчик.—Млекососы!

Привставши на носки и расставивши руки для большей устойчивости, вышел кой-как барин Бодяга

из барыниной спальни и закружился по приемной, в которой уже стоял полумрак, должно быть, от плотных занавесей и хмурой погоды... все предметы вдруг получили любимую Бодягой чудесную силу вращения, не двигаясь с места, подошел к окну, и за стеклом в саду деревья встали кверху ногами, стремглав опрокидываясь вершинами вниз, а сверху совсем уж бог знает откуда повалила белая вата, взглянул на диван, и он кувырнулся на бок, словно пьяный мужик, откинувши ножки, а подсвечник на столике так размахался перед носом у Бодяги хрустальными розетками, куда вставляются свечи, как будто хочет Бодягу ударить...

В таком смятении стал Бодяга рассматривать дверь на половину к майору и не сразу поймал ее за медную ручку (плавала эта ручка в глазах золотой рыбиной, с большими плавниками у головы и хвоста), повернул ее Бодяга, просунул голову и, не успевши ступить в другую комнату, завязился в двери, должно быть, зацепившись за жабры оттопыренным сбоку карманом, в котором была сквозная дыра.

Со спертым дыханием и столь бьющимся сердцем, что сам потом удивлялся, как это оно у него в ту минуту не разорвалось, Бодяга повел мутными глазами и чуть в бочок от себя разглядел: стоит в полной парадной форме с плюмажем в поларшина, со шпагой и пышно расправленной кистью на рукояти, с генеральской лентой через плечо и с такими яркими эполетами, что у Бодяги в глазах даже за-

ныло, одним словом, в полном своем живом виде стоит будто бы перед Бодягой генерал Рысаков и, видимо по всему, о чем-то печально про себя размышляет.

— Вот так допился... ну, и полынь!—про себя подумал Бодяга.—Покойники полезли в глаза... ишь, их превосходительство... да-с... вашество... вашество...—прошептал Бодяга, собрав в себе силы в таком неудобном положении.—Как изволите, вашество, себя чувствовать, смею спросить?

Майор оглядел Бодягу, словно в первый раз видит, будто раньше и встречаться не приходилось, и сначала ничего не ответил, а только еще сильнее навалился на дверь... но когда Бодяга повторил свой вопрос слово в слово,—майор нахмурился и качнул головой:

— Скверно, Бодяга... очень скверно!

— Полноте, вашество,—вздумал Бодяга и дальше поддержать разговор,—это у вас застарелая небралия. Выпили бы рюмочку глинтвейну али мадеры, и все бы прошло!

— Я белую... больше с полынью, Бодяга... Бодяга...—зашептал вдруг майор, сложивши руки на орденах.—Бодяжка, спаси, идут... идут... слышишь?

— Нет, вашество, что-то не слышу!.. по-моему, это у вас за спиной мыши скребутся!

— Дурак,—шепчет майор,—ничего не понимаешь: повесят на грудь сургучи, и поминай тогда, как звали героя отечественной битвы генерала Рысакова.

— Это уж точно!

— Выручи, вон, я у тебя вижу, вылезла бумажка из грудного кармана!

После таких слов навалился майор всем корпусом и протянул к Бодяге пустой рукав шитого золотом мундира, который в самом деле висел всегда в этой комнате, как откроешь дверь, тут же, на стенке.

* * *

Хлебнул, должно быть, в эту минуту настоящего страха барин Бодяга.

Хотел он было отрапортовать майору, что у него, у главного под'езда майорского дома, стоит мерин караковой масти в ковровом возке и что он почел бы даже за честь прокатить генерала, а если бы тот приказал, так и на край бы света даже доставил, хотя мерин быстрым ходом никогда не отличался, что же касательно денег, так, во-первых, Бодяга никому взаймы не дает, чтобы отношений не портить, а, во-вторых и в-третьих, все равно... все равно чиновник Подсбруев давасов никаких не принимает, потому что большой вольнодумец... но майор все сильней и сильней напирал на тяжелую дверь, шаря у него рукавом по карману... а тут вдруг со стен с громом и звоном попадали ружья с длинными стволами и с раструбами на выходе пули, кривые сабли вылезли из ножен и сами по комнате без ног заходили, тыкая страшными остриями в углы, засверкали кивера,

отбитые у французов майором в памятной битве под Бородиным, сколько годов провисевши спокойно в память ему и уже покрывшись густым слоем пыли... и даже небольшая медная пушка на лафете с медным ядром, которым еще в прошлом году рысачихины гости играли в коны, расставляя перед домом бабки, как роту в походе, вдруг выкатилась на середину и уставилась маленькой дыркой прямо в Бодягу, а из-за нее высунулись три хитрые рожи с прищуренными глазами около мушки.

— Ппали... ппали... ссукиные дети!—заорал вдруг майор у самого уха Бодяги, Бодяга не выдержал, рванулся что было силы и бросился со всех ног по коридору, в котором только чутьем, подсказанным такой опасностью, догадался, как скорее добраться на выход.

Выбежал он на улицу и хотел закричать:

— Иван... подавай!

...но ни возка нигде не было видно, ни кучера Ивана нигде не видеть, метнулся Бодяга за угол дома, пробежал десять шагов, думая врасплохе, что, может, туда заехал его караковый в сторонку от ветра, но оказался совсем не караковый мерин, а просто досчатый забор, припорошенный снежком... хотел было назад вернуться к под'езду, но перед глазами вдруг пропала и огородка, которую только что своими глазами щупал Бодяга, и рысачихин дом, словно шут спрятал в эту минуту: отовсюду, куда ни взгляни, на розовую лысинку барина Бодяги

повалил белыми перьями снег, вздымаясь из-под неверно расставленных ног и как бы снова улетая за низкую тучу... совсем, кабы не треклятый холод, как в рысачихиной спальне, кругом кружева, кружева, тюлевые занавески как будто бьются на ветру в раскрытом окне, и шелковый полог полощет в лицо, то собираясь в тысячи складок, наводящих на нескромные мысли, то расправляясь тугим парусом перед глазами, как будто за ним то ли кто мечется в беспокойном сне или любовной утехе, то ли душат кого пуховой подушкой, а тот отбивается и, теряя силы, со слабым стоном и хлипом разбрасывает, барахтаясь ногами, во все стороны перья и пух.

Плюнул Бодяга от такой незадачи и пошел напропалую, благо еще не намело горбатых сугробов... долго он прокружил, шарахаясь из стороны в сторону, забирая то вправо, то влево, пока, видимо повсему, не выбрался в открытое поле, и ветер на полной свободе, заворачивая полы и наметая за ворот холодной крупы, не схватил барины Бодягу под ручку.

...Вот в эту-то метелицу будто и видел Бодяга, как проскакал майор на сивом жеребце с хвостом в три сажени и с гривой до самой земли, в полной своей парадной форме, из которой, как известно, он не вылезал последние дни перед смертью, с минуты на минуту к себе ожидая царя... а с ним не мало, не много, тоже на сивых кобылах с задранными лихо шапками на затылок и те самые три пушкатера, с

которыми майор во французскую кампанию отбил целый полк от редута...

...Нечего и говорить, что барин Бодяга при виде майора и его трех пушкатеров стал и черкаться и молитвы читать, бросившись сразу впрямик, только бы в сторону от этих героев.

Долго бежал он, тыкаясь в снег и задыхаясь, пока по счастью не наткнулся середь поля за селом Скудилищем на свой ковровый возок, наполовину заваленный снегом: видимо, спал караковый мерин со с'ехавшим к ушам хомутом, спал на дне возка и безмятежно храпевший кучер Иван, укрытый с головою в овчину.

КОРОВИЙ ПОГОСТ.

Как бы там ни было все это с барином Бодягой, который, как теперь видно, был достаточный плут, но пока барин прохлаждался в рысачихиной спальне, чиновник Подсбруев в сопровождении двух братьев Кушаковых управился с описью в доме и как раз уже к вечеру, когда стало заметно темнеть, успев обойти сараи и службы, выходил из загона, в котором неистовым лаем заходились собаки, на этот раз потерявши собачью догадку, потому что всем было уже при таких делах не до охоты...

— Загон идет чёхом, — крикнул чиновник Никите Миронычу, который стоял в сторонке с шапкой в

руках,—ну-с, осудари мои,—обратился он к братьям Кушаковым, у которых от голода заметно втянулись розовые щеки с редким пушком,—ну-с, недурно бы теперь закусончик, но по всей видимости... не пред-стоит!.. да... где же наш толстячок... как его... такая канальская фамилия... уж не запечатали ли мы его в комнатах у генерала... ха... ха?..

Кушаковы загмыкали подбежавшему Никите Миронычу, знаками об'ясняя, где же, дескать, барин Бодяга и на чем же им теперь доехать до дома, но Никита Мироныч с глубоким поклоном только и мог об'яснить, что часа еще за два до этого, когда вдруг повалила метель, бодягин возок выехал с барской усадьбы не спеша, как будто шажком и при этом не в том направлении, как было бы надо, да и по всему было видно, что в нем никто не сидел и никто им не правил.

— Да рази за такой кромешной погодой что разберешь?..—развел руками Никита Мироныч.

— Просто сказать, господа,—взметнул чиновник черной лопатой на рысачихины окна, на которых после метели серебрился искристый иней и висел большими хлопьями снег, похожий на пышные белые сайки,—кажется по всему, нам остается тоже сесть и уехать!.. не попрощавшись и не закусивши,—махнул он рукой ямщику, уже державшему тройку у под'езда на вожжах,—невежливо, но нечего делать!

— Каждый человек,—вставил охрабrevший Никита Мироныч,—стоит дешевле, ничего ни поевши...

как же так можно?.. Вы бы пожаловали к барыне в дом, в таком виде барыня будет в обиде!

— Ничего... нам еще придется приехать... вот тогда и попируем... садитесь, оспода,—откинул он медвежью полость,—так и быть, придется вас подвезти... благо мне по дороге!..—Кушаковы затолкались, друг дружку подсаживая под локотки, и закивали, прощаясь, на окна.—Ну, благодари барыню за угощение... па...ашел!

— Скатертью дорожка, ваше благородие!

Никита Мироныч надел заячью шапку и, когда кибитка неторопливо повернула с усадьбы и сразу провалилась в овраг, плюнул и побежал наводить порядок:

— Слава богу... анделов не осталось, а чертей бог унес!

* * *

Никогда еще так храбро не проходил Никита Мироныч по барскому дому хорошо знакомую дорогу к барыниной спальне, он уж не тормозил в руках заячью шапку, не зная, куда девать руки, и только поблескивал маленькими глазками на сургучевые печати, висевшие на всех дверях в нежилые комнаты, по которым разгуливал майор после смерти.

— Ишь ты ведь какая важная штука... не огонь, хоть и красный, а обожжесся,—подмигивал Никита Мироныч Палашке, которая после смерти Аленки

заступила у барыни за постельную девку,—ну, и дела, Палага... не еда, а кулага! Майор-то, гляди, запечатан?!

Палашка, не касаясь полов, трусила за старостой, бледная и бесшумная, словно летучая мышь, и то и дело крестила узкие покатые плечики и бессмысленно смотрела на старосту единственным глазом, всегда на реснице с дрожащей слезинкой да вывороченным наизнанку бельмом, похожим на вареное яйцо с разбитой скорлупкой.

— Теперь хоть води хоровод и не бойся!

Никита Мироныч подкрался на цыпочках к двери, за которой была рысачихина спальня, и, осторожно выдернув ключик и опершись руками в коленки, приложился глазом к лазку... и-их, что творится у барыни в спальней... стыдобушка-матушка!.. сама барыня в нераздетом виде раскинулась на взбулгаченной постели, и цветное одеяло с'ехало из-под нее на половую дорожку, и юбки топорятся шелком, словно листы у переспелой капусты, а рядом с кроватью на круглом столике стоят графины на горлышках жопками кверху... ох, недаром говорила, царство ей небесное, покойница Аленка, что барыня тайком у себя заливает за ворот... должно, что правда... а теперь, видно, с горя, с печатей этих и разрешила...

— Слава те, осподи: барыня почивает!— обернулся, не разгибаясь, Никита Мироныч к Палашке,— теперь, значит, и нам соснуть тоже не худо! Стелись!..

— Я и так, Микита Мироныч... на голом... все равно спать не буду!

— Мотри у меня: не напрудил! С подстилкой-то незаметно...

— Слушаю, Микита Мироныч!.. — зашептала девка, опускаясь к порогу, — рази я виновата?!

— ...и... и думать не смей! Чего тут бояться?.. ишь печатки на дверях... теперь уж не выйдет: шабаш!

— Ой, Микита Мироныч, а что, как Аленку, тоже будет тилискать?! — оглянулась девка на двери.

— Полудурье: печати! Да и рылом куда тебе до Аленки... несь тоже ведь они разбирают!.. так, значит, девка, мотри у меня!

— Сама, Микита Мироныч, не рада... да рази заткнешь?..

Никита Мироныч погрозил из темноты кулаком и пропал в коридоре.

* * *

Когда совсем потемнело и в людской перестали хлопать дверями, снова, на ночь глядя, собралась метель...

За окном, где-то совсем по голосу недалеко, должно быть, с другого края села протяжно выли голодные волки, и на селе им подвывали собаки... ветер голосил на разные лады, то бегая босыми

ногами по крыше и громыхая железом, то ботая из озорства на углу барского дома отставшей от стены водоотводной трубой и забрасывая оконные стекла морозным снегом, словно с лопаты...

— Вот в такую погоду если бы в полю,—думает Палашка, прислушиваясь к метельным голосам и поеживаясь плечиками,—осподи боже!

И самой Палашке было за диво, что на этот раз не было у нее обычного страха, хотя в соседних комнатах то шуркнет словно туфлей, то по стене проведет чуть слышно ладошкой, будто нащупывая двери на выход:

— А пусть его ходит... шут с ним совсем,—плюнула девка три раза и перекрестилась, оттянувши ворот рубахи...

Приторкнулась она к косяку, поджавши под себя голые ноги, и сладко зевнула, прикрывши рот рукавом.. и то ли тут Палашка малость соснула, то ли и в самом деле девке было, как она потом говорила, виденье, бог ее знает, потому что и сама она хорошо не разобрала...

Просто могло показаться... с устатку...

В полночи будто, когда понемногу стихла метель и посередке прочистилось небо, вынырнул месяц, и темнота сразу отступила от барского дома...

Далеко вдруг все попрозрачнело и засияло, словно на святках, белесое поле загорелось зелеными огоньками, Палашка будто подбежала к окошку и

смотрит, прильнувши к стеклу... осподи боже, до чего же стало сразу светло, каждую веточку видно... и каждая веточка похожа в снегу на белую ручку... только что-то у окон совсем по-другому... на сад что-то совсем мало похоже... да это и вовсе не сад, в саду яблони стоят, закинувши ножку за ножку, по ограде рядами тянутся тополя... откуда тут можжуха, мертвое дерево и этот бредняк, у которого веточки похожи с мороза на ручки... вот уж и в самом деле, должно быть, и на другой глаз окри-вела... да это ж Коровий Погост, вон и свежая глин-ка горкой по середине него, куда недавно, не сме-нивши даже рубашки, закопали Аленку... он самый!.. а там вон дорога мимо проходит, которая к мона-стырю, и по за нее всегда-то кости из прошлогодней травы грозятся култышками, то из куста выста-вится лошадиная морда, об'еденная добела муравья-ми, с зубами на улицу и такими страшными глаз-ницами, что и днем взглянуть даже страшно... смотрит Палашка на знакомое место, которое, правда, все мужики без шапки обходят, и оттого, что на снегу желтеет маслянистая глина, не прикрытая дерновиной, бегут у нее из бельма крупные слезы...

— Аленушка... подруженька...— шепчет Палашка, обмахиваясь рукавами,— красавушка!

...вдруг земля на погосте зашевелилась, заворо-шилась, коровьи могилы разломились, словно коври-ги... из земли высунулись рога, лошадиные гривы распушились на ветер и в закрайки уперлись копыта,

взметнулись прямо в небо хвосты, словно дым в морозное утро, с погоста гуськом потянулись с отставшими ребрами поджарые кони, еле перебирая передними и часто падая на задние ноги, за ними нескладные коровенки с отвислыми утробами, похожими на худые сенные плетеньки, ни прыти в них, ни стати, светятся ребра и шкуры сползли на хвосты лохмотами... не различишь теперь, какая лошадь бегала у барыни под седлом, какая у мужика в хомуте пашню пахала, все подровнялись, как ровняются на том свете, должно быть, и люди... а месяц после метели словно не нарадуется, что выдрался из овчинного тулупа, льет и обливает лучами неживую скотину, принаряжая Коровий Погост в бисер и жемчуг, развешивая на каждую веточку янтарные нитки, сыпя под каждый кусток серебро... в бисере, в жемчуге и янтарях вдруг словно раскрылись на месяце в землю большие ворота, и Аленушка вышла из могилы по желтым ступенькам, в одной руке с хворостинкой, а в другой с копеечной свечкой, какую кладут в гроб ко всем умершим своей смертью после псаломной молитвы...

— Аленушка... подруженька...—залилась Палашка слезами, хорошо разглядевши, что и рубашка примерзла на Аленке к плечу и покособилась как после стирки в холодное время, и горло сдавила черная веревка, с которой ее по приказанию барыни похоронили,—да ж, осподи ж боже, родилась под боком коровы и на том свету опять со скотиной! да ужли

ж, андельской душеньке, другого места ей не нашлось?..

Тут, должно быть, и в самом деле Палашка разревалась не в шутку; у барыни в спальне задзинькали в кровати пружины, и Палашка раскрыла единственный глаз... к великому ее удивлению она и в самом деле стояла возле окошка, чуть уж бутрело и за побелевшими стеклами, на которых морозная метелица навела по краям кружевные узоры, в заплаканном глазу уплывал куда-то далеко под синее небо в белесую мглу Коровий Погост, а перед барским домом снова раскинули пышные рукава яблони, запорошенные снегом, словно на стражу выстроились у изгороди тополя... и за ними из оврага высунулось худыми ребрами крыш село Скудилище с дымками у труб, стоящими недвижно, как видно, к большому морозу.

— Пала...ашка...а! Пала...ашка...а! — раздался из-за двери хриплый крик Рысачихи, и от него сразу в обоих ушах зазвенело — Что тебя, одноглазого чорта, никак не дозовешься?..

— Барыня... осподи боже... живые помощи! — сорвалась Палашка и с первого шагу чуть не оступилась: у окна стояла желтая лужица, убегая по плинтусу в угол. — Осподи: за что наказанье?..

— Пала...ашка! Пала...ашка...а! — зашлась барыня кашлем. — Дура с печи Пала...а...а...ашка!

— Бегу, барыня, бегу! — задохнулась девка и наскоро заставила лужицу креслом.

КЛИНОВЫ ПЕЧАТИ.

С утра барыня еле отходилась огуречным рас-
солом и маринованной брусницей, на которую по-
койница Марья Савишна была такая мастерица...

Рысачиха охала, как беременная баба, ахала, натываясь везде на сургучи, и то и дело подбегала к большому зеркалу, разглаживая пальчиками одут-
лые мешки под глазами, мутными с нетрезвой ночи и как бы потерявшими голубизну... не раз она распускала золотистую, еще пышную, почти до полу достающую косу и, перебирая ее по волосинке на свет, выдергивала с брезгливой миной серебряные нити, похожие на чуть заметные паутинки, плыву-
щие бог весть куда в золотой листве осеннего леса.

Палашка еле поспевала за барыней, то то подай, то это принеси, неслышно металась она по комна-
там, уже получивши большого леща за графины, которые во-время не убрала.

— Это что же такое?—первым долгом крикнула ей Рысачиха, указывая на графины, когда Палашка после своих горьких видений вошла к барыне в спальню.—Что это такое?..

— Графины, барыня,—ответила Палашка, ни-
чего не понимая.

— Какие такие графины?.. Почему они... тут?.. Где у них место?..

Палашка схватилась за щеку, на которой при-
вычные слезы сразу смешались с огнем от оплеухи.

— Вон где их место,—показала барыня на шкафчик,—а тут их никогда не бывало... Слышишь?.. это тебе, дура с печи, приснилось наверно!

...Испуганно косилась Палашка слезящимся взглядом на кресло, за которым спряталась вторая беда, когда Никита Мироныч, поднявшись с порога приемной и ожидая, когда барыня, зазвавши его такую рань, сама заведет разговор, уставился с полной безучастностью себе в сапоги...

— Ну, Мироныч,—наконец уселась барыня в кресло,—уходил меня этот разбойник... всю ночь трясла лихорадка... ох, никак в себя притти не могу!

Никита Мироныч вскинул на барыню пока пустые глаза и поклонился, хорошо еще не понявши, кто этот разбойник.

— Слушай теперь меня и, пожалуйста, не перебивай! Терпеть не могу, когда перебивают или перечат!

— Молчу, матушка-барыня... молчу... оно и верно, что поперечное слово, как бревно на дороге... молчу...

— Молчи...—барыня недовольно его оглядела,—молчи... потому что сказать нечего больше! Говори: вчера ты вструхнул?..

Никита Мироныч уставился в пол, как бы разглядывая место, куда стукнуться лбом, и ничего не ответил...

— Молчи... вижу: вструхнул! Надо бы тебя за это... ну, да ладно: тебя я прощаю!

Никита Мироныч положил поклон и поднялся:

— Начальство, матушка-барыня... как же не струсить?..

— Какое начальство? Что ты городишь?..

— ...борода ровно смазана дегтем... страховище!

— Да борода-то, дурак, не настоящая... прилеплена... Разбойник, а он: начальство! Переодетый разбойник!

— Разбойни...ик?—протянул Никита Мироныч.— Да что же вы, матушка-барыня, вчера мне не ска-зали... мы бы ему бороду-то в один раз оторвали и руки бы живо скрутили!

— Молчи... вчера не сказала, зато сейчас го-ворю! Вчера дело другое: видел, в каком расстрой-стве была?.. Не перебивай лучше и слушай! Теперь понял: разбойник? Вольно...оду...умец! Вот кто! И Бодяжка вон то же самое говорит... ах, какой, Мироныч, оказался верный... обходительный человек!

— Барин веселый!—не выдержал Никита Миро-ныч, засиявши плутоватой улыбкой.—Никто про это худого слова не скажет... нисходительный барин!

— Очень... очень хороший! Я прямо жалею, что раньше его не замечала!.. и даже шутила над ним... мне он казался большим... большим дураком!

— Что вы, матушка-барыня... с дураками и не сиживал... жулик, люди говорят, каких мало земля родит... в карты быдто подмешивать ловок!

— Да?.. Что еще говорят?—сощурилась барыня на старосту.

— Да больше ничего не говорят, матушка-барыня,—осадила Никита Мироныч,—что касательно к тому же земли у него, так только рази лошадь в возке поворотить, да и то за чужую изгороду заденешь!

— Еще что говорят?—прикусила барыня губки.

— Да ничего, барыня, окромя хорошего, почтенного, будто не слышно!—опять засиял Никита Мироныч.

— Ну, мало ли что там дураки говорят... очень, очень обходительный человек! Так ты и запомни: кому жулик, а мне... первый теперь человек!

— Слушаю, матушка-барыня!

— Ты, как только что, так прямо к нему! Барыня, мол, велели распорядиться!

— Наше дело, матушка-барыня, подбирать готовое... а никак вы, по словам, куда, матушка-барыня, собираетесь ехать?..—вытянулся с искренним испугом староста.

— Велела тут еще до тебя закладывать!.. четверку... ты проходил мимо каретной, не видел?.. В Питер, Мироныч, поеду! В Питер! жалобу принесу. Разве так можно оставить?.. Жалобу принесу и прямо к стопам!

— Питер, он, матушка-барыня, хитер,—вторил Никита Мироныч, кивая головкой,—не одному под носом вытер!..

— ...кстати закажу себе новые платья на свадьбу... мои вышли из моды, хотя князь обещался всего навезти... ну, да самой будет виднее!

— Матушка-барыня,—переступил Никита Мироныч с ноги на ногу, собираясь, видно, перейти к делу,—а на чем же вы... во что же вы теперь изволите заложить?.. ведь на каретной печатки?..

— Что...о ты говоришь?—приподнялась барыня с кресла.

— Печатки, матушка-барыня... везде повешал бородатый дьявол... и загон, говорит, идет чехом... не вешать же, говорит, собакам сургучи на хвосты...

— Печа...ати...и,—заложила Рысачиха руки на спину.

— Каиновы... каиновы печати, матушка-барыня,—торопился староста со словами,—орел такой выведен на сургуче о двух головах и с лапами книзу, как будто цапает зайца!

— Молчать!—вскрикнула вдруг барыня не своим голосом, медленно подаваясь к Никите Миронычу, который попятился от нее незаметными шажками, пока не уперся в стенку и не вытянулся по ней, как будто отставая от пола.—Не на чем, говоришь, барыне ехать?.. не во что, говоришь, заложить?.. Печати, говоришь?.. Сорвать,—вдруг выпрямилась барыня, подойдя почти вплотную к старосте,—немедленно сорвать и заложить... слышишь, болван?..

Никита Мироныч повалился сном барыне в ноги и, не подымая лица, прошептал:

— О, осподи боже!

— Сорвать... немедленно заложить!—топала барыня ножкой.

— Матушка-барыня,— тихо спросил Никита Мироныч, уставившись в рысачихины туфли,— а кто же будет в ответе?

— Что? Что еще выдумал? Вот глупый вопрос,— засмеялась Рысачиха, отходя от старосты,— вот глупый вопрос!

— Отвечать-то придется?— еще тише повторил Никита Мироныч.

— Ну?

— Ведь бородища-то через две недели приедет?

— Глупый; глупый вопрос... А пусть его приезжает! У меня к тому времени будут... бумаги! Какой глупый вопрос!..

— Глупый, матушка-барыня, глупый... а ведь печатка все же висит!

— Сорвать!— вышла опять из себя Рысачиха.— Слышишь, тебе говорю. Знать ничего не знаю, мне надо ехать... а отвечать, болван, будешь ты... Ты, болван, ты!.. в наказание, что ослушаешься барыню... Уж не хочешь ли, чтобы я за тебя отвечала?

— Мату...ушка барыня, пощади...ите!— Никита Мироныч стукнулся лбом.

В это время Палашка, стоявшая у окошка, держась за кресло, как за защиту, кинулась к барыне и заглотнулась:

— Ба...ба...ба...барыня!

— Ты еще, кривоглазый сын!— повернулась к ней Рысачиха, собираясь ударить.— Чего забабакала?..

Ба...ва...у...у... кажется, уродит же бог такую уродину!

— Ба...ба...барыня, ба...ба...барин приехал!

— Что?.. Кто приехал?—сразу переменялась Рысачиха в лице, на котором заиграла улыбка и румянец сменил гневную бледность.—Кто там приехал?

— Ба...барин Бодяга стоит у крыльца.

Рысачиха подбежала к зеркалу и наспех поправила пышную прическу, пряча за ухо выбившуюся прядку волос, в которой сильно серебрились незамеченные раньше сединки, одернула кружева на рукавах, оглядела себя, повернувшись к зеркалу боком и перекинувшись назад головой, и, не взглянув на старосту, приказала:

— Мироныч, прими! Ах, какой верный, какой верный и обходительный человек! Сами не поедете, на руках, говорит, на своих руках понесу! Проси, тебе говорят!

Никита Мироныч лежал на полу возле порога и, подложивши шапку под голову, не шевелился.

— Тебе говорят или нет!—чекнула Рысачиха старосту ножкой.

— Истукан нашел, матушка-барыня... нашел истукан, простите меня, дурака!—Никита Мироныч встал неторопливо и вышел.

НИЩАЯ БРАТИЯ.

Барин Бодяга был из той редкой породы веселых и в глубине души даже добрых людей, которые, как бы родясь ради шутки на свет, потом уж при всех обстоятельствах жизни никогда этой веселости не теряют.

А кажется и причин-то для такого веселого и легкого характера было немного: житьишко скушное, вдовое, была жена, да и та с цыганом убежала, именьишко—в хорошей игре на одну карту поставить, одно слово, что барин, а бывает по-всякому: и пироги кушать без начинки и сапоги носить без починки!

Мужики, которых у Бодяги было душ пятнадцать или того даже меньше, барина очень любили. любили как раз может за то, что несмотря на бодягину веселую плутоватость, они все же его обходили, обкрадывая чуть ли не на каждом шагу.

— Шут с тобой,—скажет барин, когда кого-нибудь застанет с мешком у амбара или с топором в лесу на порубке,—подавись моим добром: все равно я жалованье получаю сразу у четырех королей!

Зато ни одни крестины, ни одна свадьба у мужиков без барина не обходилась, Бодяга напивался на таких торжествах с мужиками вповалку и часто, если свадьба случалась после удачной игры, барин столько раздавал девкам на песни, сколько никогда бы не получил с своих мужиков по оброку.

На утро проснется, опохмелится, колоду в карман и недели на две словно провалится в землю, а там, глядишь, катит домой на тройке с звонками: другому давно бы где-нибудь канделябром голову проломили, а у Бодяги всегда сходило так точно... разве когда привезет синяк под глазами...

А все оттого, что веселый был человек!

Все в нем как-то с головы до пяток смеялось: смеялась розовая лысинка, не видели никогда покою небольшие плутоватые глазки, усеянные заячьими лапками бисерных морщинок, полуоткрытый, удивленный рот, в который словно по пословице ворона влетела, всегда наготове с усмешкой, припрятанной в уголках немного отставленных губ, оттуда весело поблескивали неправильные, но очень крепкие белые зубы, плечики как на пружинках—пальцы на руках столь ловкие, что барин показывал из них самые разнообразные фигуры, вплоть до амура и псиши, обнявшихся в поцелуе на стенке в отражении от лампы, в меру выпирал очень складный животик, и он совсем не был, видимо, барину в тягость, а короткие ноги знали тысячу разных походок,—все в нем так прилажено было, что, глядя на него, нельзя было не улыбнуться, а если к тому же заговорит, так разве мертвый не рассмеется, хотя бы и не страсть как было смешно.

Бывают такие люди, у них странно смешаны плутовство и благородство...

— Здравсте, Раиса Васильевна... здрассте, моя дорогая!—подлетел барин Бодяга к рысачихиной ручке.—Надеюсь, что вы не в обиде, что я, знаете, так неожиданно... хе... хе... хе... я, знаете, у вас вчера... голову потерял... то есть, понимаете: шапку!.. хе... хе... ха... ха!..

Никита Мироныч и Палашка опять устались по своим местам с пересиленными улыбками на вытянутых лицах, а Рысачиха с таинственным видом поглядывала на барина и тоже улыбалась одними уголками глаз.

— Верный друг... верный друг,—кокетливо она отнимала руку, в которую словно влип барин Бодяга,—садитесь... садитесь... я уже распорядилась... Мироныч, чтобы сейчас лошади были готовы!

Никита Мироныч поклонился барыне и не двинулся с места, поглядывая на Бодягу, которому рассказал уже по дороге, что барыня собирается ехать, на что Бодяга разгрохотался, обещавши старосте все дело это как нельзя лучше уладить...

— Постойте, Раиса Васильевна... постойте: это ж невежливо, к вам, знаете, гость... старинный ваш слуга и поклонник красоты, а вы... куда вы спешите?..

— То есть как куда?—обомлела Рысачиха.—Ты же сам вчера, Бодяжка, говорил, что непременно, непременно надобно ехать... что так оставить нельзя!

— Говорил... говорил, Раиса Васильевна,—залился Бодяга,—но сегодня... уже не скажу... не потому, чтобы что... а так: небла-го-разу-мно!

— А я так обрадовалась, Мироныч, что верный человек нашелся,—обратилась барыня к старосте,—а он... я тебя, Бодяжка не понимаю!

— Сейчас все поймете! Все поймете, Раиса Васильевна!

— Ну?

— Да не нукайте, а то не поедет,—захакал Бодяга,—первым делом позвольте спросить... по порядку: отпускали вы своих мужиков по святым местам, знаете, вроде как богу молиться?..

Рысачиха сломала тонкую бровь и недружелюбно оглядела Бодягу:

— Ты это к чему?..

— Да все к тому же, Раиса Васильевна... к тому же... кто это вам посоветовал только... я бы сказал: человек не ума!

— Вот у меня советчик стоит!—кивнула испуганно Рысачиха на Никиту Мироныча, который затеребил сразу шапку, собираясь оправдываться перед барыней, но та замахала руками и топнула ножкой.— Молчи уж, молчи: за умного скорее сойдешь!

— Молчу,—вдохнул Никита Мироныч.

— Вот и молчи... Бодяжка, говори скорей: сердце мое чует, что не с добром приехал!

— Что вы, что вы, Раиса Васильевна,—поднял руки Бодяга и раскатился смешком,—что вы... все,

все слава богу! Вы в полном здравии, а что касается,—кивнул он на сургучи,—так эка, подумаешь... испугали! Чорт с ними совсем, пускай висят: не рябина... дрозды не оборвут!.. Пускай, пускай... что вы от этого, такая богачиха, обеднеете, что ли?.. Пожалуйста ручку!

Бодяга нагнулся к рысачихиной ручке, но барыня неожиданно вскочила и отвесила ему оплеуху:

— Мироныч... выпороть Бодягу... сейчас же!—затопала барыня ножками, Никита Мироныч собрал гармошку на лбу и уставился на барыню, вытянув руки, Палашка побледнела до корня волос и схватилась за щеку, а Бодяга достал из кармашка красный платок, вытер лысинку и с серьезным видом показал Рысачихе на кресло:

— Садитесь, прошу!

Рысачиха, должно быть, столь удивилась необычному виду Бодяги, что сразу остыла и устало опустилась на прежнее место.

— Ах, какая я несчастная... несчастная женщина!—и закрылась платочком.

— Божественная ручка... ха... ха... инда в испарину бросило... ха... ха... ха... ха..!—залился снова Бодяга, и Рысачиха выглянула из-за платка повеселевшими глазами.—Полноте, Раиса Васильевна... не хотел вас только пугать, а вижу... придется, потому что на смерть самого меня перевернули!

— Говори, Бодяжка... а то, ей-богу, отдеру на конюшне!—гневно опять вскрикнула Рысачиха.

--- Сейчас... Раиса Васильевна... ох, господи сердце под ложечку закатилось... сейчас, надо вам с самого начала сказать, что я у вас тут вчера здорово повоевал... я, знаете, не храбрый человек, не герой, нечего грехи таить, человек я даже трусливый, но вчера не утерпел! Не вытерпел, знаете! Встретил этого... имени даже в вашем присутствии не буду его поганого произносить!.. соткнулся, знаете, с глазу на глаз и кричу: „Вон... вон...“ кричу ему не своим, знаете, голосом: „Вон из благородного дома!..“ А он... знаете... сюда вот за фалдочку... да и вы... ни...ма...ет! Что вынима...ет! Писталет! Вот такой!

Рысачиха махнула недоверчиво ручкой, заглядывая на себя в зеркало, Никита Мироныч носом в шапку уткнулся, чтобы не прыснуть, а Палашка, благо никто на нее не глядит, схоронилась за кресло и наскоро затирала подолом облуженный пол.

— Что, не верите, Раиса Васильевна! Ну, не верите конечно, как там хотите, только, понимаете сами, писталета я не перенес и даже без шапки, как я уже вам говорил, скорее драпка... выбежал; знаете, новое горе: кучера нет! Я туда, сюда: провалился! Думал, думал, что тут мне делать... и, знаете... странником на своих на двоих, куда глаза поглядели!

— Такого кучера... я бы выпорола собственноручно!—не удержалась Рысачиха.

— Полноте, Раиса Васильевна, что это за житье: порка да кнуты! К тому же вот сейчас сами увидите, как этот кучер мне пригодился. Выпори я его, как

вы говорите, и может... все дело было бы по-другому! Вот-с,—обмахнулся Бодяга платочком,—извольте видеть,—а тут понимаете метель... ветер, знаете свищет... прямо погибель! Шел я, шел, гляжу, слава те, господи, посреде самого поля возок! И мерин мой... и Иван: спят, и горюшка мало! Я, конечно, тут уже не утерпел... дал одну дулю и залез к нему в шубу!

— Ффи!—плюнула Рысачиха.—От этих шуб пахнет ужасно!

— Ужасно... ужасно, Раиса Васильевна... но вы не поверите, с каким удовольствием я залез в эту овчину... залез, знаете, и сразу в тепле согрелся и, понимаете, должно быть заснул! Ну, вот тут,—Бодяга вытерся платочком и поглядел на Рысачиху,—Палашка... принеси полотенце,—кивнул барин девке,—Никита Мироныч, приготовь графин!

— Да ты что со мной в дуры играешь?—вскрикнула Рысачиха и затопала ножкой, отчего ни Палашка, ни Никита Мироныч даже не сдвинулись с места.—Ой, Бодяга, и в самом деле ты жу...жулик! К чему ты все это городишь?..

— Сейчас... сейчас, Раиса Васильевна! Имейте же хоть маленько терпенья... Выпороть вы меня всегда успеете, тем более, что это мне даже будет приятно! Ей-богу, как перед богом вам говорю: по всячески били, ну, а пороть еще не пороли!

— У кого нету мозга, матушка-барыня, тому в пользу и розга!—вставил Никита Мироныч, не взглянувши на Бодягу.

— Ну, так и вот,—моргнул Бодяга на старосту,— вот, Раиса Васильевна, лежу это я у Христа за пазухой и думаю себе: сейчас приеду домой, рыжичков, грибков-подосеночков, барашка да поросеночка, и будет очень славнo... Вдруг! вдруг, знаете... так издалека вроде сначала, а потом, понимаете, ближе, ближе, вроде как слепые, поют—что, думаю, такое:

А и пьяница с добрыми канпании не важиваеть,

А и пьяница церковь божию аб'и'ходом аб'и'хаживаеть!

Думаю: грежу! Греза, знаете, такая мне к какому-нибудь несчастью снится или к выпивке... Кажется, слепых во сне видеть—к запою!..

Рысачиха оглядела Никиту Мироныча, широко открывши глаза, и Никита Мироныч перестал прятаться в шапку и тоже вытянулся, уставившись на нее и бледнея.

— Да...а-с,—продолжал Бодяга, не глядя на барыню,—Иван ничего, свой разговор, понимаете, у него с мерином идет: ну да ну, бог тебя любил и все такое! Вдруг слышу: „Сто...оййй!“ Чувствую, как мерин сразу присел на задние ноги. Голосок, знаете, такой, что мороз и летом прохватит! „Стой, куда едешь?“—„А тебе,—слышу, говорит Иван,—какое дело?“—„Наше дело,—отвечает,—как задело, так и дело! Не видишь,—говорит,—что за народ? Встренемся, посторонимся, в ножки поклонимся, в грехах покаемся, карманами поменяемся! Не видишь,—кричит,—нищая братия, дорожная шатия!“ Думаю, карачун! И что же вы полагаете, с'ежился я, совсем,

кажется, забился комочком в тулуп, и вдруг как за ногу дернет... Как это только ногу, проклятый, не выдернул, и если бы не Иван, тоже поминай, как звали!

— Какой ужас!—схватила Рysачиха за сердце.

— Ужас... ужас... Раиса Васильевна... истинный ужас! Только Иван и говорит: „Бери, Буркан, лучше меня, а барина, говорит не тревожь! Барина—говорит, предоставь, потому барин нам нужен! Без барина нашим мужикам будет скушно!“

— Буркан?—привстала Рysачиха.

— Да... да... Раиса Васильевна...—вскочил и Бодяга,—об чем же я вам и говорю. Оказывается, его ваши же мужики на дороге и освободили! Осподи, думаю: конец! Кончик! Нет, миловал бог. Высунулся из овчины, гляжу: целая рота! И Бурканище этот ваш... вроде как за атамана, с дубинкой! Двенашина прямо в руках! Давай, говорит, Бодяга, на водку, и дело с концом! Поезжай, говорит, с богом. Ну, я, конечно... благо на случай была... Передай, говорит барыне, что скоро с оброком придем.

— А князь?—тихо прошептала Рysачиха.

— Палашка,полотенце!.. Никита,воды!..—закричал Бодяга, но в это время и барыня тоже вскрикнула страшным криком и повалилась сном. Никита Мироныч и Палашка бросились с испуганными лицами по коридору, а Бодяга огляделся кругом тупыми глазами и в первый раз, может, в жизни склонился над барыней и по-дурацки заплакал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ.

ДОБРОЕ ЦАРСТВО.

Редко барину Бодяге удавалось сказать нешуточное правдивое слово, а тут, как оказалось, выложил он одну сущую правду: князя Копыту и в самом деле уходили рысачихины мужички, которых барыня задолго еще до этого распустила по монастырям собирать милостыню в оплату оброка.

Как видно теперь, барыня малую пользу получила от этих милостынников, такие мужики, как Недотяпа, может, в сто лет один раз родятся, а тут, должно быть, сыскался все же один мозговой, который раскумекал по-настоящему все это дело и присоветовал всей нищей братии сменить посохи на дубины... в первую же голову, видимо, как сом в вершу, князь и ввалился, зарыли они его будто бы в землю живьем, чтобы и следка с душком не осталось, а Буркан, которого князь Копыто, как известно, вез от Рысачихи на закорках кибитки, скрученного по рукам и ногам для передачи начальству, разорвал на себе,

как только рысаки на князя напали, льняные ужища и ими, перед тем как закопать, спеленал рысачихиного жениха, как младенца.

После такой тяжелой сердечной потери, а также и после того, как разбазарили у барыни по описи фамильную мебель, драгоценные безделушки и с молотка вместе с егерями пустили весь собачий загон, не только уже из Питера женихи не наезжали, а даже соседские помещики отвадились понемногу, братья Кушаковы сочли появляться у барыни неблагоприличным, потому что у них теперь стояли ее клавишины, а Бодяга повертелся еще, должно быть, года три у барыни после смерти князя Копыты, а потом, так и не покрывшись с нею венцом, хотя блудили открыто, уехал куда-то со своей колодой получать жалованье сразу с четырех королей, но, видимо, сошло не совсем благополучно, и он назад не вернулся.

Без веселого барина еще более обстрашнело в рысачихином доме, правда, в нем уже не разгуливал по ночам майор в бархатных туфлях, но огромные комнаты, опустевшие после распродажи, как после хорошего вора, стояли теперь угрюмые и неприютные, Палашка, то ли скрива, то ли с нерадения, не попевала обмахивать паутину, и на майоровой половине поселились безрукие духи, тихие и безыменные, от которых доуки никакой не было, и только веяли и холодное время изо всех углов сквозняки, как нсживое дыханье.

Странно и неожиданно Рысачиха изменилась к этой поре и в характере своем и в обращении с народом, ни дсвок уже не лупила по делу и по безделью, ни мужиков не запарывала на конюшне, если отпорет кого, так очень слегка для назиданья и больше вроде как в память, тут рысачки немного передохнули, и даже сыскались охотники, которые за барыню ставили свечки и по простоте и незлобивости за нее богу молились, что тот ее образумил... никто не мог настоящему постичь причину такой перемены, одни говорили, что Рысачиха, после того как ее милостынных, покончивших с князем, переловили и самого Буркана отправили в каторгу на вечные веки, получила от начальства внушение, чтобы на будущее с мужиками была поосторожнее, а кто отмахивался от этих догадок, потому что и в самом деле великое, подумаешь, горе начальству, да и не такая барыня, чтобы ее испугать!

Но, должно быть, и в самом деле все же было что-то такое, Рысачиха перестала калечить мужиков едва ли без всякой причины, тем более, что подобралась она с другого конца, хитро припрятавши за доброе слово и приветливую улыбку безумный умысел, которого и дьявол бы не придумал: по примеру барина Бодяги и, должно быть, по веселому его наущению Рысачиха стала крестить у мужиков новорожденных младенцев, но все рысачихины крестники, хотя и рождались на свет в глазах без малой теинки, со временем по неизвестной причине стано-

вились слепцами... мужики поначалу приняли эту затею за великую барскую милость и снисхождение, а потом, когда пришлось ребятишек раньше времени обучать слепецкому Лазарю да Пьянице, зачесали в затылках:

— Видно, и барская милость хуже напасти... и доброе слово острее ножа!

Как это так выходило, нам сейчас трудно по справедливости разобраться, может, какая зараза по Скудилищу в эти годы ходила, тем более что к чистоте и опрятке рысачихины мужики имели мало привычки, но если поверить сказанью про Рысачиху, так и тут дело ее рук не миновало...

Будто бы Рысачиха на безымянном пальце левой руки носила золотое кольцо, которое подарил ей во время псмолвки Копыто, почему она после князевой смерти по-вдовьему положенью и передела его на левую руку, в этом кольце в оправе в виде сердечка сиял лунный камень, в нем-то и была чудесная сила: при одном незаметном прикосновении на любом месте на теле выросло дикое мертвое мясо, которое потом гнивало, причиняя человеку большие мученья, отваливаясь лохмотами... с этим кольцом барыню похоронили, потому что никто не захотел к нему прикоснуться, им же она обручилась в свое время, конечно, негласно совсем от народа, с нечистым, проживавшим нигде, как в нашем Чертухине в виде того пономаря, о котором у нас разговор был вначале... к нему барыня и в самом деле часто наезжала,

как думали у нас, тогда ни о чем не догадавшись, слушать удивительный звон и промеж прочим на дурную кровь ставить пиявки, должно быть, если правильно это, барыня, когда пономарь шандарахнулся с чертухинской колокольни на пасхальной неделе, только ради отвода глаз заказала по нем сорокоуст, заплативши вперед до копейки, и надо еще коли так полагать, что с ним-то Рысачиха и прибрлудила на шестом десятке квасавицу-дочку, на которой потом женился барин Бачурин, но тут уж начинается совсем другая история, и нам распространяться нечего много, потому что и смысл в ней и события другие... пока же что надо ко всему только добавить, что, может, ни о чем бы таком простые мужики не догадались, если бы к рысачихиному старосте Никите Миронычу не препожаловала седьмая беда под самые окна.

Вот тут дело получилось какое...

* * *

В старину совсем не считалось за диво, когда родили старухи.

Случалось это сплошь да кряду, потому что народ, должно быть, был во много раз здоровее и плодovитей...

Не удивился никто и в селе Скудилище, что у старосты к седым волосам Лукерья стряхнула поскребыша-сына, что было Никите Миронычу в не-

малую радость, потому что раньше родились все девки и по какой-то причине не выживали...

Однажды, как раз на седьмой день, когда рожене по старому обычаю можно было уже на людей показаться и справить младенца по положенью, Никита Мироныч с утра ушел к барыне по делам, а Лукерья, благо младенец уродился тихий и не блаженный, с засученными по локоть руками хлопотала у печки, приготавливая к завтраку алялюшки... в голове у Лукерьи спокойно плыла неторопливая домашняя дума, как густой туман над болотом, на сердце лежала довольная тишина, словно по осени в убранном поле, и она совсем не заметила за хлопотней, как скрипнула петлями дверь и в избу вошел Иван Недотяпа.

Долго Недотяпа переминался возле порога, держа на весу железную клюшку, за плечами у него вздувалась сума, заметно подававшая вперед всего Недотяпу, ниже коленок пестрядинный армяк зиял широкими дырами, в которых то белело голое тело, то лоснились завитками и кольцами тяжелые вериги, на ногах топырились носами широкие чуни, перевидавшие, видно, немало дорог, и по лицу Недотяпы блуждала пытливая, неуверенная улыбка, раздавшая скулы и рот, борода клочилась, как после драки, и весь он с лица походил на икону безвестного страстотерпца, недописанную малорадивым иконописцем... помолился Недотяпа на образ, оглядел заветренными глазами углы и тихо промолвил:

— Дома-ти?... хозяин-то дома, говорю, доброго ему добра?..

Лукерья вздрогнула, чуть не выронив помакушку, которой смазывала сковородки, высунулась из-за печки и, не поверя глазам, притаилась за перегородку.

— Ишь ты,—думает она,—опять святой чорт приволокся! Сколько лет не видали!

— Дома, говорю, хозяин али хозяйка?.. —погромче повторил Недотяпа, уставившись в печку.

Лукерья оглядела в щелку пристальным взглядом Недотяпу и сама себе удивилась, что нет у нее при виде такого человека обычного страха, — человек, как человек, и венчика на нем не видеть, как в прошлый приход, должно быть, померещилось Никите Миронычу, и взгляд тусклый без никакого сиянья, одно только, что одет больно рванисто, как и рысачихины нищие, собираясь в оброчное богомолье, не ходят. Перекрестилась Лукерья на всякий худой случай и вышла с видом недружелюбным и строгим, как бы чего доброго не подумал, что его испугались.

— Ишь ты, прорвы-то на тебя нигде не найдется,—сказала она, даже не поклонившись.

— Доброго добра, Лукерья Лукичишна,—выкланялся ей Недотяпа,—к Миките Миронычу, к благодетелю...

— В сарай вышел за сеном,—соврала Лукерья,—живой минутой вернется!

— Вот и ладно-повадно... я, коли что, присяду да обогреюсь малость с дороги...—опустился Недотяпа

к порогу,—хевраль-кривые дороги, а ноги стали убоги, ох, как плошаю ногами, ну, да, как говорится, ноги не ходят, зато крылушки носят!

— Небось, опять барыне оброк свой принес?—присела и Лукерья на лавку, не отрываясь от Недотяпы.

— Как же, Лукичишна... как же, думаю на этот раз рассчитаться с барыней сполна и вчистую: ко гробу теперь пойду, в Ерусалин-град по обещанию! Ох, коли бы не этот проклятуший оброк, кажется бы совсем не вернулся... Как она, барыня-то наша милостивица, по прошлости ничего про меня... довольна была Недотяпой?

— Уж и не говори, Недотяпа... лучше не говори... на такой грех навел ты барыню с этим obroком! век не забудешь!—сокрушенно покачала головою Лукерья.—Тебя тут из души-то в душу мужики позорят, так клянут, так клянут: у него, говорят, святость одна в голове, а тут за эту святость отдувайся всем миром!

— Известное дело, ругают, кого за грехи черти стругают!.. У нас доброго дела совершить нельзя, всякое доброе повернется на злое, потому что святость у нас только что у аналая... Святости в народе ничего не осталось, а если и осталось, так самая малость,—обтер Недотяпа глаза рукавом, словно его слезой даже прошибло от лукерьиных слов,—округ народа черная сила!..

— Да ведь при чем тут мужики... барыня все и раз'яснила... чуть даже Мироныча не отодрала на

конюшне, потому что и мой почел тебя по простоте за святого...

— Ишь!—просветлел Недотяпа.

— А барыня раз'яснила: мужик, говорит, может быть чортом, а не святым! Святых мужиков даже, говорит, нет на чудотворных иконах! С той поры, с легкой ее руки, так тебя в народе святым чортом и величают!

— Господи милостивый,—вздыхнул Недотяпа.

— Барыня-то после твоего оброку, почитай, молодых и старых—всех ног порешила, чтобы больше подавали калеким... Нищий, говорит, калекий во много раз выгоднее мужика!

— Ну?—прошептал Недотяпа.— Что ты говоришь?

— Вот тебе и ну! По монастырям отправила вроде как на богомолье... милостыню ей собирать!

— Господи!—удивленно вскинулся Недотяпа глазами.

— А они,—зашептала Лукерья, пугливо оглянувшись на окна,—не будь дурны, вместо богомолья вышли на большую дорогу и начали такое вытворять!.. Душегубы! Князя убили!

— Ну...у...у?—даже привстал Недотяпа.

— Переловили... по твоей... по твоей милости, Недотяпа. Сколько народу пропало! Сам ходишь в веригах, а на других надел кандалы. Жалко больно Буркашу!

— Значит, пропал и Буркашка?.. А?.. Дивное дело, Лукерьюшка, дивное дело: отдашь с себя все до нитки, а другие за тебя, вишь, в убытке!—поник лохмами Недотяпа.—Ишь как все повернулось!

— Прыткий ты стал на язык, Недотяпа... очень прыткий!—поджала локотки Лукерья, оглядывая Недотяпу.—Должно что всего наслушался да навидался!

— И то, Лукерьюшка, правда... чего-чего не едал?! Чего-чего не видал!.. Вот уж, скажу тебе по правде, в такой был стороне, коли рассказать, так, ей-бо, верно говорю: не поверишь! Царство такое есть, Лукерья, на свете... царство... прекрасное королевство!

— А ну погоди, я малость в печке оправлю, а то Мироныч придет, задаст хорошую трепку, что у меня ничего не готово!..—шмыгнула Лукерья за печку, на ходу взглянувши к младенцу за полог.

— Да ты, Лукерьюшка, готовь там себе с богом... я и то привык сам с собой рассуждать, сяду где-нибудь под елочку возле дороги и вот говорю, говорю, что только на язык полезет, а елочки, березки слушают меня и веточками машут... хушь бы што... ты, пожалуй, не слушай, а то, грехом, разговорюсь и назову не Лукерьей, а... Лушей! хе... хе... хе!..

Лукерья мотнула Недотяпе из-за печки головой с тихим смешком и завозилась сковородами, а Недотяпа перекрестился умильно на образ и начал причитать нараспев, подымаясь голосом с каждым словом все выше:

— А и еся на свете царство доброе...
Королевство вежливое...
Княжество учтивое...
А и живут в тоем царстве
Не в ѡммане, не в коварстве,
Ох и проживают в тоем королевстве
Во нерушимости, во девстве...
А и сам народ в тоем княжестве
Не лихоимчивый, не куражистый...
А и церкви там из золота все новеньки,
Все в зенчужных камушках часовенки,
А и улочки рублевиками вымощены,
Золотым песочком вычищены,
Закоулочки выложены полтинниками,
Четвертаками, пятиалтынниками,
А и для простаков-мужиков
Избы из медных пятаков,
Для начальства, купцов да аршинников
Из серебряных гривенников...
А денежки гвоздиками приколочены,
Шо бы прохожие не зарились оченно,
А и крылечки как кивоты кипарисовые,
Шаровары у всех с напуском плисовые,
Рубахи на всех новые да нанковые,
В один цвет и хасон, одинаковые,
Сапоги же лаковы
Почитай у всякова...
Ни поборов им, ни барщины им, ни оброка,
Не царь над ними и не царица,

А мтица
Со-ро-ка!
А и войдешь в то царство доброе,
Крепкосокое, крутореброе,
Вот и внидешь в королевство вежливое,
Попадешь ежели
В учтливое княжество,
Где народ здоровый да коряжистый,
Толь всего потребуется по положению
Ради свычая, в уважение:
Поклониться пред церквами божими,
Поздоровкаться ласково с прохожими:
Дескать, доброго вам, братцы, добра,
Прожития, братцы, веселова.
Тут дадут тебе шубу рудого бобра,
Дорогую шапку из соболя
Напялят на нечесану голову!..
Носи и не изнашивай,
Надевай и не спрашивай,
Где, дескать, купили, где добыли?..
Тут достанут тебе со самой верхней полочки
Все новешенькое, шитое с иголки,
Рубаху выдадут новую, нанковую,
Цветом, хасоном со всеми одинаковую,
Шаровары с напусками примерют плисовые,
Никакой цены на них не прописывая...
А и цена
Всему тут одна:
Слово доброе да руке-трясение

И в будний день и в воскресенье!
А и начнут тебя потчивать разною пищею,
Жареным тебя угощать и пареным,
Насуют всего в сумку нищую,
Выведут на крыльцо, как барина!..
Вот и тут дадут одну денежку,
Эту денежку никуда не денешь ты:
Неразменный рубль сбоку с дырочкой,
С завсегдашней с легкой вырубкой...

— Што ты?.. што ты?..—высочила Лукерья из-за печки в руках с помакушкой.—Што ты воешь, словно леший болотный!.. ребенка всполошишь... не видишь, младенец?.. да и народ, того гляди, соберется... вздуют еще... отвалтузят!

— Ох, Лукерьюшка, и то зачитался!.. а ты что?.. не веришь?..

— Вот уж Недотяпа, истинно, что Недотяпа... да кто же поверит?..—поджала руки Лукерья, усмехаясь робкой улыбкой.

— А кто не поверит, Лукерьюшка... тому сядет веред и в зад и на пѣред!—ухмыльнулся и Недотяпа.—Раздосадила ты меня, Лукичишна, разговором про барыню... сильно мне не любо, что так нехорошо меня в народе возвеличали... должно, что надо совершить теперь по-другому,—поглядел Недотяпа на люльку с младенцем, спустил с плеча на пол суму и, развязавши на ней мертвый узел, достал с самого дна большой кошелек,—вот, Лукерьюшка,

хушь ты верь, хушь не верь, а за доброе слово получи себе награду...—подошел Недотяпа к столу и вывалил на него золотую грудь, в которой меж золотыми, словно плотица на солнце, серебрился один только целковый,—мотри сюда, когда не веришь... ишь какие золотенькие, новенькие да плотненькие!

Лукерья шагнула к Недотяпе и, перекрестившись на него, как на икону, поклонилась в землю долгим поклоном и поцеловала грязные чуни.

АЛЯЛЮШКА.

Недотяпа долго смотрел, опершись руками о стол, на широкую, словно дроги, с которых сняли колеса, спину Лукерьи, и глаза его то темнели, то вдруг загорались зелеными огоньками, потом нащупал в золотой груди целковик и тихо промолвил:

— Вставай, Лукерьюшка, простая душа... полно; у нас седни не прощенное воскресенье, чтобы вальтаться друг перед другом!

Лукерья встала на ноги, неторопливо отерла кубовым подолом крупные слезы, в которых смешаны были и радость и удивление, а Недотяпа придержал вериги, чтобы не очень гремели, и тоже ей поклонился, облобызавши голые ноги. Лукерья, не шелохнувшись, тупыми глазами смотрела на золотые, как бы сообщая, куда их лучше запрятать.

— Прости и меня, грешника-кромешника,—прошептал Недотяпа, приподымаясь и осматривая Лукерью пытливыми глазами,—собери, Лукерьюшка, деньги... как бы кто, грехом, не наткнулся... Одно смущение только!

Лукерья как будто только этого и ожидала: не смея сама дотронуться до денег, бросилась к голбице и дрожащими руками стала набивать монеты в две глиняных чашки; одна вышла стогом, другая вровень с краями; схватила их со стола и остановилась посередке избы, не зная, что с ними делать.

— Ты, Лукерьюшка, сунь под шесток,—улыбнулся на нее Недотяпа,—авось там тараканы не стащут! Сунь их поскорее, чтобы глаза мне не мозолили больше.

Лукерья накрыла передником чашки, поклонилась Недотяпе низким поклоном и скрылась за печку. Недотяпа уселся в переднем углу на лавку и, как бы играя серебряным целковиком в неловких руках, хитро и довольно улыбался, и улыбка эта делала его простое лицо замысловатым и страшным...

„Вот юрод, сбоку рот,—подумала про себя Лукерья, когда вышла к нему и встала у притолки со скрещенными руками, как бы ожидая, что теперь скажет еще Недотяпа,—теперь, пожалуй, пускай себе бормочет, что хочет: денежки, слава те осподи, убраны! Теперь бы Мironыча только дожидаться!“

— Вот, Лукерьюшка, какое дело выходит,—начал неторопливо Недотяпа опять свой разговор,—

как все в жизни у бога устроено ладно: один челэк всю жизнь от бедности да лихоты, как мышь от кота кроется, а она его из мышиной норы, кажется, выдерет, без фонаря ночью найдет, а я вот... а я вот сколь годов от богатства бегаю и спасенья не нахожу! Потому сказано ибо: легче верблюду плясать по блюду, чем войти богатому в царствие! Видишь вот этот целковик?..

Лукерья вытянула голову, боясь сдвинуться с места, и жадными глазами посмотрела на монету.

— Как же не видеть, Недотяпа: хорошие деньги!— сказала она, вздохнувши.

— Да ты на него не жадись, Лукерья! Все равно я вот, скажем к примеру, тебе его дам, а... ног у него, видать, нету, а прибежит! Все равно опять ко мне прибежит.

— Прибежи...ит?—протянула удивленно Лукерья.

— Истинное слово, вернется... Уж я его, кажется, по-всячески от себя отстранял,—и с корабля-то в воду по самой середке моря кидал, и в могилу с покойниками вместе закапывал, и в лесу сколько раз клал на видное место... Одневысь, как в первый оброк приходил, какое дело случилось...

Лукерья развела руки, уставившись в Недотяпу, а тот заглянул на кого-то в окошко, опять улыбнулся и продолжал:

— Да... а... Иду это я к вам с оброком мимо Чертухина, несь знаешь такое село?

— Ну как же,—всполохнулась Лукерья,—как же не знать: в этом селе тоже вроде как один святой проживает... Сумнительный мне человек: уж, кажется, на что нищая у нас сторона, а недели не пройдет, чтобы палочкой в окна не стукнул!

— Палочка, значит, выручалочка!—усмехнулся Недотяпа.

— Такое и прозвание дали: Михайла-с-Палочкой!

— Подают?—опять усмехнулся Недотяпа.

— А как же? Христа бога ради! Как же тут не подать! Сам не с'ешь, а нищему человеку за пазуху сунешь!

— Простая душа, Лукерья, у тебя, говорю, простая душа! Михайла не нищий, а все больше ищет.

— Простая душа, зато и нет ни гроша,—отвернулась Лукерья.

— Не было—будет! Подашь—не убудет! Так вот, иду это я мимо болота, а с болота как раз дороги расходятся в разное место, и в стороне так, на самом виду, такой заметливый пень... Подошел я, гляжу—на пенушке лежит медная змейка... Ну, думаю себе, змей—умная, мудрая тварь, подложу-ка я под змейку свой проклятый целковик, авось в норку к себе укатит, змееныши от скуки забавиться будут... Так и сделал... Что же ты думаешь: не успел дойти до наших ворот, чувствую—здесь, у самого сердца!

— Скажи, сделай милость,—разинулась Лукерья на целковый.

— Должно что какой-нибудь челэк насунулся и положил его в карман без молитвы! А ведь целкашто какой... только подумай: купишь чего-нибудь на три копейки, сдачу сунешь в рукав, а он уж... там... на своем месте со сдачею вместе!

— Пошлет же бог одному человеку такую удачу!— перекрестилась Лукерья.— Оно ведь и правда, Недотяпа, привяжется счастье да удача к человеку, прилипнет к кому-нибудь одному, и ее хуже беды от него помелом не отмашешь!

— Верно... верно, Лукерья!—обрадовался Недотяпа.—Правильно, вишь, говоришь. Хуже беды! Во много раз хуже напасти! А думаю я вот теперь, благо ты печешь алялюшки... не запечь ли мне его в тесто? Денежка, она липнет к человечьему поту, пристаёт к труженной крови, а в божьем хлебе, я так думаю, и поту и крови довольно... Думаю так, что в тесте, с молитовкой вместе, рублик мой должен завязнуть... завязнет!..

— Что ж,—улыбнулась Лукерья,—давай запеку... У нас барыня, бывало, деньги так запекала в бытность майора, когда тот бывал именинник!

— Барыня запекала на именины, а я, Лукерьюшка, запеку-ка себе на похороны! На, вот, рублишко, сделай оспода ради алялюшку потолще да масла не пожалей на этот случай!

— Враз будет готово,—перекрестилась Лукерья.

Лукерья приняла целковик из рук Недотяпы и чуть его не уронила: показалось ей, что побег от

него огонек в дрожащие руки и даже под пятки кольнуло, но, видимо, пересилила себя и только перекосилась улыбкой, а Недотяпа подошел к окошку и замотал свалявшимися колтунами:

— Слава те, осподи... вот и челэка подходящего бог подает!

— Недотяпа: с пылу, с жару!—весело крикнула Лукерья из-за печки.

— Спаси те Христос, Лукерьюшка, спаси те Христос и помилуй,—бросился Недотяпа за печку, как будто боясь опоздать.

Лукерья подала Недотяпе всю сковородку, на которой вспухла румяными краями вкусная алялюшка, Недотяпа схватил ее, обдувая в ладонях, и поклонился Лукерье:

— Грехов тебе прощенье за такое угощенье! Ай да наливуха, во имя отца и сына и... духа!

Лукерья, добравшись снова до печки, сунула новую сковородку, окропивши ее помакушкой, а Недотяпа вышел с печевым в руках за печку и кому-то тихо промолвил:

— Прими Христа-оспода ради!

— Уж и чудачок этот Недотяпа,—усмехнулась Лукерья, следя, чтобы на сильном огне не подгорело,—сам себе подает! Деньги отдает, вот уж чудак! Истинное слово, что Недотяпа...

Зашипело в печи конопляное масло, выбиваясь пузырями со сковороды из-под теста, Лукерья так и впилась глазами, улучая минуту, когда повернуть

на другой бок алялюшку, и потому едва расслышала другой голос за перегородкой, который мало был похож на тяжелый хрип Недотяпы:

— С кех это пор стал ты сам подавать, Недотяпа?

— А ты, божий челэк, меньше говори да больше глазами моргай,—недовольно прохрипел Недотяпа,—знай себе палочкой-выручалочкой помахивай!

— Да я ж не в обиду, а так, спроста говорю: сам милостыню собираешь,—опять слышится голос.

— С нищей милостыни иной становится богатеem... Это мы с тобой, дураки, весь век задарма потеем! ты-то понимай!—с задышкой хрипит Недотяпа.—Ты не гляди, что я такой калекий, не думай и не кумей! Иди... иди себе с богом, получил милостыньку и иди с осподом!

— Спаси Христос... прощенья просим!.. коли будешь в Чертухине, постучи... и я те подам по скудоимству!

— Ну, уж у вас в Чертухине зимой наприсишься снегу... иди с богом, иди!—проскрипела жалобно дверь и слилась с недотяпиным хрипом.—Слава те осподи, слава!

Лукерья уронила на пол пышную алялюшку и выскочила из-за печки, оглянула избу: нет никого, а Недотяпа лежит в переднем углу в растяжку, тяжело вздыхает и стучает громко лбом о половицу.

— Ай и в самом деле Михайла... как это его всегда чорт в такое время подсунет,—подумала Лукерья про чертухинского Михайлу, который в эту

пору был уже тоже немолодым и стрелял, как мы говорили, по всей округе за христовым куском, Лукерья не знала, как его от окон отвадить, потому что думала про Михайлу, что сам бог с неба мимо него всю совесть просыпал: до того надоеднй мужичишка!—нет... Недотяпа вот не такой... и в самом деле: святой! Недотяпа!—наклонилась она,—с кем ты тут говорил?.. скажи ради оспода-бога

Недотяпа поднял голову с полу и оглядел Лукерью слезящимися глазами, потом погрозился пальцем и голосом страшным и властным промолвил:

— Ну, и ладно, что не видала! Молчи... молчи!

— Молчу,—покорно прошептала Лукерья.

— Молчи: лучше будет!

Недотяпа опять приник к половице и, кажется, хотел бы насквозь ее проплакать до переклада, подергиваясь узловатыми плечами, на которых в беззвучных рыданиях позвякивали тяжелые вериги, кольцами перевиваясь по телу, долго молился Недотяпа, не подымая лица, Лукерья забыла сразу про печку и алялюшки, забыла даже про золотые, стояла возле него, только головой склонившись, и не смела стронуться с места.

* * *

— Ну, Лукерьюшка,—наконец поднялся Недотяпа с коленей,—спаси те Христос за такое остеприимчество... Теперь мне можно ко гробу! Авось, думаю,

теперь не догонит! Прощенья просим, Лукерья!— поклонился в пояс Недотяпа и направился к двери.

— Прощай, Недотяпа,—заплакала Лукерья, схватившись за угол передника,—бог с тобой!.. бог с тобой, если ты нас обидел!

Недотяпа оглянулся с усмешкой на Лукерью, покачал головой и прошептал:

— Ладно коли, Лукерья... Коли чем недовольна, тогда возьму назад половину!

— Не дам... не дам,—бросилась Лукерья к печке и широко расставила руки в проходе за перегородку,— не дам... я тебя, крошечная душа, топором!.. Топором!..

Недотяпа криво усмехнулся и дико проговорил:

— Коли так: прости меня, Христа ради!

И... вышел.

Лукерья долго простояла, как в столбняке, с расставленными руками, потом опаматовалась, зачатила кресты, смахнула тугую слезу и подбежала к окошкам: на селе ни души, только от метели в глазах словно саван мельтешит...

— Должно что дунул задами... и в самом ведь деле, если встренется кому, отвалтузят!.. дух выпустят вон!—оторвалась Лукерья от окошка и поспешно выбежала на улицу: мимо крыльца серебряной змеей вилась поземка, следы уже запорошило, а к гумнам за прозрачной сеткой февральской метели, которая путала дороги и тропки, как бы в предвестии скорой весны, большими шагами, чернея в сугробах, шагал Недотяпа...

— Рази туда, к Ерусалину?—сама себя спросила Лукерья.

Показалось ей, что у Недотяпы на лохматой непокрытой голове широко расставились в стороны черные большие рога... Потом же, когда Недотяпа подошел к гумнам поближе и в метельное небо поднялись с его головы князьки от заметенных снегом овинов, на которых лишь сверху крест-на-крест переплетались черные жерди, словно и в самом деле какие рогули,—Лукерья смекнула ошибку и перекрестилась:

— Нет... нет... Недотяпа не такой человек!.. Святой!.. Святой человек Недотяпа,—вспомнила она вдруг про золотые,—истинное слово: святой!

С поля из-за овинов тут налетел резкий ветер, раздул шаром подол у Лукерьи, и в глазах у нее сразу пропали за вьюгой овины, и Недотяпа скрылся из виду; обернулась она, думая вернуться в избу, чтобы допечь алялюшки, и остолбенела: на крыльце, уставившись мутными искрасна глазами на оснеженные валенки, держался за скобку Никита Мироныч.

КРЕСТНАЯ МАТЬ.

— Ты что тут, Лукерья,—удивился и Никита Мироныч, когда разглядел у крылечка жену,—али кого провожаешь?..

— До ветру вышла, Мироныч,—смущенно оглядела Лукерья необычно тихого, словно прибитого мужа,— метелица, вижу, поднялась... думаю: как ты доберешься до дома? Простынут у меня алялюшки!

— Да уж ты не ври: говори, кого проводила?— приоткрыл дверку Никита Мироныч.

— Ей-бо... что ты, Мироныч?

— По глазам вижу, что врешь!.. Будет тебе больше половины уж знаю!—махнул рукой староста.

Лукерья оправила платок на голове и прошептала:

— Откуда, Мироныч, ты знаешь?

— Э...э, Лукерь, тут по селу бегает такой колоколец!.. Михайлу-с-Палочкой встрел... стреляет! Дивлюсь, как это подают такому отрясу!

— Ну?—передохнула Лукерья.

— Ну, я было его остановил да насчет своего... по случаю барыни, потому не стерпел не сказать... всем-всем на этот раз разглаголил... Ну, а Михайла мне про свое... алялюшку, говорит, в твоей избе подал мне Недотяпа... правда, Лукерья?.. Да что мы тут стоим на морозе... пойдем-ка в избу... Ох, дела, Лукерь... ох, дела... Господи, что же теперь... куда же деваться?—запричитал Никита Мироныч, в темноте с расставленными руками пробираясь по сениям.

Лукерья шла неторопливо за ним и думала про себя, что давно уже так ее Мироныч не был сшиблен с порадка, должно быть, у барыни и в самом деле что-то

такое случилось... вошли они в избу, Лукерья к печке, а Никита Мироныч взглянул на младенца и, усаживаясь грузно на лавку, уложил руки на обе коленки:

— Седьмая, Лукерья, беда... и к нам, мать моя, привалила!

— Что... что, Мироныч, случилось?—схватила Лукерья за груди.

— Что случилось... узнала наша дьяволица, что ты родила младенца...

— Ну-к что ж такого, Мироныч,—удивилась Лукерья.

— Как что ж такого... вот еще, дура: в хрёсные лезет! Напрашивается!

— Да барыня несъ у всех ведь в кумах побывала... нам даже обидно бы кажется было...—недомуменно Лукерья расставила руки.

— Да что ты, в уме... плакать по такой куме... да провались она в три дыры без крыши! Я ведь только теперь вот разнюхал... отчего у нее крестники на двор сами не ходят... ох, ох, Лукерь, что нам делать теперь?

— Да батюшка, Микита Мироныч, да раз'ясни хорошенько: ей-бо, ничего не понимаю, как дура!

— Дура!—вскочил Никита Мироныч.—Тебе говорят: крестники-то у нее слепые?.. Ну?.. камень такой у нее на руке... на него даже больно смотреть... проводи по глазам и, значит: слепенькому подай Христа ради! Уразумела?.. а все недотяпин оброк, провалиться бы ему сквозь дна без крыши!

— Так, значит, барыня это юродит младенцев?— почернела Лукерья и бросилась к люльке.

— А ты думала, что... отчего, мерекала, последние годы у всех рождаются слепые?.. напрасная хрёсная!—подморгнул Никита Мироныч, тоже на лице с чернотой за сединою.

— Ох, и сынок ты мой, последушек,—запричитала Лукерья, припав к колыбели,—последушек-поскребушек, ох, беленький воробушек!..

Никита Мироныч подошел к колыбели и тоже наклонился, не обращая внимания на лукерьины причитанья, из-за полога просинились удивленные, широко раскрытые глазки, защекотал у младенца Никита Мироныч под подбородком и заагукал:

— Агу... агу: не хочешь ли творогу?.. агушеньки... агу, барынин хресничек, агу, провалиться бы ей в преисподнюю, греховоднице!

— Ох, и не будет последушки у де...едушки, заба...авушки... и у ба...а...вушки!—еще громче заголосила Лукерья.

— Лукерья... полно,—испуганно оглянулся Никита Мироныч,—народ соберешь! Перестань, тебе говорю... эх, наверно звенит теперь мой колоколец: раскололит про этот камушек за мое почтение! Молчок-мужичок, а на такие штуки первый дока!.. И старый и малый узнают... а узнают,—вздыхнул Никита Мироныч,—все то же будет... кому до нас дело?.. ну, да хоть поговорят и то ладно,—махнул он рукой.

Лукерья молча глядела, не отрываясь, на младенца и вытирала пологом слезы.

— А если, Мироныч, барыня тоже узнает, что ты так про нее говоришь?—шепнула Лукерья, не глядя на мужа.

— А шут с ней совсем: к одному концу! Вот ведь, Лукерья: а все Недотяпа с оброком с этим проклятым... жалко, жалко, меня не дождался!—грозно сверкнул Никита Мироныч глазами.

— Мироныч, не гневи бога,—строга сказала Лукерья,—молчи...и.

— То ись что это такое: молчи?..

— Недотяпа так говорил: молчи, говорит, больше, молчи! Повесь, говорит, на язык лучше замочек!

— Эх, жалко, меня не дождался, показал бы я ему!.. устроил бы молчанки... из бороды бы надрал мочалки! Ну, да шут с ним совсем: отвалился, и ладно! Ты вот что теперь говори: что теперь делать, Лукерь?.. А?.. Куда, говорю, упрятать младенца?.. В лес сволочить, о такую пору волки... мороз... куда нам деваться?—схватился за седые редкие волосы Никита Мироныч.

— Не гневи бога, Мироныч... слушай-ка ты... а если да попробовать...

— Што... што... попробовать?.. што?—злбно перебил Никита Мироныч.

— Мироныч, можно за деньги у барыни волю купить?—прошептала Лукерья, оторвавшись от колыбели и закинувши полог.

— Да ты что, в уме?.. ополоумела, что ли?.. за деньги!.. за деньги с того света нельзя вернуть человека, а остальное все можно за деньги!.. Только вот надо их к тому же иметь... дурак, сам дурак: сколько лет у барыни и не скопил... даже копейки про черный день! эх, честнота... честнота—в кармане теснота!—присел Никита Мироныч снова на лавку и отвернулся от Лукерьи.

— Да нет... ты меня не домекаешь...—заспешила Лукерья,—за недотяпины, говорю, деньги... за недотяпины?..

— Недотяпа рази деньги оставил?—привскочил Никита Мироныч.

— Оставил... оставил... я на улице побоялась тебе сказать... на ветру!.. потому и говорю: лучше молчи.

— Ну?—уставился Никита Мироныч в Лукерью.

— Ну, и вот... принес, вишь, опять вроде барыне оброк... все тебя дожидался... уж плел-плел тут мне разные диковины да пустяковины... индо уши заломило его слушать... Доброе царство, говорит, есь на свете такое... Ну, словом, за дурочку меня принимает... А я ему и выложи, не будь дура, про барыню все начистоту... Ты вот, мол, оброк барыне опять принес, а она тебя святым чортом за этот оброк возвеличала!..

— Ну!—нетерпеливо перебил Никита Мироныч.

— Ну, и вот как услышал он про этого чорта, так весь, кажись, пеленой и покрылся!.. А я еще

ему тут подбавляю: тебя, говорю, мужики из души в душу клянут... за оброк все, говорю, за твой за проклятый!

— Ну... ну,—поторопил опять Никита Мироныч.

— Ну, тут он мне и говорит: бери, Лукерья Лукичишна, коли так, себе деньги... они мне не нужны!.. Дарю, говорит, тебе за доброе слово да за простую душу!

— Ну, ты проста-то, проста,—удивился обрадованно Никита Мироныч,—да проста-то только с хвоста!

— Да я уж и то гляжу на него, помалкиваю!.. Спрячь, говорит, их под шесток, а я, не будь дура, в подпол, в угол, куда молоко убираем! Только, говорит, слышишь: молчи! Молчи: хуже будет! Ну, тут я малость оплошала, должно быть... наполовину... бог, говорю, с тобой, Недотяпа, если ты нас опять чем обидел!—брякнула сдуру, дескать, бог простит, если опять неправильные деньги подсунул... конечно, так-то ему не сказала, а он-то уж понял!.. дурак, дурак, а голова у него, Мироныч, не дурная!

— Какой он дурак... дурака только строит!—махнул рукой Никита Мироныч.—Знакомитый!

— Ух... головастый... коли, говорит, не очень довольна, тогда, говорит, отниму назад половину...

— Отнял?—повел глазами Никита Мироныч.

— Думала, что полезет... схватила было топор... а он перекрестился только и... вышел!

— Ахламон!.. большой ахмурыла!.. погляди, опять медяки! Денег-то много?— все же подернулся дрожью Никита Мироныч.

— Уйма, Мироныч,—схватилаь Лукерья за щеки... уйма... две кружки... одна даже стогом! и все золотые... Молчи, говорит, молчи! Про все, говорит, остальное: молчи!—большое испытанье было у Лукерьи в эту минуту не проговориться про рублик.

— А ну, давай поглядим... вздуй-ка лучину,—направился Никита Мироныч к подполище за печку, где западня,—чувствую издали, что медяки!

Лукерья вздула лучину, и оба они спустились в темную прорву подызбицы, куда спокон веков мужики убирают в наших местах картошку, снеть разную, чтобы за зиму не застыла, иные деньги, если есть, тоже хоронят, а как мы уже рассказывали про одного мужика, про мельника Спиридона Емельяновича, так тот в подполищу даже бога запрятал: не расслышали Лукерья с Никитой Миронычем, как спустя минуту за ними воровато раскрылась дверь и на пороге в бархатной шубейке и в черной пуховой шали показалась барыня Рысачиха.

ДВЕ ВОЛИ.

Страшно было в ту пору лицо Рысачихи.

Барыня, как только князя убили, сразу осела пышным телом, как тесто на холоду, и год от году

в здоровьи стала заметно у всех на глазах подаваться, не успевая дергать с висков серебряные волосинки... к этой поре барыня была уже седая, словно метель, хотя тогда ей только-только еще за сорок перевалило.

Полные румяные щеки, какие у нее на картине в чагодуйском музее, изображенные без малой прикрасы, сморщились и избороздились вкривь и вкось мелкой морщинкой, что обычно лицу придает добродушие и глупую старческую простоватость, но у Рысачихи они оттенялись колючим, ненасытимым огнем, идущим из преисподней ввалившихся глаз, обведенных чернотой подглазниц, на которых еще ярче, чем в ее молодости, горели все еще золотые ресницы.

Точеный нос барыни немного свесился вниз и заострился наподобие как и у покойной ключницы Марьи Савишны, которую сама барыня за это называла часто вороной, на тонких ноздрях проросли едва заметные бурдовые волосинки, какие бывают и у простых мужиков и у благородных по всем известной причине...

Словом, когда-то и в самом деле словно царица, Рысачиха стала помахивать на заправскую ведьму.

Да и сама она у себя на дому все зеркала, какие остались после продажи, переколотила, как рассказывала ее девка Палашка, а Рысачиха, известное дело, всю жизнь только и делала, что в зеркало на себя по часам любовалась!

Значит, уж стала к этой поре хороша, когда у нее у самой на себя глаза не глядели!

* * *

Рысачиха вошла к Никите Мironычу в избу и одним взглядом, быстрым и пытливым, осмотрела углы, крадучись, заглянула за печку и, увидя у за-лавка черную пасть откинутой западни, откуда терпко тянуло сыростью и прелью, подошла к колыбели и с ухмылкою тронула полог.

— У... ух, какой карапуз,—прошипела она, впившись в младенца глазами, с дрожью на тонкой нижней, чуть оттопыренной капризно губке,—еще бог крестничка послал! еще слепенький будет. Что зря-чему толку?.. и в зрячем какая корысть?.. Воровство да убийство! Уродится зрячий да разбойный и барыню свою, чего доброго, прикончит!.. полетай, душа, в рай... полетай в рай... в рай, к дедушке... в сара-ай!—сунула Рысачиха левую руку в колыбельку и провела по глазенкам дареным кольцом, в середине младенца как будто екнуло что-то от прикосновенья холодного камня, бумажные вечки быстро заморгали, как бы пересиливая ветерок, высунулась из свивальника крохотная ножка, загнувшись кверху розовой пяткой, убранный бисеринками пота, Рысачиха перекрестила младенца, поспешно закрыла полог и с видом довольным и безразличным уселась в переднем углу на широкую лавку.

— Миرونыч!—пропела она дрожащим треснутым голосом, в котором уже ни прежней властности не было слышно, ни барской торжественности.—Миرونыч!.. к тебе барыня в гости, а ты ее и не встретишь?!

В это время Никита Миرونыч пересчитывал вторую кружку, вываливши золотые прямо на землю и забывши, кажется, все на земле. Барыню услышала Лукерья, в пламени от лучины глаза у нее сразу остеклели, толкнула она под бок Никиту Миرونыча, Никита Миرونыч уловил последнее барынино слово и просыпал в испуге деньги из ладошки на землю.

— Барыня!—прошептал он, взглянув на Лукерью бегающими глазами.

Лукерья выкатила на него большие колеса молочных грудей, из которых в сегодняшней спешке да горячке не успела выдоить на пол излишек, и не могла выдавить слова.

— Давай выходи: младенец, дура, младенец!—согнулся староста.

— Господи,—бросилась Лукерья к западне.

— Бери кружку, которая сосчитана, заверни в передник!—остановил ее Никита Миرونыч, и сам впригибку пошел по подполице к выходу.—Матушка... матушка-барыня... милостивица наша,—начал Никита Миرونыч умильным голоском, преобразившись в улыбку, как только показался головой из западни,—милости просим,—поклонился он в пояс, пугливо оглядевши полог у колыбели,—милости просим!

— Думала... думала,—начала Рысачиха, ничем не выдавши волнения,—и решила сама условиться с Лукерьей: не мужичье дело крестины! Лукерья, а Лукерья,—протянула Рысачиха, не видя Лукерьи за перегородкой.

— Матушка-барыня... милостивица... что прикажешь?—вывалилась Лукерья из-за печки, сразу ботнувшись на колени.

— А ты вставай... не валяйся! В кумы вот тебе набиваюсь, когда сама не зовешь... покажи-ка младенца: я над ним крестик повешу!—приподнялась барыня с лавки, но Лукерья вскочила с коленок и закрыла младенца, расставивши руки.

— Нельзя, матушка-барыня, ей-бо пра, нельзя: седни только-только минут седмины... чужой глаз до семи дней вреден младенцу бывает!—заспешила Лукерья, заглатываясь словами, как будто боялась, что барыня не дослушает ее и сглазит младенца, взглянувши за полог.

— Ну, если седмины не прошли, тогда дело другое... я ведь не знаю, когда ты родила... Миرونч не похвастывал даже, Палашка уж мне разболтала...

— Старики, матушка-барыня: седые волосы!.. хвастывать стыдно!—поклонилась Лукерья.

— Ну, старички... старички... а, видно, не надевали очки,—захихикала барыня,—ну, как же мне у тебя, Лукерья, не покумить, почитай, все село с купельной водой обошла в оба порядка, а мимо вас

и пройду?! Да: растут... растут крестнички... вырастут: барыню любить будут... потому барыня: крёстная!.. барыня: вторая мать!.. а я им леденчиков, вырастут... орешков...

Никита Мироныч в лад барыне качал головой с умильной улыбкой, и когда Рысачиха с последним словом опять уселась на лавку, положивши трость на колени, под ногами у него вдруг закачался пол и из-под помойника у двери выставился на самые глаза лосным лбом обуха новый топор, сморгнул Никита Мироныч и не к речи завел разговор о выкупе:

— Матушка... барыня... что хочу вам сказать, хотел с этим делом к вам седни по вечеру заявиться!

— Говори!—строго оглядела его барыня.

— Вот и говорю, матушка-барыня... в гостях вроде как хорошо, а дома все-таки лучше...

— Ты это к чему?—перебила барыня.

— Сейчас... сейчас, матушка-барыня... Лукерья, ставь на стол кружку!

Лукерья с испуганной улыбкой, с поклоном поставила кружку с золотыми на стол к Рысачихе, а Никита Мироныч отсунул ее на середину и прикрыл ладонью.

— Это что же, Мироныч, за угощенье?—сверкнула барыня, мельком увидав золотые и еще хорошо не поверив.

— Это, матушка-барыня,—выкуп!—сказал с уверенным и непонятным для него самого спокойствием

Никита Мироныч, приподымая руку на кружке.—
Выкуп за волю!

— Та...ак... так: на волю, пес, захотел?.. значит, довольно... нагребил?—протянула руку Рысачиха к деньгам.

Никита Мироныч поглядел опять на топор и пересилил мурашки:

— Жизнь моя,—сказал он, отодвигая еще дальше от барыни кружку,—жизнь моя, матушка-барыня, ваша, ну, а денежки... это—мои! да и совестно вам так говорить!

— Ох, совестно, матушка-барыня,—вытянулась на барыню Лукерья из-за мужа,—правдой-совестью сколь годов вам прослужил!

— Зря, значит,—вздыхнул Никита Мироныч,—все равно полагаете вором, матушка-барыня, ни в одной копейке вашей не грешен, как перед богом!

— Откуда же деньги?—сощурилась барыня.

— Клад!—выпалил Никита Мироныч, глядя на барыню счастливыми глазами.

— Клад... клад, матушка-барыня... в подполице барашек беленький все бегал... вот блеял... вот блеял по ночам... спать не давал, уж такой-то расхорошенький... кудрявистый,—запела Лукерья, сложивши руки на груди.

— Да я пошутила, Мироныч: ты честный... честный мужик!—усмехнулась барыня, взглянувши на полог—Ишь ты, тебе какое счастье подвалило...

дорогой барашек... дорогой! давай сюда кружку... сколько тут?..

— Не считали, матушка-барыня... не считали,—заторопился Никита Мироныч,—не считанное и вам отдаю: видите—золотые!

— Фальшивые может?—нахмурила барыня бровь.

Никита Мироныч взял одну монетку из кружки и ударил ею о стол, монета привскочила, зазвенев самой чистой чеканкой, и упала барыне в руки.

— Давай!—обожглась Рысачиха.

— Так, барыня, не отдам: давайте расписку... выход давайте!—ухмыльнулся еле заметно и Никита Мироныч.

— Пиши!—приказала барыня.

— Лукерья, гумагу!—живчиком повернулся Никита Мироныч к жене.—Да вздуй лучину: матушке-барыне тёмно!

Лукерья поставила перед Рысачихой светец, разложила лист чистой бумаги, и барыня, пряча левую руку, быстро прочеркала гусиным перышком отпуск на волю.

— На, пес!.. на, раб!.. давай сюда деньги,—выкрикнула Рысачиха, не глядя на Никиту Мироныча.

— Всю жизнь, матушка-барыня, вез, а вышел: пес!.. ну, да нашему брату все сойдет... получайте!—Никита Мироныч взял со стола бумагу и положил ее на божницу.—Лукерья, зажги ланпадку: воля!

— Микита... Микита,—повисла у него на плече Лукерья,—дай-то, осподи, дураку сто лет жизни!..

— Молчи... молчи!—прошептал Никита Мироныч, оглянувшись пугливо на барыню, которая торопливо, стоя к ним спиной, засовывала по карманам деньги.—Молчи, сполоумела с радости, что ли?..

— Молчу!—Лукерья свесила руки и сползла перед Никитой Миронычем на колени.—Пошли ему, осподи... спаси его и помилуй...

— Ну, Мироныч... совет да любовь!.. растите младенца... сами богатейте,—с ухмылкой заговорила Рысачиха, опершись на трость,—ужели же теперь на крестины барыню свою в кумы не позовешь?.. А?..—замысловато она окинула старосту.

Никита Мироныч не ожидал этого вопроса и переминался перед ней, придумывая, чтобы помудреннее ответить, но так и не сообразился со словами, по счастью в это время хрипнула дверь, под ноги ударил из сеней холодок, и на пороге согнулся сотский мужичок Федулка, собрал он в селе Скудилище сходки, ходил в Чагодуй за почтой и вообще был приставлен к посыльному делу... звали его в Скудилище больше по прозвищу „Бодена-дочь“, потому что так начинал Федулка всякую речь, чтобы не грешить матерным словом, которое, как известно, никогда у мужиков с языка не слезает...

— Бодена-дочь: морозец!—обмахнул Федулка катанки у порога.—Здорово живешь, Мироныч... барыне наше почтение... два-полтора всего с кисточкой!—отвесил он обоим поклон.

Никита Мироныч выпялился на Федулку, от которого неуважительного, худого слова раньше не было слышно, Лукерья стала пугливо за мужа, а Рысачиха вздрогнула от такой федулкиной веселости и облилась чернотою:

— Ты что... что это ты, собака?—взвизгнула она.—Пьяный?..

— Бодена-дочь, пьяный, не пьяный, барыня, а... думаю выпить,—показал он на бутылку,—потому у нас седни праздник... уж такой, барыня, праздник... престольный! По всей-то волости люди в веселости!

— Ты что... что,—не подбирала барыня слов, задыхаясь и заглатываясь,—что... тоже выкупаться задумал?..

— Бодена-дочь... я уж, барыня, выкупился... выкупился! Да...а! а храбра курица на воробья,—показал он Никите Миронычу на Рысачиху, Никита Мироныч по старой привычке протянул, было, руку, чтобы схватить Федулку за ворот, но на нее повисла Лукерья и оттянула его под перед, а барыня подняла трость и нечеловечьим голосом закричала:

— На конюшню подлеца, на правило!

— Бодена-дочь: руки коротки,—подошел Федулка и подал Рысачихе сверток в красном платочке: из которого белым ухом смотрела цыдула о воле,—на... читай себе с богом!.. Мироныч, говори: Христос воскрес!.. Царь о нас вспомнил! Воля... воля, Мироныч,—бросился Федулка к Никите Миронычу, но тот опустил руки и поглядел на барыню пустыми глазами.

— Воля? Барыня... вроде как деньги-то вы не по правилу получили? Сразу две воли! Мне хватит одной!

Рысачиха оглядела мужиков потухшими глазами и схватилась за карман, а Лукерья замахала руками на мужа, испуганно моргая глазами:

— Пусть их, Мироныч... пусть пропадают! Все равно святой черт сказал, что половину отнимат...

— Молчи,—топнул Никита Мироныч, Лукерья присела, Федулка разинулся на них, не понимая, а барыня незаметно пробралась к двери и выскочила в сени.—Ату...ату!—весело крикнул староста, когда хлопнула дверка, и плюнул к порогу.—Вот, Бодена-дочь, дело какое: все вышли на волю задаром... а я за денежки... за кровные: пять соток отвалил... ну, чтобы тебе притти часиком раньше!

— Бодена-до...очь!—схватился Федулка за лохмы.—Пять соток!

— Во как! Ну, да ладно... у меня зато крепче! А вдруг царь раздумает завтра... придет на попятный? а у меня зна-ка: на божнице! Спится да ложится спокойно!

Федулка мотнул Никите Миронычу в знак согласия рыжей гривой и поставил по середине стола непочатую бутылку:

— Ты-то не пьешь, Мироныч, а зря... Ну, да шут с тобой... мы с Лукерьей уж выпьем.

Лукерья воровато посмотрела на мужа и на большом глиняном блюде вынесла алялюшки.

НИЩИЙ ХОЗЯИН.

Трудно подчас на старой монетке, которая долго по белому свету ходила, то с труженным потом, то с разбойничьей кровью прилипая к человеческим рукам, разобрать, на какой стороне орел крылья расправил, на какой красуется царская плешь, то же случилось и со многими нашими понятиями и словами, ставшими теперь столь неувидительными и привычными в простом обиходе, что подчас на них, как и на хожалой монете, ни орла не видно, ни решки.

Воля!

Мы уже наполовину не слышим, какие горные трубы звенят в этом слове, сколь на высокий лад и голос шумит в нем радостный мир, как легко и привольно в синее небо вздымается солнце в проясненных глазах, как за ним катится из-за леса, куда притаился и спрятался мрак, безоблачный месяц, словно точеное колесо серебряной колесницы!

Воля!

Ох, сколь радостное, сколь могучее слово!

Кто волю не любит?

Любит зверь, любит птица, червяк и тот ее любит, и, пожалуй, меньше всех любит ее человек, придумавший *рабство!*

* * *

Но что было делать рысачихиным мужикам, за что было приняться, когда вышли они на свободу?..

Земля любит силу, из земли сила идет в человека, как соки по корням в деревья, но как же войдет живительная влага в корень осохлый, обрубленный топором дровосека, как земля приютит мужика, у которого обломаны руки и ноги?!

Оставалось одно: попрежнему собирать подаянье!

А нищий человек, как охотник, сегодня сыт, а завтра, может, зубы на полку, где подадут, а где и кулаков насуют за пазуху, вместо баранок, тут-то сообразительный, как оказалось потом, старичок Никита Мироныч и разглядел без очков свою выгоду, и что мало удалось у барыни по ее крутому характеру и нерасчетливому разумку, обмозговалось в седой голове у Никиты Мироныча как нельзя лучше: по выходе на волю, не теряя времени зря, схоронивши еще в селе Скудилище барыниного крестника, последыша-сына, должно быть, с холодной купельной воды протянувшего ножки, после чего Лукерья так и осталась бы в петле, если бы не подоспел во-время Никита Мироныч,—не теряя времени, рысачихин староста обмекнул правильно дело и снял в долгую аренду у Николонapestовского монастыря местечко тут же за рощей и то ли и в самом деле на остаток от недотяпанных золотых, то ли на прижитые за службу у барыни деньги, признанья о чем даже на том бы свете у Никиты Мироныча клещами не вырвать,—словом как бы там ни было, но староста выгрохал пятистенную избу, открыл постоялый, потом с подачею чая и водки и при постоялом... нищее дело.

Поставил Никита Мироныч это нищее обзаведенье на широкую ногу: в кладовых, на чердаках везде было насобрано и навешано разного нищего добра, всего сотни на две, если какому-нибудь старьевщику даже сбазарить.

Смешно это сказать и подумать, а все же и нищему нужна подходящая сряда, а то подавать люди не будут: такая уж наша натура, всегда человек повне щупает человека глазами и редко заглянет в ту дырку, в которой, как таракан в пазу, сидит чело-вечья душа, от которой чаще всего лучше отойти и отмахнуться, а в ин час хорошо склонить голову и подивиться!

...Чего-чего только не было припасено у Никиты Мироныча: и посохи с вырезанными молитовками и заговорами от разных болезней, и монашеские сутяжки, в которых у него ходили ерусалимщики, с поясами, поделанными из негодной изношенной сбри, и разные отрепья, которым подыскать трудно название, для монастырских местных попрошайек, в них долго не находишь, в такую одежду воробей влетит и вылетит и крылушком за ребрышко не заденет, на стенах висели разных фасонов вериги, с тяжелыми крестами и медными иконами, продетыми в чугунные кольца, имелось и фасонное платье, с заштопанными дырками, с латами из синей ряднины, в покрое под зажиточные зипуны и пестрядинки, в них стегали по всей Руси мироничевы погорельщики, собирая милостыню с фальшивой бумагой,

хотя, кроме шапки на голове, у таких мужиков на самом-то деле нечему было гореть, водилось и городское партикулярное платье, в нем нищенствовали по городам на чистых улицах, куда в рубище нищего не пустят,—но всего тут не перескажешь, об этом нищем дворе Никиты Мироныча у нас еще будет впереди разговор, когда дойдет очередь до истории Буркана и рысачихиной дочки, а теперь ко всему только добавим, что рысачихиным мужикам в подведении Никиты Мироныча жилось все же во много раз лучше.

Никита Мироныч хоть и получал со всех прихожан немалый доход, но зато все были сыты, обуты, даже нищих девок выдавал Никита Мироныч и устраивал нищие свадьбы, отселяя из Скудилища к себе под бочок молодых в какую-нибудь конуру, выстроенную им под верную службу, долгую кабалу и покорность. Оттого-то со временем и образовалось около постоянного Никиты Мироныча целое село, по монашескому прозванию Говейново, куда стали стекаться ночевывать разные молельщики, сходявшиеся в монастырь на говенье.

Вот сюда-то и дунул Михайла (а, впрочем... может и не Михайла, а, как скоро увидим, может... кто... кто другой за него!) со своим сынишкой Мишуткой к нищему фабриканту.

Конечно,—с таким рубликом, который был у Михайлы в кармане, прямая дорога куда-нибудь к более денежным людям, но, видно, уж столь велика

сила привычки и наторной дороги, хотя бы кроме вреда и убытка эта привычка ничего не приносила... сюда же немного спустя как-то под вечер приволоклась и Секлетинья на богомолье в поминовение мужа, о котором она стала было рассказывать чертухинским мужикам, да мы ее перебили и рассказали. может, что и лишнее сами.

* * *

Когда Секлетинья, сильно приуставши в дороге, подошла к селу Говейнову, за которым в последнем скупом лучике зимней зари сияли незыблемой синевой николонapestовские купола, спускался уже непогожливый вечер, на ночь, видно, сбиралась метель, и Секлетинья из последних сил, отпихиваясь молельным посохом, торопливо минула первый порядок села.

К Никите Миронычу вошла она на постоялый, когда уже совсем затемнило.

В хмуром сумраке прокопченной миронычевой избы ничего уже было не видно... шуршали только тараканы по стенам, перегоняя друг друга, да где-то в углу повисал захлипистый храп, умиротворенно сливавшийся со стрекотаньем кузнечика.

Секлетинья помолилась наугад в передний угол, потому что за темнотой никакой иконки в них не заметно, и поклонилась хозяину, подошедши к прилавку, за которым на табурете сидел около светца

Никита Мироныч в белой рубахе с поясом выше пупа, считал он перед сном дневную выручку, раскладывая по прилавку пятаки и семитки отдельными горками, а рядом с ним, свесившись головой, на стуле дремала Лукерья, рассадило ее к этой поре на четыре постава, сливши воедино мясистые груди, огромный живот и три подбородка, которые Никита Мироныч, когда бывал в веселом духе, называл в шутку питерскими калачами.

— Доброго здравия, Микита Мироныч... доброѳо здравьица, Лукерья Лукичишна,—Никита Мироныч повел на Секлетиныю только глазком, а Лукерья и головой не пошевелила.

— Богу молиться?—немного спустя спросил тихо Никита Мироныч.

— Как же, Микита Мироныч... вздумала, как по обету... по муженьку, чтобы, царство небесное, на том свете ему полегче лежалось!—вдохнула Секлетиныя.

— Доброе дело!—моргнул Никита Мироныч.—А мы вот и близко к святыне, а за делами молимся редко... доброе дело!

— Делов-то у вас куча, Микита Мироныч... ведь какие прибыли!—поклонилась опять Секлетиныя.

— Какие наши прибыли, — оторвался Никита Мироныч от счета,—какие прибыли... одни только убытки! кажинный день вот считаешь... считаешь, а какая от этого польза?.. только и всего, что своего рубля не хватает! Ну, скажи, сделай милость,

сослепа, должно быть, не вижу... куда шут деваает?.. Лукерь, а Лукерь,—повернулся Никита Мироныч к жене,—слышь ты, что говорю: опять рубля не хватает! что за причта такая?.. А?..

Лукерь, выкатила подбородки, смахнула слюнку и, увидевши Секлетиныю, окинула ее заспанным глазом и широко зевнула:

— Ай нето Секлетиныя?..

— Доброго здоровьица, Лукерь, Лукичишна... доброго тебе здоровья, — еще ниже поклонилась Секлетиныя.

— Слышь, говорю,—строго перебил ее Никита Мироныч,—рубля опять не хватает!

Лукерь, качнулась на стуле, ничего Никите Миронычу не ответила, потому что почитай каждый вечер все та же история, а шут их знает, куда эти рубли пропадают,—моргнула Секлетиныя на перего-родку, и Секлетиныя без лишних слов с одного кивка поняла, что у Лукери есть к ней какое-то дело.

Никита Мироныч смешал все горки опять в одну кучу и в который перечет начал сначала, Лукерь, прошла в широкие двери на чистую половину, а за ней с палочкой еще в руках и с сумкой за плечом и Секлетиныя.

* * *

— Секлетиныя,—зашептала Лукерь, вставши тут же у двери,—тебе, кажется, знакомит вон тот чело-

век, вон спит за столом... в переднем углу под образами?

— Вижу какого-то человека,—зашептала и Секлетинья, приставивши к глазам руки щитками,—да то вроде как разбойник какой... фу... какие ручищи...

— Да, не...ет...—повернула ее Лукерья в другой угол за плечи,—ты не туда: эна-ка... там под иконой! старичок... Когда-то у вас в Чертухине тоже вроде как проживал... давнишнее дело, рази про всех все упомнишь!.. Говорят про него, что быдто он уже раз удавился в лесу на осине... с мальцом... Такого нашельца бог послал!

— А...а,—обрадованно взглянула Секлетинья в темноту, в которой все же мало что разглядела,—как же не знать... это же наш, верно, Михайла... Пастушонка у нас из Чертухина онамеднись увел!

— Он!.. он!.. он самый, должно быть...—заторопилась Лукерья,—ну, кажинный день... как день, так целковый!.. Так ведь по миру нас на старости пустит... пустит, ей-богу!

— Как же, ворует?—удивилась Секлетинья.

— Да нет: хуже вора!.. Уж я-то тебе расскажу... только вот моему не провякнись!

— Что ты, что ты,—замахала рукой Секлетинья.—я умею держать язык за зубами!

— Хорошая баба... оттого и говорю,—взяла Лукерья Секлетинью за перевязь сумки и еще ближе

к ней наклоняясь,— у него, вишь ли, рупь такой есть... неразменный!.. малец у моего рублевку спустит... в оплату али так разменяет, а мой-то стал на деньги жадуший и не замечает, что кажинный день у него меняют жулики один и тот же целковый... у них вот выручка... а у нас недочет!

— Дело какое... А?..—хлопнула себя Секлетинья руками.

— Слышь, Склетинья... уведи ты, ради оспода, его по знакомитости куда-нибудь от греха... сделай такое великое одолжение... я те,—совсем в ухо прошептала Лукерья, —платок ублаготворю... еще когда-то барыня подарила, а совсем-совсем новый, такой... коворый платок!

— Ето дело надо, Лукерья, обдумать,—оперлась Секлетинья на палку,—вот прилягу после дороги, а завтра со светом обгляжусь, как тут за дело придется, и думаю: выйдет!..

— Спаси те Христос, Склетиныюшка, хорошая баба... знала, что не откажешь!

Лукерья вышла к Никите Миронычу из-за перегородки, а тот уж, так и не досчитавши своей выручки до конца—было к этой поре ему уже к концу седьмого девятка!—уронил седую голову на медяки и, откинувши в стороны жилистые худые руки, по-стариковски в одну ноздрю голосисто посвистывал носом.

Совсем, конечно, не ковровый платок раззадорил Секлетьинью, взбудоражил бой-бабу чудесный целковик!

Прилегла она на лавку с той стороны, откуда было лучше видно Михайлу с Мишуткой, и, чтобы не заснуть, положила под-головы большое полено.

Долго она не могла на чем-нибудь остановиться, придумывая самые хитрые планы, как подкатиться к Михайле и, если можно будет, так и просто-на-просто скрасть у него этот целковик... экое дело, потом можно будет замелить на свободе!..

Секлетьинья досадливо разглядывала лосную плешину Михайлы, на которой словно лапками выбивали зайчики от лампадки, затепленной по секлетьиньиной просьбе, его несуразную сумку, и во сне не снятую с плеч, рядом с ним раскинувшего младенчески руки Мишутку, тоже с сумой, с'ехавшей на бок, у которого еще больше лицо похудело, а в чертах уже появилась немальчишеская строгость и суровая определенность взрослого человека.

— Ишь ты ведь: так и спят со своей присягой... с сумой... деньги, что ли, боятся, чтобы у них не украли!—подумала Секлетьинья, к петухам уже через силу перемогая дремоту... эх, чего бы чего не дала Секлетьинья в обмен за такое сокровище, которое сейчас лежит наверно в грудном кармане михайлова зипунишка!.. отдала бы, пожалуй, и душу, если бы

сам рогатый подсунулся на глаза с такой монеткой... дура... два раза дура: держала целковик в руках и выпустила без всякого смысла! Эх, незадача!.. да кто его знал, что он такую силу имеет!

— Михайла... ох,—сладко зевнула Секлетьинья,— ох, всегда был жадуший до баб... придется, благо к тому же вдовое дело, на старости годов плотского чорта потешить! Бог... он простит... один святой, говорил поп Федот, семдесят блудов совершал каждодневно, а покался отрад—всей душой и угодил во святые!

С этой мыслью, должно быть, сошла к Секлетьинье вожделенная минута, когда стираются всякие грани между всем, что стоит еще перед глазами и что проходит перед ними в самых удивительных образах с преображенною плотью и с тем тайным значеньем самоничтожной мелочи и безделицы, которое скучным и серым днем скрыто от человека и открывается для него лишь в сновиденьи.

Секлетьинья приподнялась как будто головою с полена, когда пропели на дворе третьи петухи, и в черной копоти окон разглядела Михайлу: зашевелился он, почесывая обеими руками бока, Мишутка развязал свою сумку и стал вынимать из нее дорогие монетки, и белеенькие, и маленькие, и большие, как колесики, и тусклые, и горящие, как праведные нищие слезы... перебирает Мишутка монетки, разглядывая их в свету от лампадки, укладывает, как и Никита Мироныч, по стопкам, а Ми-

хайла вынул из-за пазухи серебряный неразменный целковик и любитесь на него, улыбаясь своей непонятной улыбкой, которая в такие старые годы так же некстати была у него на лице, как яблоко на березе.

— Считают!—подумала Секлетиныня.—Осподи: де-нег-то сколько! Ох, надо... надо завтра поласковой да позадушевной, чтобы сразу проняло до нижней порчины!..

Что тут случилось, и Секлетиныня хорошо потом сама не могла разобраться.

Вдруг будто бы с лавки, на которой спала и Секлетиныня, спустил большие голые ноги оборванец высокого роста и, судя по всему, совсем еще молодой, с такими размятыми пятками, что они походили больше на воловьи копыта, вытащил из-за пазухи ножик и, не отрываясь от серебряного рублика на ладошке Михайлы, стал подбираться...

Секлетиныня хотела закричать, но язык у нее прилипнул к гортани и под него словно набился песок.

Михайла по слепоте, видимо, и не подозревал ничего, а Мишутка столь деловито укладывал монетки, что вскинулся испуганно русой головкой только, когда Михайла, выронивши к нему на руки заповедный целковик, простонал хриплым рыданием где-то в самой середке утробы и отвалился к стене головой...

Мишутка, схвативши целковик, только и заметил, как снова взвился окровавленный нож и по рукоятку ушел Михайле под сердце...

Тут в сумеречном свете лампы Секлетьня видно в эту минуту пересилила сон, вскочила с лавки, схватила обеими руками полено и со всего размаху ударила им в перелом занесенной уже над Мишуткой руки...

Михайла лежал без движения, убийца полоумными глазами уставился в Секлетьню, которая стояла перед ним, занеся снова полено, готовясь ударить, и в тот самый миг, когда она хотела его шаркнуть по голове, разбойник бросился к двери и исчез в темноте.

— Хрёснушка... хрёсна,—бросился из-за стола к Секлетьне Мишутка,—хрёснушка,—прижался он к ней и заплакал.

Секлетьня гладила его по головке и не своим голосом звала на помощь.

ТИПУН.

По-разному выходит душа из человека.

Из кого она воробьем вылетает, из кого черным вороном, а из кого и выбегает бараном...

Из Михайлы же, как рассказывала чертухинским мужикам Секлетьня на посиделках, душа выползла в виде большого пятнастого змея, какой рисуется в лицах в священных книгах в главе об искушении нашей праматери Евы...

... На самом рассвете, когда помолочнели окна, упертые с улицы прямо в завалок, и со своей половины прибежали не скоро услышавшие секлетиныны вопли Никита Мироныч в исподнем и Лукерья в одной суровой станушке,—на самом рассвете многое сшибло еще более Секлетиныю с соображенья.

Можно и в самом деле было подумать, что кой-что ей с вечера просто привиделось в разгоряченном после разговора с Лукерьей мозгу: никаких денежек, которые отсчитывал будто Мишутка, на столе не оказалось, правда, в стопочках тоже, лежали посередке разноцветные стекляшки и скрылки, но до них Мишутка и раньше был великий охотник, воображая в своей несмышленной игре, что это монетки, а он—не пастушонок, а богатый купец, у которого чертухинские мужики из долгов не вылезают, хотя он им, по знакомству и чтобы не били, скощаает.

Пожалуй, с мишуткиными деньгами если так получилось, то еще куда бы ни шло, деньги могут и обернуться: с ними это бывает!—но вот что и в самом деле удивительно было, чему не надивились, когда разглядели и Никита Мироныч, надевший даже на этот случай очки, и Лукерья, которая изахалась, стоя возле Михайлы,—что в самом деле совсем удивительно было, так это страшенные усищи, какие отросли у Михайлы совсем за короткое время...

У мертвых, известно, волосы растут и ногти даже по вершку отрастают в могиле, но тут усы почти на глазах вытянулись такие, что на столе

не хватает им места, и они свесились с него, доставая кончиком почти до половицы... Как же тут не удивиться?!

— Да это же не Михайла... ей-бо пра, не Михайла!—расставил руки Никита Мироныч.—Какой это Михайла?.. Так и начальству пойду доложу: убит, дескать, неизвестным мне человеком неизвестный мне человек!

— Пра...авильно, Мироныч!—поддакнула Лукерья, собрав подбородки.—Так и начальству доложь! Как же иначе?

Но, видно, Мишутка при виде этих усов больше всех испугался, не отходил он ни на шаг от Секлетины и все крепче жался к ней, держась обеими руками за юбку.

— Хрёснушка... хрёсна... усы!—шептал он по-минутно, не узнавая больше отца.

Никита Мироныч переглянулись с Лукерьей и показали Секлетины на дверь.

— Секлетины... теперь здесь казенное тело... потому сейчас запра заведение на ключ... никакой торговли до приезда начальства не будет!—сказал Никита Мироныч по-хозяйски, привыкши на своем постоялом и к дракам и к убийствам, о которых если и узнавало начальство, так задним числом, и потому все было всегда шито-крыто... Тут же видно, что Секлетины, как лишний свидетель, мешала...—Так что, Секлетинышка, ты не обессудь,—прибавил он, скривившись улыбкой.

— А... ковровый платок!—тихо сказала Секлетинья Лукерье.

— Получишь... получишь,—смигнула Лукерья.— Твое за мной не пропадет! Только помалкивай больше.

* * *

Вышла Секлетинья на улицу и пошла наудачу, взявши Мишутку за ручку... Даже врасплохе да удивлении перед усами с хозяевами забыла проститься.

„Ну, значит, к скорому увиданию!“—подумала она уже по дороге, которая обогнула задами село Говейново, и скоро вышла сначала на небольшое поле, а потом как ударилась в лес, так из леса, видно, на долгие версты и не выбегала.

Секлетинья мало сообразила, куда идет, в голове у нее порядочно после всего происшедшего перемешалось, и этот вопрос пришел ей на разум только, когда над лесом аршина уж на два солнце стояло и они с Мишуткой от села Говейнова, должно быть, были далеко...

— Мишутк,—спохватилась вдруг Секлетинья,— куда мы идем?.. Да слушай ты... целковый цел у тебя?

Мишутка чуть не оступился при этом вопросе в колдобину на дороге: шел он за Секлетиньей как сонный и, видимо, о чем думал своим, не замечая дороги; поглядел он исподлобья на крестную мать и сначала ничего не ответил...

— Ужели потерял?.. оставил?.. давай же вернемся!..

— Он беспропадный, хрёснушка... потеряю, не страсть какая беда: возвратится.

— У тебя?—задохнулась и снова забыла про дорогу Секлетиныя.—А ну, покажи?

— А на что тебе, хрёснушка?—удивился Мишутка.

— Да так,—воровато заморгала глазами Секлетиныя,—так, поглядеть!.. Погляжу, несъ не сглажу!

— Да чего на него зря-то глядеть... денежка не зеркало, в нее себя не увидишь!

— Дай, пострелыш, взглянуть!—вскрикнула Секлетиныя.

— Да ты же видала!—вскрикнул за ней Мишутка.

— Дашь, гаденыш... аль нет?—схватила Секлетиныя Мишутку за ворот.—Дашь?

— Хрёснушка... что ты... что ты?!—заплакал Мишутка, ежась и вырываясь из крепких секлетиных рук.

— Давай сюда целковый, а то... задую!—хрипнула Секлетиныя, еще сильнее сдавивши ворот мишуткиного зипунишка.

— Ка-ра-у...у-ул!—что есть силы закричал мальчонка, и по лесу покатилося отовсюду, забирая и в чащу и, видно, выкатываясь куда-то на полевые просторы, несмотря, что зимний воздух не, особо крикливый:—караул... караул... ка-ра-у...у...ул!

Секлетинья выпустила ворот Мишутки в испуге, Мишутка бросил палку под ноги Секлетиньи и, подбравши полы, бросился бежать по дороге...

Секлетинья, конечно, за ним, но где же все же было бабе в годах угнаться за пастушонком!

Скоро Секлетинья задохлась от быстрого бега, и пот повалил у нее по за рубаше, как с горячей кобылы, присела она на пенек возле дороги, чтобы отдышаться и обмахнуться от жара подолом, а Мишутка все бежит и бежит без оглядки... вот уж стал он махонький, совсем на вершок от земли, каким был в то самое время, когда Нил окрестил его на вечные времена в пастухи... вот, должно быть, дорога в том месте сразу круто свернула, и Мишутка совсем исчез с глаз Секлетиньи.

— Господи... осподи, что ж это такое?—запричитала Секлетинья, отираясь подолом.—На свет глаза даже не смотрят!

* *

Сколько она так просидела, и сама Секлетинья, рассказывая все это чертухинским мужикам, хорошо сообразить не успела... может, даже, сидя на пенушке, с неудачи да с большого волнения соснула... как спят все старые люди: голову свесит к плечу и в захлипку!.. Скоро ли, долго ли, но как раз с той стороны, куда скрылся Мишутка, затилинькали вдруг разлиvistые колокольчики, словно на чертухинской

колокольне попа Федота встречает Порфирий Прокофьевич, сначала совсем издалека, потом все ближе и ближе, так что даже уже можно сказать без ошибки, что едет это не кто иной, как чертухинский троечник Еремей Разумеев, потому что других ямщиков нет в нашей округе, да если б и были, так Разумея по его звонкам спутать было бы трудно!..

— Слава те, осподи,—перекрестилась даже Секлетинья,—Разумей кого-то везет, может, до монастыря и подсадит: вот теперь помолюсь, старая дура! Дура, ох, два раза дура!.. теперь прямо к угодникам: наплевать и на ковровый платок! И намолюсь же, уж теперь помолюсь, слава те, осподи, прости меня грешную!

Дорога убежала перед Секлетиньей белою лентой, далеко сквозились голые сучья, на веточках висели красногрудые снегири, перелетающие стайками с места на место, тишина... тишина... никого... ниоткуда...

Наконец показалась, словно выросла из снежной земли, крутая дуга, выбросились с поворота передними ногами стройные разумеевы кони, смуро смешались с взметенным снегом из-под копыт пышные гривы пристяжек, и сам Еремей вырос вдруг на облучке в своей войлочной шапке с петушиным пером на затылке, в руках с длинным ремненным кнутом, чтобы доставал головного, захлестывая под пахи, немного погодя вся тройка, запряженная гусем, встала в глазах, как живая, и рядом с Еремеем на

козлах... тут Секлетьинья схватилась за грудь и с пенька привскочила, в лицо хлынул жар и в глазах, как на воде, зарябило... рядом с Еремеем на козлах сидел ее Мишутка и показывал кому-то, обернувшись в кибитку, пальцем на Секлетьинью:

— Вот она... вот!—вскрикнул он задиристо и с недетской злобой, когда Еремей поровнял коней с Секлетьиньей и тпрукнул.—Вот она, ведьма!.. А еще хрёсная!

Тут выскочил из леса из-под оголенных и поникших ветвей порывистый ветерок, и прямо к Секлетьинье вытянулся из кибитки аршинный усище, с фасонистым завитком на конце, потом полезла начальственная шинель с бобровым воротником, накинута только на плечи, из-под нее ярко ударила по глазам красная генеральская лента. Секлетьинья присела и даже с испуга не поклонилась.

— Ты что, курва, моего казачка убиваешь?—секлетьиньино удивленье тут перешло всякую меру, потому что лицо, стоявшее перед ней, сильно походило на того самого Михайлу, которого, как казенное тело, запер Никита Мироныч в своем заведении, только генеральская сряда, и там, куда воткнулся разбойничий ножик под сердце, повязана пышным бантом красная лента и на ней красуется большая медаль величиной со сковородку. У Секлетьиньи задрожали поджилки, и рука не подымалась перекреститься.—Ты что,—говорит,—размужичиха, казачка моего убиваешь?.. Казачок у меня получает каждый день пятачок! Знаешь, кто я?.. Не признала?.. Я...—

ту... турецкий анарал!.. да-с, видишь!—откинул он полы шинели, и оттуда пахнуло на Секлетиныю, словно с пожара, красным атласом подкладки.—Я тебе пппокажу, как мальчика убивать!.. Малец у меня—молодец! Будет хороший купец! Ты знаешь, кто я?..—Секлетиныя все ниже перед ним приседала.—Я... ту... ту... турецкий анарал... Получил в канпанию за храбрость, за службу и... за... усы! Не попадайся мне на дороге, когда опять поеду в гости к анаральше барыне Рысаковой! Мотри!

— Мишутк, а Мишутк... Еремей Разумеич... что же это такое?—прошептала Секлетиныя, но ни Мишутка, ни Еремей на Секлетиныю и не взглянули.

— Слышишь, баба,—опять закричал на нее генерал,—вернешься домой: помалкивай больше... будешь вѣкать, типун на язык, а сичас ради памяти... скажи-к, Еремей, дуре пословицу,—махнул генерал Разумею.

— Всяк-д Еремей-д про себя-д разумеи, ваше сиятельство!—отчеканил Еремей на солдатский манер и на Секлетиныю опять не обернулся.

— Слышала умного человека?.. Оттого и хамилия у него: Ра-зу-ме-ев! Ну, дура, получай пока в память!

Секлетиныя едва успела моргнуть, как турецкий генерал размахнулся и дал ей хорошего леща в левое ухо... В глазах у Секлетиныи помутилось, ноги подкосились, она растянулась в снегу на дороге и, словно во сне, долго потом еще слышала тилинькающие еремеевы позвонки, очень схожие по голосу с колокольцами на чертухинской колокольне.

На этом месте своего и в самом деле мудреного рассказа Секлетьинья остановилась и виновато опустила глаза, потом обвела чертухинских мужиков прищуркой и горестно вздохнула. Разное было у них выраженье: кто прятал глаза за спины других и втихомолку крестился, закрываясь тулупным воротником, кто помоложе—прямо смотрел на Секлетьинью с усмешкой и в глазах с веселыми огоньками, бабы словно все подавились, а девахи сидели, как кумачи, подложивши под себя горячие ладошки.

Передохнула Секлетьинья и принялась было еще о чем-то договорить, должно быть, как раз уж про богомолье, потому что за все это время Секлетьинья, как мы видели, даже ни одного еще креста, как следует быть, не положила, но было по деревенскому уже довольно позднее время, и Семен Родионыч, закрывши рукавом большой зевот от Секлетьиньи, встал со своего места и, натягивая баранью шапку на лысину, сказал:

— Ну, и навирать ты, Секлетьинья, горазда, провались ты совсем!.. уж и врать ты, кума: где только училась?

— Что-что, кум, — обиделась Секлетьинья, — а врать не вру ни завиринки! Другим врать не велю, не токмо что самой враньем заниматься!

Семен Родионыч улыбнулся и махнул на Секлетьинью рукой:

— Полно... полно, кума!

— А ты... что: не веришь?..

Семен Родионыч неопределенно развел руками и снял снова шапку:

— Оно не то, что не верю: Михайла, конечное дело, был не простой человек!.. а може даже и человеком-то не был!.. это уж теперь видно нам без очков... ну, а все же сумлительно очень... откуда же анарал?.. Если, скажем, хоть... дьякон, а не анарал, тогда бы... поверил!

— Полно: что ты, не знаешь, что по тому месту начальство разбойников ловит! Ну, если не веришь, так вот... тебе!—показала рукой Секлетьинья на Разумея, который сидел в самом задку у печки и почесывал у себя, отвернувшись, в кудрявом затылке,— вот тебе налицо... Разумей: слова не даст лишнего сказать!.. не токмо что сказать, что не по делу! Он и вез анарала! Я об нем и забыла... совсем с разговором таким о нем позабыла!

— Все может быть,—растянул Семен Родионыч,— все может быть!.. а вот если так, что нам Еремей теперь скажет... А?.. Еремей?.. иди на расправу!

Еремей встал неторопливо и вышел на середку избы, помолился степенно на образ, поклонился во все стороны глубоким поклоном и тихо промолвил:

— Всяк Еремей про себя разумей! а больше сказать мне вам, православные, неча!—перекрестился и вышел.

Мужики переглянулись после такого ответа друг с дружкой, затихли и, уже не заводя разговора, потянулись за Еремеем на выход.

* *
*

Сам шут, конечно, потянул Секлетиныню рассказать мужикам такую темную и, по правде, даже страшную историю, про которую лучше бы было и в самом деле молчать.

Но, видно, такая была натура у Секлетины, что ничего в себе не держала.

Только не прошло после этих поседок даже недели, как разнеслась по Чертухину весть, что Секлетиныя прибежала растрепкой из леса, куда она за дровами ходила, и не может ни одного слова промолвить, потому что у нее во рту язык распух словно в чашке баранка, а что ей люди кругом говорят, теперь уже и на второе ухо не слышит!

— Типун, сел!—забарабанили бабы.—За ее язычок! Не вякай!

Вспомнили еремееву поговорку и все сказали:

— Умный мужик!

После такого случая с Секлетиныей, которому никто не находил об'яснения, на поседках стало с дня на день пустеть.

Сначала старики перестали ходить, потом, когда промаявшись голодной смертью с неделю, Секлетиныя отдала богу душу и ее похоронили, по домам засели

даже парни и девки, поглядывая только из окошка, как серебрится за околицей снежное поле, по которому то облачко пробежит, то промелькнут у дороги волчьи торопливые тени...

Залегли по печкам чертухинские мужики, вскакивая и крестясь за очолком, когда в месячную ночь ледяным кулаком скрипучий мороз ударит о стенку, морозная выдалась зима на этот год, как говорили мужики: к урожаю!.. месяц по целым ночам обливало село Чертухино, не сходя с середины синего неба... деревья под окнами стояли в белых платьях в покорности и неподвижности, как невесты перед женихами, и чуть вдали за селом, опоясавшись атласной кушачной лентой дороги, вздымался морозными пиками в небо чертухинский лес, хороня под месяцем на болотах и в непроходимых чащах свою дремучую тайну.

ИЗ ОТЗЫВОВ О КНЯЗЕ МИРА

Вал[ентина] ДЫННИК. *Новый мир*, 1928, № 7, стр. 246—247.

Ленивый и нелюбопытный читатель, раскрыв то там, то сям новый роман Клычкова — вторую часть его трилогии "Сорочье царство", пожалуй, скажет: "Да ведь это все то же, что и в той части, в *Чертухинском балакире!*" Ленивый и нелюбопытный критик, обязанный, так сказать, "по должности" обосновывать свои суждения, без труда подберет и соответствующие аргументы: 1) Сергей Клычков в новой своей книге так же словоохотлив, таким же балакирем калякает о деревенских делах с читателем, словно со своим односельчанином: ссылается на Чагодуйский музей, приглашая туда заглянуть, посмотреть портрет помещицы Рысачихи, говорит, как о чем-то общеизвестном, о "нашей округе", сам же переливается, обращаясь от повествования к себе — повествователю: "какая же вина может быть на человеке, если у него дырявая память и к старости вытянулся язык длиннее, чем хвост у коровы, и краснее, чем бабий кумач!" (историк литературы отметит во всем этом традицию гоголевского сказа); 2) язык романа так же остер, так же расцвечен присказками, присловьями, прибаутками, ими наделяет автор всех своих героев, так что по одной этой книге можно бы составить целый сборник пословиц и поговорок (...); 3) по-прежнему иное слово расцветает пышно развернутой метафорой, разрастается в целую картину (...); 4) по-прежнему весь роман,

начиная с заглавия, переплетен нитями темных суеверий: здесь и веселый пономарь, оживающий в виде чучела и (...) "неразменный целковик", лежащий в самом центре всей фабулы, притягивающий к себе все помыслы действующих лиц; 5) по-прежнему рассказ время от времени прерывается вздохами о том, что "земля куда раньше родила и была чернее грача, а сам-то мужик был намного сильнее на жилу и гораздо тверже на пуп". По всем этим чертам — сказовой манере, обилию фольклорных элементов, пристрастию к фантастическому и мистическому материалу, мотивам деревенского консерватизма — новая книга Клычкова действительно совпадает с *Чертухинским балакирем*. Все аргументы вышеупомянутого ленивого и нелюбопытного критика, действительно, должны быть нами приняты, а между тем, вывод остается неприемлемым: *Князь мира — не продолжение, но противоположение "Чертухинскому балакирю"* (...) И прежде всего надо освободиться от наивного отождествления автора, Сергея Клычкова, со "сказителем", от лица которого ведется рассказ. Балакирь — балакирем, а книгу планирует автор, из-за спины подслеповатого старика умным и зорким глазом подмигивает писатель, в расслабленный стариковский голос врываются его гневные интонации, сильная рука разрывает кружевную, хитросплетенную завесу фантастики деревенских слухов и бабьих сплетен, чтобы тем отчетливее и страшнее сквозь эти разрывы можно было увидеть реальную, настоящую жизнь. По-прежнему, как и в *Чертухинском балакире*, автор раскрывает мир в двух планах — фантастическом и реальном. Но отношение к этим двум планам теперь совсем иное, обратное. В *Чертухинском балакире* мохнатая кочка

на глазах у читателя превращалась волею автора в лесного Анюттика (путь от реального к фантастическому), в *Князе мира* дьявольский гогот таинственного "батрака" звучит для читателя смертным криком погибающей в пламени Марьи (путь от фантастического к реальному) (...) *Князь мира* с наглядностью свидетельствует, что Сергей Клычков гораздо сложнее в своем отношении к традиционному деревенскому укладу, чем это принято о нем думать, чем это думает, быть может, и он сам. В книге звучит не только *обида за деревню*, исстеганную до полусмерти на крепостной конюшне, но и *обида на деревню*, бывающую в иные минуты по-животному тупой и по-звериному жестокой (главы "Мирское дитя" и "Даровой пастух") (...)

Сергей Клычков, поэт обобщенно-идиллической деревни, остался далеко позади — на страницах учебников. В творчество писателя нахлынул новый материал, материал живой действительности (...) Писатель, увидавший реальное в фантастике, уже не в состоянии воссоздать нарушенную цельность фантастического покрова. Трилогия "Сорочье царство", выросшая из лесных туманов *Чертухинского балакиря*, развернулась в сложную историческую эпопею деревни.

И так как перед нами — в творчестве С. Клычкова — не поспешная смена вех, но трудный органический процесс, то к голосу писателя нужно прислушаться с особым вниманием.

А. ЛУНАЧАРСКИЙ. "Литературный год", *Красная панорама*, 1929, № 1, стр. 5.

(...) останавлиюсь только на замечательном, что появилось за истекший год.

Приходится признать большое художественное достоинство за такими произведениями, как "Братья" Федина и "Неразменный рубль" [Князь мира] Клычкова. Само собою разумеется, попутнический роман сводится не только к этим двум произведениям. Я называю их потому, что и в художественном отношении и по глубине анализа некоторых явлений нынешнего времени у Федина и прошлого — у Клычкова эти романы мне кажутся самыми замечательными и такими, которые, несомненно, войдут прочно в нашу литературу. Конечно, ни Федин, ни Клычков не являются писателями пролетарскими или мыслящими вполне параллельно коммунизму. Однако произведения их представляют для нас глубочайший интерес, а именно как большие показатели того, что совершается в социальных группах, соседних с пролетарием.

**С. КЛЫЧКОВ. Содержание романа "Серый барин"
(продолжение "Князя мира").**

В "Князе мира", в трех местах, упоминается о продолжении романа (стр. 123, 346, 385). Объявление о новом романе Клычкова находится в рекламе "Красной нови" на 1928 и 1929 гг., но роман не вышел. По всей вероятности, он не был закончен: "За последние два года я почти ничего не написал: критика для меня имеет сокрушительное значение, хотя я не мимоза", — отвечал Клычков на анкету журнала "На литературном посту" в 1931 (№ 20—21).

Однако в фондах ЦГАЛИ сохранилось резюме продолжения "Князя мира" под названием "Серый барин". Клычков его написал, по-видимому, в 1928 в связи с переговорами о заключении контракта на еще не оконченное произведение. Так как вопрос о печатании произведений Клычкова имел "серьезное принципиальное значение" (ЦГАЛИ, ф. 611, оп. 1, ед. хр. 380, л. 21), литературный отдел ГИЗа обратился в общую редколлегия ГИЗа с вопросом о заключении договора на новое произведение Клычкова. Но сама редколлегия ГИЗа не сумела (не смела?) решить этот государственный вопрос и переложила ответственность на Луначарского, отзыв которого приводится после текста Клычкова.

Этот текст (с характерными длинными предложениями и обилием деепричастий) содержит эпилог трилогии, дает сведения о творческом методе Клычкова (компановка кусков, отсутствие хронологии) и указывает на неожиданный источник вдохновения писателя: социалистические памфлеты

Лафарга (между 1917 и 1925 вышло не меньше 7 русских изданий "Проданного аппетита"). От Лафарга идет предполагаемое новое название романа "Проданный грех", роль власти денег в "Князе мира" (Капитал, по Лафаргу — "царь мира"); от него же (или от Пушкина) идет может быть и проповедь творческой лени в анкете 1931 г.

Эпилог клычковской трилогии может казаться пессимистическим: побеждает зло, нигде нет убежища, даже в родном чертухинском лесу. Но именно через крушение всех иллюзий и развенчание полусвятости этот пессимизм является очистительным. Уход из мира, отвержение времени признаны ложным путем. Лишившись всего, Петр Кирилыч снова встречается с Анютником — воплощением мифа об андрогине, синтезом женского и мужского начала, образом гармонии духа и плоти. Этот идеал не покидает Клычкова. Трилогия "Сорочье царство" основана на ценном реалистическом материале, отражает прежде всего духовный поиск самого писателя. Резюме "Серого барина" показывает, что окончательная победа над злом на земле, согласно Библии, выходит за рамки времени и пространства в человеческом понимании.

Одна глава из задуманного продолжения "Князя мира" была все-таки опубликована Клычковым ... в 1925 г.: это мастерски написанный рассказ "Серый барин" (в "Красной нови" № 7 и в одноименном сборнике Клычкова 1926 г.), который свидетельствует о том, что общий замысел трилогии был уже готов в то время. "Серый" барин — значит барин из крестьян (Мишутка), "из нашего же

брата”, но нельзя не отметить, что в излюбленном Клычковым “Стихе о Голубиной Книге” Кривда изображена с е р ы м зайцем...

М. Н.

* *
*

Возможно, что в окончательной редакции этот роман будет носить другое название, а именно: *Проданный грех*, при этом названии меня останавливает мысль о проданном аппетите Лафарга, тем более, что моя тема очень близка. Этот роман представляет собою завершение как стилистической, так и фабульной темы первых двух частей трилогии *Сорочье царство*, а именно *Чертухинского балакиря* и *Князя мира*. Написана мною пока добрая половина, и то из разных кусков, что объясняется особым способом моей работы, не представляющих сейчас ничего целого и законченного, нуждающихся еще в приведении в стройную конструктивную последовательность.

Основа романа покоится на судьбе трех героев, уже знакомых по первым двум частям трилогии: барин, Петр Кирилыч и Буркан.

Стихия первого — деньги и нажива, второго — простота и незамечаемая им самим святость и чистота сердца, третьего — возмущение и бунт против человеческой несправедливости.

Победа остается на стороне Барина Бачурина: Буркан погибает, потерявши чутье к чужому страданию, в непосильной борьбе положивши силы и уверенность в своей правоте, Петр Кирилыч продает

барину грех, единственный может свой грех, порядившись стоять у барина в молельной с высунутым языком перед образами, когда тот усердно отбивает по золотой книге поклоны, один Барин Бачурин всех обходит на кривой: женится на Рысачихиной дочке, отбивши ее у генерала, перед самой смертью соблазнивши разорившуюся помещицу Рысачиху неразменным рублем, мужиков околпачивши у них на глазах с покупкой леса на Пуговке, где росли корабельные сосны, обошедши даже и Господа Бога, понудив на соблазн вкусной едой и теплым кровом бездомного бродягу Петра Кирилыча, в наказание за что, проживши сытую и довольную жизнь, получил жуткую смерть, совпадающую с концом романа; в конце романа появляется Анюттик, старый покровитель Петра Кирилыча, сбежавшего на этот раз от всеобщего позора, которому он был предан всенародно на торжественном открытии Бачуринского монастыря, так как книга Златые Уста Барина Бачурина оказалась простой поваренной книгой, по которой нынешняя игуменья, мать Фетинья, готовила ему рассолы. За эту ложь, не понимая всей для Петра Кирилыча трагической сути этого чудесного превращения, чертухинские бабы обстыдили его, а мужики чуть не убили.

Петр Кирилыч, потерявши барина и доброе имя, уходит с Анютиком навсегда из села Чертухина. Они угоняют с собой всех крупных зверей, оставивши на раззавод только лисицу да зайца: лисицу потому, что больно хитра, а зайца, потому что больно труслив!

Конец романа сведен к фантастической картине девственного леса с неисчислимыми голосами улетающих к осени птиц и убегающих зверей, перепуганных пока слабым голоском первого балластного паровоза.

Отзыв Луначарского:

И глава, которую я читал, и этот план относятся к области безудержной и бестолковой фантастики..., правда, благодаря таланту автора — узорной и забавной. От издания этой вещи нашим издательством я бы воздержался.

Оговорюсь: ничего политически недопустимого в прочитанном мной материале я не нашел.

(ЦГАЛИ, ф. 2208, оп. 2, ед. хр. 653)

**«КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ»
(К толкованию "Князя мира")**

"В этом мире необходимости,
разобщенности и порабощенности
(...) царствует не Бог, а князь
мира сего".

Н. Бердяев. "Самопознание", 2-ое изд., стр. 351.

Князь мира, третий и, в силу обстоятельств, последний роман Клычкова, является вторым звеном трилогии *Сорочье царство*; первое — *Чертухинский балакирь*, о переиздании которого на конец 1984 г. было объявлено издательством "Советская Россия". *Князь мира* печатался с купюрами в 1927 в журнале *Молодая гвардия* под названием *Темный корень*.

Роман был задуман давно: в стихотворении "Иванушка-Аника" (*Красная новь* 2, 1924) уже даны образы Салтычихи и кузнеца-мстителя. В 1925 был опубликован рассказ *Серый барин*, который по своей фабуле есть продолжение еще не написанного *Князя мира*: замысел большой эпопеи о русском народе явился Клычкову, до сих пор "тихому лирику", вдруг и как по наитию, сразу со всеми героями, мотивами, а главное — с соответствующим стилем. Отсюда и фрагментарность клычковской прозы (разбивка на главки, публикация отдельных глав из романов...), и ее глубокое единство при художественном и идейном развитии. Отсюда же и особенность конструкции *Князя мира*: роман обрывается на середине и начинается рассказ о Рысачихе, история которой предшествует истории о происхождении и юных годах мирского дитяти, будущего барина ("как это человек из такого ничтожества вышел в такие князья!").

В этом повествовательном плане Клычков проявляет виртуозное мастерство сюжетосложения. А какие портреты, и чего стоят диалоги подобострастного, лукаво-грустного старосты Мироныча с Рысачихой, с игрой бровей, морщин и рук... В описаниях ужасов крепостного права Клычков имеет себе равных писателей, но никто *так* о них не написал, расширив картину действительности до общечеловеческого через фантастику и миф, но изображение темных сторон деревни (села Скудилище и Рысачихи) отражает не только предчувствие надвигающихся над Россией ужасов, но и состояние души самого Клыčkкова, его метафизическое ощущение зла, обострившееся после просветления в *Чертухинском балакире*.

О *Князе мира* "ни одного путного слова никто не сказал, если не считать в общем правильной "обмолвки на ходу" Луначарского, вскользь только угадавшего задачи автора в словах о смежности классовых процессов в прошлом нашей страны", — писал Клычков в своем большом ответе О. Бескину "О зайце, зажигающем спички" (*Литературная газета*, 30 сент. 1929). *Князя мира* можно толковать по-разному и разными методами (в том числе и психоанализом, роман содержит богатый материал для этого): это и роман становления, и притча о зарождении и распространении зла и власти, это роман о дьяволе и картина помещичества и крестьянства на рубеже 60-х годов прошлого века... Такая многоплановость — признак большого художественного произведения. Здесь мы остановимся лишь на теме зла, центральной в творчестве Клыčkкова и связывающей все мотивы (и обе части) романа.

С ранних лет Клычков был особенно чуток к мировому злу: "В мире и в людях он ощущал и видел часто то, чего не замечают обыкновенные люди. Он был

визионер, наклонный однако к миру низших духов”, — пишет о нем П.А.Журов. В конце *Сахарного немца* автобиографический герой пал жертвой разрушительных сил, разбуженных войной. В *Чертухинском балакире* происходит обретение веры и гармонии Петром Кирилычем под руководством лешего Антютика и мельника Спиридона, но роман кончается также победой черной силы (воплощенной в колдунье Ульяне). *Князь мира* уже прямо роман о происхождении и формах Зла на земле. К этому толкал личный опыт писателя (нищета, война, несчастная любовь, травля) и ход истории. И чем острее этот опыт, тем глубже в прошлом писатель должен искать к нему ключи и объяснения. Этой внутренней необходимостью объясняется хронологическая особенность *Князя мира*: в трилогии *Сорочье царство* роман следует за *Чертухинским балакирем*, хотя по времени действия он ему предшествует; написанная обратным хронологическим порядком история духовной жизни русского мужика (от 1914 к 1860) является одновременно последовательной историей души писателя, с ростом его тревоги и углублением его тем.

Причину зла Клычков рассматривает через два мифа. "Мир заделывал Бог, хорошо не подумав, почему его и пришлось доделывать черту". Этот космогонический миф, распространенный в европейской и восточной мифологии (он находится и в *Повести временных лет* за год 6579), объясняет несовершенство мира, "подмеску" добра и зла, бессилие человека что-то исправить.

Но есть и другое зло, порожденное вожделением человека: таков смысл иносказательной ключевой встречи старика Михайлы с беглым солдатом (чертом или темным двойником Михайлы). Дьявол у Клычкова

не принуждает человека, а лишь отвечает его тайным земным желаниям. Михайла добровольно отдает все свои атрибуты: половой (палку/фалл), социальный (крестьянский армяк за шинель) и онтологический (бороду как знак божий): из-за того, что Михайла был "жадуший до баб", отцом Мишутки, будущего барина Бачурина, оказывается дьявол (см. *Иоанна* 8, 44). Легенда о блудной царице, которую Михайла читает (без пользы для себя) *перед* встречей с солдатом, дает модель победы над злом, через силу "девствия" и бессребренничества.

В творчестве Клычкова зло не выступает как второе начало бытия. Без желания человека оно не имеет самобытия. Но оно не есть простой "естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра", а, как писал В. Соловьев в предисловии к *Трем разговорам* (где встречается важный у Клычкова мотив отсутствия крестьян среди русских святых), "оно есть действительная сила, посредством соблазнов владеющая нашим миром".

В *Князе мира* главным орудием этой "черной силы" являются *деньги* в образе символического неразменного рубля с изображением "князя всего мира". Этот целковик, подобно толстовскому фальшивому купону, проходит через весь роман; он прилипает ко всем, даже к искателям правды (Недотяпа всю жизнь от "богачества" бегал). И поп Федот, и Мироныч, и Рысачиха "на деньги жадушие", "обжаднели". "Корень всех зол есть сребролюбие", — говорит Апостол (1 Тим. 6,10). "Виной всему деньги, конечно", — вторит Клычков (стр.225). В *Князе мира* Клычков дал сильнейшую, благодаря фантастике, картину губительной власти денег, в то время как его именовали идеологом купечества...

Противостоящая злу точка опоры "в ином порядке бытия", о котором говорил Вл. Соловьев, в *Князе мира* ослаблена по сравнению с *Чертухинским балакирем*: Бог отвернулся от земли, покинул церкви, стал Deus absconditus. В этом восприятии Бога, как и в представлении о царстве дьявола на земле и о сатанической сути денег, Клычков порой близок к Лютеру.

"Мир во зле лежит" (1 Ин. 5,19) "до скончания веков" (Рысачиха и после 1861 сеет смерть), но зло есть лишь его "состояние, а не естество" (С. Булгаков). Оно может отступить. И Клычков, "не склонивший свои колена пред Авербахом", настойчиво боролся со злом своим правдивым искусством и публичными выступлениями против насилия и лжи. Скульптор С. Коненков, в записке, написанной в 1956 для реабилитации Клычкова, говорит о нем как о "прекрасном поэте и стойком борце за права человека".

* *
*

Мировоззрение Клычкова отражается в его сказе. Утверждение отсутствия абсолютной правды на земле (см. "Ночную сказку" в *Сахарном немце*) определяет сюжетосложение и стиль романа. На протяжении первых 150 страниц *Князя мира* сменяется восемь версий о кругосветном пешем путешествии Михайлы, и некоторые из них развиваются в вставные новеллы: "правильного до волосинки ничего нет на земле", а правда часто похожа больше на "выдумку и небылицу". Адогматическое отношение к истинности ("как тут хочешь, так и разбирай") выражается в частом употреблении соединительно-разделительных союзов, предполагающих синтез тождества и выбора (то ли... то

ли, не то... не то; может, и так, а может, и этак) : текст утверждает одновременно две "правденки", не исключаящие друг друга в разных плоскостях. Клычкову чужд закон "исключенного третьего" классической логики.

У всякого своя правда и ложь,
И всякий по-своему плох и хорош...

.....
Только над всей этой правдой, похожей на
ложь, есть единый свет,
Ему ни конца ни начала нет.

Авторский голос, который проступает в голосе условного рассказчика ("мыслей и лет преклонных"), говорит о том, как стало трудно писать о метафизических вопросах и отступать от наивного реализма. Сетования рассказчика не риторические: так, на шестой странице, в основе последнего абзаца лежит письмо Клыčkкова в *Правду* (не опубликованное) по поводу травли крестьянских поэтов, организованной Л. Сосновским в 1923 г.: "Считаю оправдываться унижительным, ибо труднее всего доказывать свою невинность тогда, когда тебя обвиняют в очень многом", в то время как на самом деле "ты если и виновен, так в сущем пустяке". (*Русская литература* 1, 1967, стр. 248—249).

Отступления рассказчика выражают выстраданный опыт автора-"историписца", не переставая при этом играть роль литературного приема, комментария к сказу. Однако остраненное, "подтитловое" клычковское повествование, невозможность прямого авторского слова обусловлены не столько объективными трудностями писательской работы "попутчиков" в 20-ые годы, сколько самой природой тематики клычковских романов: о Боге и черте, о духе и плоти, о "животе и

смерти” можно, в сущности, поведать лишь на языке иносказаний и мифа. Клычковский сказ — органическая форма мифа (= сказания) как отображения тайн бытия. Он не орнамент. Ведь искусство слишком ”страшная шутка, страшнее нет ничего на свете”:

”В искусстве можно только сидеть на корточках и еле-еле передвигаться на очень незначительное, очень ограниченно очерченное пространство. Я думаю, что художник похож на вечного философа Хому Брута, который в чертовом храме, где черти нависли на окнах, на створках, принужден был очертить себя меловой линией, чтобы они его не схапали. В таком положении находится художник в искусстве, в творчестве и, пожалуй, больше всего в действительной жизни (...) Художник по своей природе есть прежде всего результат определенного ограничения. Если можно так выразиться, это будет немного парадоксально, — художник есть продукт ограниченности”. (Выступление Клычкова на I пленуме Оргкомитета ССП, 1 ноября 1932; цитируется по стенограмме, ИМЛИ, ф. 67, оп. 1, № 5, лл. 3—4, отличающейся от печатного текста 1933 г.)

”Дурной универсальности” ”мандатно-партийных писателей”, выполняющих социальный заказ (”социальный нахрап”), Клычков противопоставляет извечное художественное ”самостеснение”, необходимое по отношению к тайнам бытия. Онемение и смерть Секлетины, в конце *Князя мира*, можно толковать как наказание за жадность, но и как образ обреченности рассказчика, невозможность и недозволенность слишком близко подойти к темным силам мироздания. Искусство действительно страшная шутка. Судьба Секлетины предвещала судьбу самого Клычкова.

Еще больше, чем Замятин, Клычков стал "чертом советской литературы" (см. многочисленные шаржи и пародии на него). Но свести его демонизм к фольклору или суеверию значило бы попасть самому дьяволу на удочку. *Князя мира* хочется сопоставить прежде всего с *Мастером и Маргаритой*: в 1928—1929 гг. первую редакцию своего "романа о дьяволе" Булгаков читал своим друзьям; пятая редакция (1937 г.) носила название *Князь тьмы*. Внешнее сходство отдельных мотивов можно отнести к общему фонду фантастической литературы, но поразительно параллельное обращение обоих писателей к теме Добра и Зла (и клычковский князь мира страшнее Воланда разоблачителя) и к проблеме творчества (более подспудной у Клыčkова) путем сложного мифологизированного романа. Прошло время голого бытописания, "вечные вопросы" прут напролом, а готовых ответов уже нет. Остается одно искусство, но "нет ничего страшнее на свете"... И вечна тайна добра и зла:

"...вздыхался морозными пиками в небо чертухинский лес, хороня под месяцем на болотах и в непроходимых чащах свою дремучую тайну".

М. Нике

СОДЕРЖАНИЕ.

	<i>Стр.</i>
I. ТЕМНЫЙ КОРЕНЬ.	
Филимонов завет	5
Блудная царица	16
Фланговый солдат	28
Веселый пономарь	38
Чучело	49
Волшебная лучинка	59
II. МИРСКОЕ ДИТЯ.	
Потертый целковик	69
Михайлов батрак	81
Мирской хлеб	92
Порфирий Прокофьич	102
III. ДАРОВОЙ ПАСТУХ.	
Крещение кнутом	111
Чеканашки	125
Полдневый сом	143
IV. ЧЕРНАЯ СИЛА.	
Знакомый старичок	162
Иудино древо	170
Мишуткина тайна	182
V. СЕЛО СКУДИЛИЦЕ.	
Рысаки	192
Ивашка	204
Нищий венец	210
VI. РЫСАЧИХА.	
Нетерпеливые деньги	223
Майор	231
Святой чорт	242

VII. СТАРИННЫЕ КЛАВЕСИНЫ.

Аленушка	259
Хомка	270
Страшный сон	275
Женихи	284

VIII. БАРИН БОДЯГА.

Верный друг	298
Майор и три пушкатера	311
Коровий погост	317
Каиновы печати	326
Нищая братия	333

IX. НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ.

Доброе царство	342
Алялушка	355
Крестная мать	364
Две воли	371
Нищий хозяин	382
Типун	394

ИЗ ОТЗЫВОВ О КНЯЗЕ МИРА 407

С. КЛЫЧКОВ. Содержание романа "Серый барин" — продолжения "Князя мира". Публикация М. Нике. 411

М. НИКЕ. КОРЕНЬ ВСЕХ ЗОЛ. (К толкованию "Князя мира"). 416

Другие книги С. Клычкова в YMCA-Press:

- *Сахарный немец*, с хроникой жизни и творчества Клычкова, послесловием и отзывами о романе. 1982.
- *Избранная поэзия*. Под редакцией М. Нике. 1985.

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 11 MARS 1985
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 9002

"Секлетьинья оглядела хитрым глазком мужиков и покачала на них головой:

— Вот то-то и дело у нас: тот кум — та кума, а ни у кого-о нет ума! Не разглядели: на рубле-то был отпечатан князь сего мира! Рублик-то был неразменный!

— Князь всего мира! — потупившись, повторили за ней мужики и еще ближе друг к дружке пожались.

— В просторечии сказать в одно слово — рогатый!

— Ну, Склетьинья, — перекрестился Семен Родионыч, — коли так, садись, мужики, на чем стоите, коли так, Склетьинья, рассказывай теперь по порядку!"

Князь мира — мифологизированный роман о Добре и Зле, сопоставимый с *Мастером и Маргаритой*. В нем Клычков мифотворец и бытописатель достигает вершины своего искусства — фантастического реализма.

К этому переизданию прилагается неизданное резюме продолжения романа, с отрицательным отзывом испуганного клычковской фантастикой Луначарского, который тем не менее пророчил *Князю мира* войти "прочно в нашу литературу"...